

821
7-64

Л. Н. Толстой

ХАЛЖИМ-
МЫРАТ



8462 (oc)
ГТ53

Л. Н. Толстой

ХАДИЖИ- МУРАТ



Handwritten signature

28135-Б

06

ИИБЕСТИ

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA MAXSUS TAYLIM VAZIRLIGI
TOSHKENT VILOYATI CHIRCHIQ
DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
Axborot Resurs Markkazi
ЦИФРИНЧАСИЛИ
ИИБС

Москва
«Советская Россия»
1989
ГОРЧАКОВА
СИБИРСКАЯ
ГОРДА СИБИРИК
№ 1

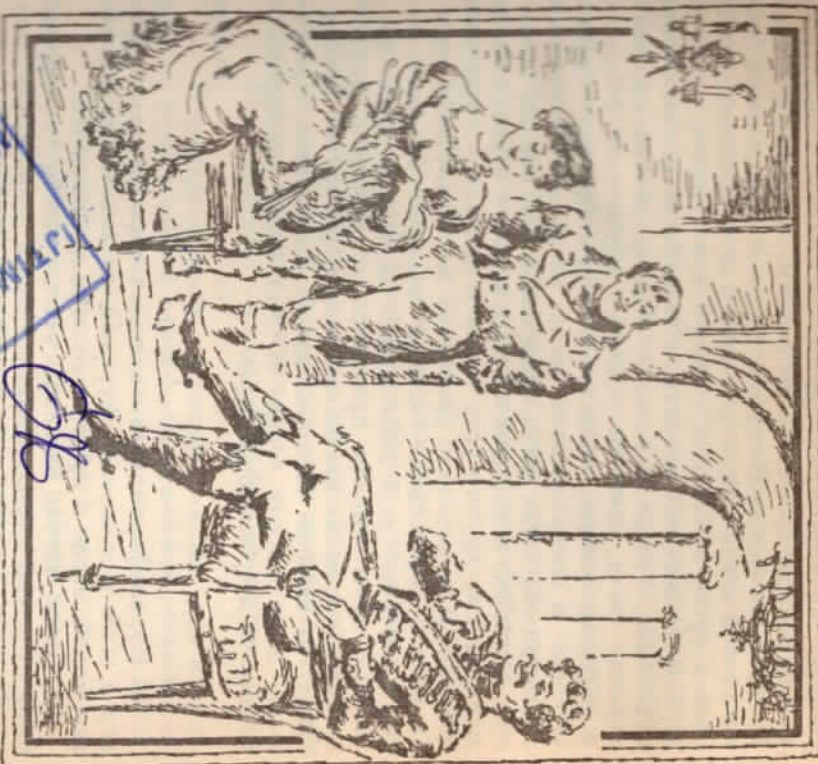
41

Иллюстрации
А. ЛЯШЕНКО

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
УЛ. А. С. ПУШКИНА, 15
125009 МОСКВА

Т 4803010101—413
М-105(03)89 209—89
ISBN 5-268-00738-0

© Издательство «Советская Россия», 1989 г., иллюстрации.



ДВА ГУСАРА

Посещается эрмитаж М. Н. Толстой
...Жюмни да Жюмни,
об воде на полслова...

А. Давыдов

В 1800-х годах в те времена, когда не было еще ни железных ни шоссейных дорог, ни газового, ни стержинового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов

женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развезлось в наше время.— в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в поезде или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в владайские колокольчики и бубинки.— когда в длинные осенние вечера нагорали салтные свечи, освещая семейные кружки на двадцати и тридцати человек, на балах в канделеры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стремились за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и респали семейные дела выниманием билетов; когда предельные дамы-камелии прятались от дневного света,— в наивные времена масонских лож, мартинистов, тулендбунда, во времена Мигорядовичей, Давыдовых, Пушкиных,— в губернском городе К. был съезд помещиков и кончались дворянские выборы.

1

— Ну, все равно, хоть в залу,— говорил молодой офицер в шубе и гусарской фуражке, только что из дорожных саней, входя в лучшую гостиницу города К.

— Съезд такой, батюшка ваше сиятельство, огромный,— говорил коридорный, успевший уже от денщика узнать, что фамилия гусара была граф Турбин, и поэтому величавший его «ваше сиятельство». — А프레мовская помещица с дочерьми обещалась к вечеру выехать; так вот и изволите занять, как опростается, одиннадцатый номер,— говорил он, мягко ступая вперед графа по коридору и беспрестанно оглядываясь.

В общей зале перед маленьким столом, подле почтеннейшего, во весь рост, портрета императора Александра, сидели за шампанским несколько человек — *здесь сидят* дворян должно быть, и в стороне какие-то купцы, проезжающие, в синих шубах.

Войдя в комнату и завав туда *Бюкера*, огромную серую медвежью собаку, приехавшую с ним, граф сбросил заиндевшую еще на воротнике шинель, спросил

подки и, оставшись в атласном синем архаичке, пошел к столу и вступил в разговор с господами, сидевшими тут, которые, сейчас же расположившись в пользу приехавшего его прекрасной и открытой наружностью, предложили ему бал шампанского. Граф выпил сначала стаканчик подки, а потом тоже спросил бутылку, чтоб утолить новых знакомых. Вошел ящик просить на водку.

— Сашка,— крикнул граф,— дай ему!

Ящик вышел с Сашкой и снова вернулся, держа в руке деньги.

— Что ж, батюшка ваше, как, кажется, стараясь твоей милости! полтинник обещал, а они четвертак поназначили.

— Сашка! дай ему целковый!

Сашка, потупись, посмотрел на ноги ящика.

— Будет с него,— сказал он басом,— да у меня и денег нет больше.

Граф достал из бумажника единственные две синенькие, которые были в нем, и дал одну ящику, который поцеловал его в ручку и вышел.

— Вот пригнал! — сказал граф,— последние пять рублей.

— По-гусарски, граф,— улыбаясь, сказал один из дворян, по усам, голосу и какой-то энергической развязности в ногах, очевидно, оставший кавалерист.— Вы здесь долго намерены пробывать, граф?

— Денег достать нужно; а то бы и не остался. Да и номеров нет. Черт их дери, в этом кабаке проклятом...

— Позвольте, граф,— возразил кавалерист,— да не угодно ли ко мне? я вот здесь, в седьмом номере. Когда не побрезгуете покамест проночевать. А вы пробудьте у нас денюшка три. Нынче же бал у предводителя. Как бы он рад был!

— Право, граф, погостите,— подхватила другой из собеседников, красивый молодой человек,— куда вам торопиться! А ведь это в три года раз бывает — выборы.

Посмотрели бы хоть на наших барышень, граф!

— Сашка! давай белье: поеду в баню,— сказал граф, истинная.— А отсюда, посмотрим, может, и в самом деле и предводителя дернуть.

Потом он позвал пологового, поговорил о чем-то с ним, на что пологовой, усмехнувшись, ответил, «что все дело рук человеческих», и вышел.

— Так и, батюшка, к вам в номер вею перенести чмодан.— крикнул граф из-за двери.

— Сделайте одолжение, осчастливьте,— отвечал кавалерист, подбегая к двери.— Седьмой номер! не забудьте.

Когда шаги его уже перестали быть слышны, кавалерист вернувшись на свое место и, подсев ближе к чиновнику и взглянув ему прямо улыбающимися глазами в лицо сказал:

— А ведь это тот самый.

— Ну?

— Уж я тебе говорю, что тот самый дуэлист-гусар,— ну, Турбин, известный. Он меня узнал, пари держу, что узнал. Как же, мы в Лебедини с ним кутили вместе три недели без просыпу, когда я за ремонтом был. Там одна штука была— мы вместе сотворили,— от этого он как будто ничего. А молодчина, а?

— Молодец. И какой он приятный в обращении! ничего так не заметно,— отвечал красивый молодой человек.— Как мы скоро сошлись... Что, ему лет двадцать пять, не больше?

— Нет, оно так кажется; только ему больше. Да ведь надо знать, кто это? Мигуноу кто увез? — он. Саблина он убил, Матвея он из окошка за ноги спустил, князя Нестерова он обыграл на триста тысяч. Ведь это какая отчаянная башка, надо знать! Картежник, дуэлист, социалнитель; но гусар — душа, уж истинно душа. Ведь только на нас слава, а коли бы понимал кто-нибудь, что такое значит гусар истинный. Ах, времечко было!

И кавалерист рассказал своему собеседнику такой лебедянский кутеж с графом, которого не только никогда не было, но и не могло быть. Не могло быть, во-первых, потому, что графа он никогда прежде не видел и вышел в отставку двумя годами раньше, чем граф поступил на службу, а во-вторых, потому что кавалерист никогда даже не служил в кавалерии, а четыре года служил самым скромным юнкером, в Белевском полку и, как только был произведен в прапорщики, вышел в отставку. Но десять лет тому назад, получив наследство, он единственно действительно в Лебединь, прокутил там с ремонтными семьями рублей и спил себе уже было уланский мундир с ранжевными отворотами, с тем чтобы поступить в уланы. Желание поступить в кавалерию и три недели, проведенные с ремонтными в Лебедини, остались самым светлым,

счастливым периодом в его жизни, так что желание это сначала он перенес в действительность, потом в воспоминание и сам уже стал твердо верить в свое кавалерийское прошлое, что не мешало ему быть по мягкошерстному и честности истинно достойнейшим человеком.

— Да, кто не служил в кавалерии, тот никогда не поймет ничего брата.— Он сел верхом на стул и, выставив нижнюю челюсть, заговорил басом.— Едешь, бывало, перед эскадроном; под тобой черт, а не лошадь, в ландахах мен; сидишь, бывало, этак чертом. Подъедет эскадронный командир на смотру. «Поручик, говорит, пожалуйте — без нас ничего не будет — проведите эскадрон «ремонником». Хорошо, мол, а уж тут — есты! Отлипнешься, крикнешь, бывало, на усачей на своих. Ах, черт волями, времечко было!

Вернувшись граф, весь красный и с мокрыми волосами, на бани и вошел прямо в седьмой номер, в котором уже сидел кавалерист в халате, с трубкой, с наслаждением и некоторым страхом размышлявший о том счастье, которое ему выпало на долю, — жить в одной комнате с известным Турбиным. «Ну, что,— пришло к нему в голову,— как вдруг возьмет да разделет меня, голову вывезет на заставу да посадит в снег, или... Детем вымажет, или просто... Нет, по-товарищески не сдается...» — утешал он себя.

— Блюхера накормить, Сашка! — крикнул граф.

Явился Сашка, с дороги выпивший стакан водки и захмелевший порядочно.

— Ты уж не утерпел, напился, каналья!.. Накормить Блюхера!

— И так не издохнет: вишь, какой гладкий! — отвечал Сашка, поглаживая собаку.

— Ну, не разговаривать! пошел накорми.

— Вам только бы собака сыта была, а человек выпил рюмку, так и попрекаете.

— Эй, прибью! — крикнул граф таким голосом, что стекла задрожали в окнах и кавалеристу даже стало немного страшно.

— Вы бы спросили, ел ли еще нынче Сашка-то что-нибудь. Что ж, бейте, коли вам собака дороже человека, — проговорил Сашка. Но тут же получил такой страшный удар кулаком в лицо, что упал, стукнулся головой о перегородку и, схватясь рукой за нос, выскочил в дверь и повалился на ларе в коридоре.

Он мне зубы разбил, — ворчал Сашка, вытирая одной рукой окровавленный нос, а другою почесывая спину облизывающегося Блюхера, — он мне зубы разбил, Блюшка, а все он мой граф, и я за него могу пойти в огонь — вот что! Потому он мой граф, понимаешь, Блюшка! А есть хочешь?

Полжевав немного, он встал, накормил собаку и, почти трезвый, пошел прислуживать и предлагать чаю своему графу.

— Вы меня просто обидите, — говорил робко кавалерист, стоя перед графом, который, задржав ноги на переступку, лежал на его постели, — я ведь тоже старый военный и товарищ, могу сказать. Чем вам у кого-нибудь занимать, я вам с радостью готов служить рублём двести. У меня теперь их нет, а только сто; но я нынче же до стану. Вы меня просто обидите, граф!

— Спасибо, батюшка, — сказал граф, сразу угадав тот род отношений, который должен был установиться между ними, трепля по плечу кавалериста, — спасибо. Ну, так и на баг поедем, коли так. А теперь что будем делать? Рассказывай, что у вас в городе есть: хорошеенькие кто? Кутит кто? в карты кто играет?

Кавалерист объяснил, что хорошееньких пронасть на баге будет, что кутит больше всех исправник Колков, вновь выбранный, только что удали нет в нем настоящей гусарской, а так только — малый добрый; что Илюшкин хор пытан здесь с начала выборов поет, Степка запекает, и что нынче к ним все от председателя собираются.

— И игра есть порядочная, — рассказывал он. — Духнов, присажки, играет с деньгами, а Ильин, что в востром номере стоит, уланский корнет, тоже много проигрывает. У него уже началось. Каждый вечер играют, и какой малый чудесный, я вам скажу, граф, Ильин э тот: вот уж не скуюпой — последнюю рубашку отдаст.

— Так пойдем к нему. Посмотрим, что за народ такой, — сказал граф.

— Пойдемте, пойдемте! Они ужасно рады будут.

II

Уланский корнет Ильин недавно проснулся. Накануне он сел за игру в восемь часов вечера и проиграл пятнадцать часов сряду, до одиннадцати утра. Он проиграл

что-то много, но сколько именно, он не знал, потому что у него было тысячи три своих денег и пятнадцать тысяч чужденных, которые он давно смешал вместе с своими и болелся считать, чтобы не убедиться в том, что он предчувствовал, — что уже и казенных не доставало сколько-то. Он заснул почти в полдень и спал тем тяжелым сном без сновидений, которым спится только очень молодому человеку и после очень большого проигрыша. Проснувшись в шесть часов вечера, в то самое время, как граф Турбин приехал в гостиницу, и увидав вокруг себя на полу карты, мел и испачканные столы посреди комнаты, он с ужасом вспомнил вчерашнюю игру и последнюю карту — вагета, которую ему убили на пятьсот рублей, но не веря еще хорошеенько действительности, достал из-за подушки деньги и стал считать. Он узнал некоторые ассигнации, которые улаги и транспортами несколько раз переходили из рук в руки, вспомнил весь ход игры. Своих трех тысяч уже не было, и из казенных не доставало уже двух с половиною тысяч.

Улан играл четыре ночи сряду.

Он ехал из Москвы, где получил казенные деньги. И К. его задержал смотритель под предлогом неимения лошадей, но, в сущности, по уговору, который он сделал давно с содержателем гостиницы, — задерживать на день всех проезжающих. Улан, молодой, веселый мальчик, только что получивший в Москве от родителей три тысячи на обязательное в полку, был рад пробыть во время выборов несколько дней в городе К. и надеялся тут на славу повеселиться. Один помещик семейный был ему знаком, и он собирался поехать к нему, поволочиться к да его дочери, когда кавалерист явился знакомиться к улану и в тот же вечер, без всякой дурной мысли, свел его с своими знакомыми, Духновым и другими игроками, и общей зазе. С того же вечера улан сел за игру и не только не ездил к знакомому помещику, но не спрививал больше про лошадей и не выходил четыре дня из комнаты.

Одвинувшись и напившись чаю, он подошел к окну. Ему захотелось пройтись, чтобы прогнать неотвязчивые игорные воспоминания. Он надеялся шинель и вышел на улицу. Солнце уже спряталось за белые дома с красными крышами; наступали сумерки. Было тепло. На грязные улицы тихо падал хлопьями влажный снег. Ему вдруг стало

невнятно грустно от мысли, что он проспал весь этот день, который уже кончался.

«Уж этого дня, который прошел, никогда не воротишь», — подумал он.

«Погубил я свою молодость», — сказал он вдруг сам себе, не потому, что он действительно думал, что он погубил свою молодость, — он даже вовсе и не думал об этом, — но так ему пришла в голову эта фраза.

«Что теперь я буду делать?» — рассуждал он. — Занять у кого-нибудь и уехать». Какая-то барыня пропала по тротуару. «Вот так глупая барыня, — подумал он отчего-то. — Занять-то не у кого. Погубил я свою молодость». Он подошел к рядам. Купец в лисьей шубе стоял у дверей лавки и зазывал к себе. «Если бы восьмерку я не свил, я бы отыгрался». Нищая старуха хныкала, следуя за ним. «Занять-то не у кого». Какой-то господин в медвежьей шубе проехал, будочник стоит. «Что бы сделать такое необыкновенное? Выстрелить в них? Нет, скучно! Погубил я свою молодость. Ах, хомуты славные с набором висит. Вот бы на тройку сестр. Эх вы, голубчики! Поиду домой. Лухнов скоро придет, играть станем». Он вернулся домой, еще раз счел деньги. Нет, он не ошибся в первый раз: опять из казенных недоставало две с половиной тысячи рублей. «Поставлю первую двадцать пять, вторую — утол... на семь кушей... на пятнадцать, на тридцать, на шестьдесят... — три тысячи. Куплю хомуты и уеду. Не даст, злодей! Погубил я свою молодость». Вот что происходило в голове улана в то время, как Лухнов действительно вошел к нему.

— Что, давно встали, Михайло Васильич? — спросил Лухнов, медлительно снимая с сухого носа золотые очки и старательно вытирая их красным шелковым платком.

— Нет, сейчас только. Отлично спал.

— Какой-то гусар приехал, остановился у Завальшевского... не слышали?

— Нет, не слышал... А что же, еще никого нет?

— Зашли, кажется, к Пракхину. Сейчас придут.

Действительно, скоро вошли в номер: гарнизонный офицер, всегда сопутствовавший Лухнову; купец какой-то из греков с огромным торбатым носом коричневого цвета и впалыми черными глазами; толстый, пухлый помещик, винокуренный заводчик, игравший по пелам ночам, всегда семпелыми по полтиннику. Всем хотелось начать

игру покоре; но главные игроки ничего не говорили об этом предмете, особенно Лухнов чрезвычайно спокойно рассказывал о мошенничестве в Москве.

— Надо вообразить, — говорил он, — Москва — первопрестольный град, столица — и по ночам ходят с крыками мошенники, в чертой наряжены, глупую чернь пугают, грабят проезжих — и конце. Что полиция смотрит? Вот что мудрено.

Улан слушал внимательно рассказ о мошенниках, но в конце его встал и велел потихоньку подать карты. Толстый помещик нервы высказался:

— Что ж, господа, золотое-то времячко терять! За дело, так за дело!

— Да, вы по полтинничкам натаскали вчера, так вам и придется, — сказал грек.

— Точно, пора бы, — сказал гарнизонный офицер.

Ильин посмотрел на Лухнова. Лухнов продолжал спокойно, глядя ему в глаза, историю о мошенниках, нарвавшихся в чертой с котлями.

— Будете метать? — спросил улан.

— Не рано ли?

— Бегом! — крикнул улан, покраснев отчего-то, — принеси мне обедать... я еще не ел ничего, господа... шампанского принеси и карты подай.

В это время в номер вошли граф и Завальшевский. Оказалось, что Турбин и Ильин были одной дивизии. Они тотчас сошлись, чокнувшись выпили шампанского и через пять минут уж были на «ты». Казалось, Ильин очень понравился графу. Граф все улыбался, глядя на него, и подтрунивал над его молодостью.

— Экой молодчина улан! — говорил он. — Усищи-то, усищи-то!

У Ильина и пушок на губе был совершенно белый.

— Что, вы играть собираетесь, кажется? — сказал граф. — Ну, желаю тебе выиграть, Ильин! Ты, я думаю, мастер! — прибавил он, улыбаясь.

— Да вот, собираются, — отвечал Лухнов, раздвигая дюжину карт, — а вы, граф, не изволите?

— Нет, нынче не буду. А то б я вас всех вздул. Я как пойду гулять, так у меня всякий банк затроцит! Не на что. Проигрался под Вологочом на станции. Попался мне там пехоташка какой-то, с нервнями, должно быть, шулер, — и облапошил дочиста.

— Разве ты долго сидел там на станции? — спросил Ильин.

— Двадцать два часа просидел. Памятна эта станция, проклятая! ну, да и смотритель не забудет.

— А что?

— Приезжаю, знаешь: выскочил смотритель, мошоничская рожа, плутовская, — лошадей нет, говорит, а у меня, надо тебе сказать, закон: как лошадей нет, я не снимаю шубы и отправляюсь к смотрителю в комнату. — Знаешь, не в казенную, а к смотрителю, и приказываю отворить настежь все двери и форточки: утарно будто бы. Ну, и тут то же. А морозы, помнишь, какие были в прошлом месяце — градусов двадцать было. Смотритель разогреть варивать было стал, я его в зубы. Тут старуха какая-то, девчонки, бабы писк подняли, похватали горшки и бежать было на деревню... Я к двери: говорю: давай лошадей, так уеду, а то не выпущу, всех заморожу!

— Вот так отличная манера! — сказал пухлый помещик, заливаясь хохотом. — Это как тараканов вымораживают!

— Только не укараулил я как-то, вышел, — и ударил от меня смотритель со всеми бабами. Дина старуха осталась у меня под залог, на печке она все чихала и богу молилась. Потом уж мы переговоры вели: смотритель приходил и издалека все уговаривал, чтоб отпустить старуху, а я его Блюхером приравливал. — Отлично берет смотрителей Блюхер. Так и не дал мерзавец лошадей до другого утра. Да тут подъехал этот пехотанка. Я ушел в другую комнату, и стали играть. Вы видели Блюхера?.. Блюхер!.. Фю!

Безжал Блюхер. Игроки снисходительно занялись им, хотя видно было, что им хотелось заниматься совершенно другим делом.

— Однако что же вы, господа, не играете? Пожалуй-ста, чтоб я вам не мешал. Ведь я болгун, — сказал Турбин, — *любить не любить* — дело хорошее.

III

Лухнов придвинул к себе две свечи, достал огромный, наполенный деньгами коричневый бумажник, медленно, как бы совершая какое-то таинство, открыл его на столе, вынул оттуда две сторублевые бумажки и положил их под карты.

— Так же, как вчера, — банку двести, — сказал он, поправляя очки и распечатывая колоду.

— Хорошо, — сказал, не глядя на него, Ильин между разговором, который он вел с Турбиным.

Игра завязалась. Лухнов метал отчетливо, как машина, нередко останавливаясь и неторопливо записывая или строго взглядывая сверху очков и слабым голосом говорил: «Пришлите». Толстый помещик говорил громче всех, делая сам с собой веселых различные соображения, и мусолил пухлые пальцы, загибая карты. Гарнизонный офицер молча, красиво поднимая под картой и под столом загибал маленькие уголки. Грек сидел сбоку банки-мета и внимательно следил своими выплыми черными глазами за игрой, выжидая чего-то. Завальшевский, стоя у стола, вдруг весь приходил в движение, доставал из кармана штанов красную или синенькую, клал сверху нее карту, прихлопывал по ней ладонью, приговаривая: «Выези, семерочка!», закусывал усы, переминался с ноги на ногу, краснел и приходил весь в движение, продолжаясь до тех пор, пока не выходила карта. Ильин ел телятину с огурцами, поставленную подле него на волежном диване, и быстро обтирая руки о сюртук, ставил одну карту за другой. Турбин, сидевший сначала на диване, тотчас же заметил, в чем дело. Лухнов не глядел носом на улана и ничего не говорил ему: только изредка его очки на мигновение направлялись на руки улана, но большая часть его карт проигрывала.

— Вот бы мне эту карточку убить, — приговаривал Лухнов про карту того-то помещика, игравшего по полтине.

— Вы бейте у Ильина, а мне-то что, — замечал помещик.

И действительно, Ильина карты бились чаще других. Он нервно раздирал под столом проигравшую карту и дрожащими руками выбирал другую. Турбин встал с дивана и попросил грека пустить его сесть подле банки-мета. Грек пересел на другое место, а граф, сев на его стул, не сдвигая глаз, пристально начал смотреть на руки Лухнова.

— Ильин! — сказал он вдруг своим обыкновенным голосом, который, совершенно невольно для него, заглушал все другие, — зачем рутерок держишься? Ты не умеешь играть!

— Уж как ни играй, все равно.

— Так ты наверно проиграешь. Дай я за тебя по-
потирую.

— Нет, извини, пожалуйста: уж я всегда сам. Играй
за себя, ежели хочешь.

— За себя, я сказал, что не буду играть; я за тебя
хочу. Мне досадно, что ты проигрывался.

— Уж, видно, судьба!

Граф замолчал и, облокотясь, опять так же присталь-
но стал смотреть на руки банкиомета.

— Скверно! — вдруг проговорил он громко и про-
тяжно.

Духнов оглянулся на него.

— Скверно, скверно! — проговорил он еще громче,
глядя прямо в глаза Духнову.

Игра продолжалась.

— Не-хо-ро-шо! — опять сказал Турбин, только что
Духнов убил большую карту Ильина.

— Что это вам не нравится, граф? — утихо и равно-
душно спросил банкиомет.

— А то, что вы Ильину семпеля даете, а углы бьете.
Вот что скверно.

Духнов следил плечами и бровями легкое движение,
выражавшее совет во всем предаваться судьбе, и про-
должал играть.

— Блюхер, фю! — крикнул граф, вставая, — узи его! —
прибавил он быстро.

Блюхер, стукнувшись спиной об диван и чуть не сбив
с ног гарнизонного офицера, выскочил оттуда, подбежал
к своему хозяину и зарычал, оглядываясь на всех и ма-
хая хвостом, как будто спрашивая: «кто тут грубит? а?»

Духнов положил карты и со стулом отодвинулся в
сторону.

— Этак нельзя играть, — сказал он, — я ужасно собак
не люблю. Что ж за игра, когда целую парню приведу!

— Особенно эти собаки: они пивки называются,
кажется, — подлакнул гарнизонный офицер.

— Что ж, будем играть, Михайло Васильевич, или
нет? — сказал Духнов хозяину.

— Не мешай нам, пожалуйста, граф! — обратилась
Ильиня к Турбину.

— Поди сюда на минутку, — сказал Турбин, взяв
Ильина за руку, и вышел с ним за перегородку.

14

Оттуда были совершенно ясно слышны слова графа,
голосистого своим обыкновенным голосом. А голос у него
был такой, что его всегда слышно было за три ком-
наты.

— Что ты, ошалел, что ли? Разве не видишь, что этот
голослив в очках — шулер нервной руки.

— Э, полно! что ты говоришь!

— Не полно, а брось, я тебе говорю. Мне бы все
равно. В другой раз я бы сам тебя обыграл; да так, мне
что-то жалко, что ты продумешься. Еще нет ли у тебя
кационных денег?

— Нет; да и с чего ты выдумал?

— Я, брат, сам по этой дорожке бегал, так все шу-
лерские приемы знаю; я тебе говорю, что в очках — это
шулер. Брось, пожалуйста. Я тебя прошу, как товарища.

— Ну, вот я только одну талию, и кончу.

— Знаю, как одну; ну, да посмотрим.

Ворнувшись. В одну талию Ильин поставил столько
карт и столько их ему убили, что он проиграл много.

Турбин положил руки на середину стола.

— Ну, баста! Поедем.

— Нет, уж я не могу; оставь меня, пожалуйста, —
сказал с досадой Ильин, тасуя гнутые карты и не глядя
на Турбина.

— Ну, черт с тобой! проигрывай наверняка, коли тебе
придется, а мне поря! Завальшевский! поедем к пред-
водителю.

И они вышли. Все молчали, и Духнов не метал до тех
пор, пока стук их шагов и когтей Блюхера не замер по
коридору.

— Эка башка! — сказал помещик, смеясь.

— Ну, теперь не будет мешать, — прибавил торопливо
и еще шепотом гарнизонный офицер.

И игра продолжалась.

IV

Музыканты, дворовые люди предводителя, стоя в бу-
фете, ошпином на случай бала, уже заворотив рукава
сюртуков, по данному знаку заиграли старинный поль-
ский «Александр, Елисавета» и при ярком и мягком
освещении восковых свеч по большой паркетной зале
начинали плавно проходить: екатерининский генерал-гу-
бернатор со звездой, под руку с худощавой предводи-

15

тельшей, предводитель под руку с губернаторшей и т. д.— губернские власти в различных сочетаниях и перемещениях, когда Завальшевский, в синем фраке с огромным воротником и буфами на плечах, в чулках и башмаках, расprostранный вокруг себя запах жасминовых духов, которыми были обильно спрыснуты его усы, лацкана и платок, вместе с красавцем гусаром в голубых обтянутых рейтузах и шитом золотом красном ментике, на котором висели владимирский крест и медаль ростом, какого года, вошли в залу. Граф был невысок ростом, но отлично, красиво сложен. Ясно-голубые и чрезвычайно блестящие глаза и довольно большие, выходящие густыми колтыками, темно-русые волосы придавали его красоте замечательный характер. Приезд графа на бал был ожидаем: красивый молодой человек, видевший его в гостинице, уже поведал о том предводителю. Впечатление, произведенное этим известием, было различно, но вообще не совсем приятно. «Еще на смех подымет этот мальчишка», — было мнение старух и мужчин. «Что, если он меня похитит?» — было более или менее мнение молодых женщин и барышень.

Как только польский кончили и пары взаимно раскланывались, снова отделяясь женщины к женщинам, мужчины к мужчинам, Завальшевский, счастливым и гордым, пошел графа к хозяйке. Предводительша, испытавшая некоторый внутренний трепет, чтобы гусар этот не сделал с ней при всех какого-нибудь скандала, гордо и презрительно отворотилась, сказала: «Очень рада-сі надесь, будете танцевать?» — и недоверчиво взглянула на него с выражением, говорившим: «уж ежели ты женщину обидишь, то ты совершенный подлец после этого». Граф, однако, скоро победил это предубеждение своею любовью, внимательностью и прелестной веселой наружностью, так что чрез пять минут выражение лица предводительши уже говорило всем окружающим: «Я знаю, как вести этих господ: он сейчас понял, с кем говорит; вот и будет со мной весь вечер любезничать». Однако тут же подошел к графу губернатор, знавший его отца, и весьма благосклонно отвел его в сторону и поговорил с ним, что еще больше успокоило губернского публику и возвысило в ее мнении графа. Потом Завальшевский подвел его знакомить к своей сестре — молодой подленькой вдовушке, с самого приезда графа вшившейся в него

своими большими черными глазами. Граф позвал вдовушку танцевать вальс, который заиграли в это время музыканты, и уже окончательно своим искусством танцевать победил общее предубеждение.

— А мастер танцевать! — сказала толстая помещица, глядя за ногами в синих рейтузах, мелькавшими по зале, и мысленно считая: раз, два, три; раз, два, три... — мастер!

— Так и строчит, так и строчит, — сказала другая приезджа, считававшая дурного тона в губернском обществе, — как он шпорами не заденет! Удивительно, очень довои!

Граф затмил своим искусством танцевать трех лучших танцоров в губернии: и высокого белокрысого арьерганта губернаторского, отличавшегося своею быстротой в танцах и тем, что он держал даму очень близко, и каналериста, отличавшегося грациозным раскачиванием во время вальса и частым, но легким притоптыванием каблучка; и еще другого, штатского, про которого все говорили, что он хотя и недалек по уму, но танцор превосходный и душа всех бабов. Действительно, этот штатский с начала бала и до конца пригласил всех дам по порядку, как они сидели, не переставая танцевать ни на минуту и только нарзетка останавливалась, чтоб оберечь сделавшимся совершенно мокрым батистовым платочком изуренное, но всегое лицо. Граф затмил всех их и танцевал с тремя главными дамами: с большой — болятой, красивой и глупой, с средней — худощавой, не слишком красивой и красивой, но очень умной дамой. Он танцевал и с другими, со всеми хорошенькими, а хорошеньких было много. Но вдовушка, сестра Завальшевского, больше всех понарядилась графу; с ней он танцевал и кадрили, и экосес, и мазурку. Он начал с того, когда они уселись в кадрили, что наговорил ей много комплиментов, сравнивая ее с Венерой, и с Дианой, и с розаном, и еще с какими-то цветком. На все эти любезности вдовушка только стивала белую шейку, опускала глаза, глядя на свое бедное кисейное платьице или на испорченную в дурную пережидывавая опалахало. Когда же она говорила: «Подождите, граф, вы шутите», — и т. п., то доблесть превратилась в дурной, изучал таким напынным престоном в красавице, которую полюбил, что, глядя на нее, деловителен был 1-FLIALI

28135-6

ТОРОДСКАЯ
ЦИРЧИКСКАЯ
№ 1
ЦБС

лову, что это не женщина, а преток, и не розан, а какой-то дикий бело-розовый пышный цветок без запаха, выросший один из девственного снежного сугроба в какой-нибудь очень далекой земле.

Такое странное впечатление произвело на графа это соединение наивности и отсутствия всего условного с свежей красотой, что несколько раз в промежутки разговора, когда он могча смотрел ей в глаза или на прекрасные линии рук и шеи, ему приходило в голову с такой силой желание вдруг схватить ее на руки и распозовать, что он серьезно должен был удерживаться. Вдовушка с удовольствием замечала впечатление, которое она производила; но что-то ее начинало тревожить и пугать в обращении графа, несмотря на то, что молодой гусар был вместе с заискивающей любовью почти теген, по теперешним понятиям, до приторности. Он бегал ей за оршадом, подымал платок, вырвал ступа из рук какого-то золотушного молодого помещика, который хотел тоже прислужить ей, чтобы подать его скорее, и т. д.

Заметив, что светская тогдашнего времени любезность мало действовала на его даму, он попробовал сменить ее, рассказывая ей забавные анекдоты; уверил, что он, если она прикажет, готов сейчас стать на голову, закрыть петухом, выскопытать в окно или броситься в прорубь. Это совершенно удалось: вдовушка развеселилась и как-то переливаясь смеялась, показывая чудные белые зубки, и была совершенно довольна своим кавалером. Графу же она с каждой минутой все более и более нравилась, так что под конец кадрили он был искренно влюблен в нее.

Когда после кадрили к вдовушке подошел ее давнишний восемнадцатилетний обожатель, неслужащий сын самого богатого помещика, золотушный молодой человек, тот самый, у которого вырвал ступа Турбин, она приняла его чрезвычайно холодно, и в ней не было заметно и десяти доли того смущения, которое она испытывала с графом.

— Хороши вы, — сказала она ему, глядя в это время на спину Турбина и бессознательно изображая, сколько аршин золотого шнура пошло на всю куртку, — хороши вы: обещали за мной захватить кататься и конфет мне привезти.

— Да я ведь присяжал, Анна Федоровна, а вас уже не было, и конфеты самые лучшие оставил, — сказал молодой человек, несмотря на высокий рост, очень тоненьким голоском.

— Вы найдете всегда отговорки! не нужно мне ваших конфет. Пожалуйста, не думайте...

— Я уж вижу, Анна Федоровна, как вы ко мне переменились, и знаю отчего. Только это нехорошо, — прибавил он, но, видимо не докончив своей речи от какого-то внутреннего сильного волнения, заставившего весьма быстро и странно дрожать его губы.

Анна Федоровна не слушала его и продолжала следить глазами за Турбиным.

Предводитель, хозяин дома, величаво-толстый беззубый старик, подошел к графу и, взяв его под руку, пригласил в кабинет покурить и выпить, ежели угодно. Как только Турбин вышел, Анна Федоровна почувствовала, что в зале совершенно нечего делать, и, взяв под руку старую, сухую барышню, свою приятельницу, вышла с ней в уборную.

— Ну, что? мил? — спросила барышня.

— Только ужасно как пристает, — отвечала Анна Федоровна, подходя к зеркалу и глядясь в него.

Лицо ее просияло, глаза засмеялись, она покраснела даже и вдруг, подражая багетным танцовщицам, которых видела на этих выборах, перевернулась на одной ножке, потом засмеялась своим горловым, но милым смехом и припрыгнула даже, поджав колени.

— Какое? он у меня сувенир просил, — сказала она приятельнице, — только ничего ему не бу-у-у-дет, — прошептала она последнее слово и подняла один палец в дайковой, до локтя высокой перчатке...

В кабинете, куда привел предводитель Турбина, стояли разных сортов водки, наливки, закуски и шампанское. В табачном дыму сидели и ходили дворяне, разговаривая о выборах.

— Когда все благородное дворянство нашего уезда почтительно выборов, — говорил вновь выбранный исправник, уже значительно выпивший, — то он не должен был манкировать перед всем обществом, никогда не должен был...

Приход графа прервал разговор. Все стаги с ним знакомы, и особенно исправник обими руками долго

жал его руку и несколько раз просил, чтобы он не от-
казался ехать с ними в компании после бала в новый
трактир, где он угощает дворян и где цыгане петь
будут. Граф обещал непременно быть и вышел с ним
несколько бокалов шампанского.

— Что ж вы не танцуете, господа? — спросил он пе-
ред тем, как выходить из комнаты.

— Мы не танцоры, — отвечал исправник, смеясь, —
мы больше насчет вина, граф... А впрочем, ведь это при
мне повзросло, все эти барышни, граф! Я так иногда
тоже в экзесе пройду, граф... могу, граф...

— А пойдем теперь пройдемся, — сказал Турбин, —
разгуляемся перед цыганами.

— Что ж, пойдете, господа! потешим хозяйина.

И человека три дворян, с самого начала бала пившие
в кабинете, с красными лицами, надели кто черные, кто
шелковые вязаные перчатки и вместе с графом уже со-
брались идти в залу, когда их задержал золотушный
молодой человек, весь бледный и два удерживая слезы,
подшел к Турбину.

— Вы думаете, что вы граф, так можете толкаться,
как на базаре, — говорил он, с трудом переводя дыха-
ние, — оттого, что это неучтиво...

Снова против его воли запытавшие губы остановили
поток его речи.

— Что? — крикнул Турбин, вдруг нахмурившись. —
Что? Мальчишка! — крикнул он, схватив его за руки и
сжав так, что у молодого человека кровь в голову бро-
силась, не столько от досады, сколько от страха, — что,
вы стрелиться хотите? Так я к вашим услугам.

Едва Турбин выпустил руки, которые он сжал так
крепко, как уже двое дворян подхватили под руки моло-
дого человека и потащили к задней двери.

— Что, вы с ума сошли? Вы напились, верно.
Вот папешке сказать. Что с вами? — говорили они
ему.

— Нет, не напился, я он толкается и не виноватся.
Он свинья, вот что! — пищал молодой человек, уже совер-
шенно раслакавшись.

Однако его не послушали и увезли домой.

— Полноте, граф! — увещевали с своей стороны Тур-
бина исправник и Завальшевский, — ведь ребенок, его
секут еще, ему ведь шестнадцать лет. И что с ним сде-

лать, нельзя понять. Какая его муха укусила? И отец
его потешный такой человек, кандидат наш.

— Ну, черт с ним, коли не хочет...

И граф вернулся в залу и, так же как и прежде,
весело танцевал экзес с хорошенькой вдовушкой и от
всей души хохотал, глядя на па, которые выделывали
господа, вышедшие с ним из кабинета, и залився звонким
хохотом на всю залу, когда исправник поскользнулся и
во весь рост плелся посередине танцующих.

У

Анна Федоровна, в то время как граф ходил в каби-
нет, подошла к брату и, почему-то сообразив, что нужно
притвориться весьма мало интересующеюся графом, стала
распиривать: «Что это за гусар такой, что со мной тан-
цевал? скажите, братец». Кавалерист объяснил сколько
мог сестрице, какой был великий человек этот гусар, и
при этом рассказывал, что граф здесь остался потому толь-
ко, что у него деньги дорогой украли и что он сам дал
ему сто рублей займа, но этого мало, так не может ли
сестрица сосудить ему еще рублей двести; но Завальшев-
ский просил про это никому, и особенно графу, отнюдь
ничего не говорить. Анна Федоровна обещала прислать
ничего же и держать дело в секрете, но почему-то во
время экзеса ей ужасно захотелось предложить самой
графу сколько он хочет денег. Она долго собиралась, крас-
нела и наконец, сделав над собою усилие, таким образом
приступила к делу:

— Мне братец говорил, что у вас, граф, на дороге
несчастье было и денег теперь нет. А если нужны вам,
не хотите ли у меня взять? Я бы ужасно рада была.

Но, выговорив это, Анна Федоровна вдруг чего-то ис-
пугалась и покраснела. Вся веселость мгновенно исчезла
с лица графа.

— Ваш братец дурак! — сказал он резко. — Вы знаете,
что когда женщина оскорбляет мужчину, тогда стреляют-
они; а когда женщина оскорбляет мужчину, тогда что
делает, знаете ли вы?

У бедной Анны Федоровны покраснели щеки и уши от
смущения. Она потупилась и не отвечала.

— Женщину целуют при всех, — тихо сказал граф,

нагнувшись, ей на ухо. — Мне позволите хоть вашу ручку поцеловать, — потихоньку прибавил он после долгого молчания, скалившись над смущением своей дамы.

— Ах, только не сейчас, — протопорила Анна Федоровна, таясь вздыхая.

— Так когда же? Я завтра рано еду... А уж вы мне это должны.

— Ну, так, стало быть, нельзя, — сказала Анна Федоровна, улыбаясь.

— Вы только позволите найти случай видеть вас нынче, чтоб поцеловать вашу руку. Я уж найду его.

— Да как же вы найдете?

— Это не ваше дело. Чтоб видеть вас, для меня все возможно... Так хорошо?

— Хорошо.

Экссес кончился; протанцевали еще мазурку, в которой граф делал чудеса, дая платки, становясь на одно колено и прихляпывая шпорами как-то особенно, поваршавски, так что все старики выжили из-за бостона смотреть в залу, и кавалерист, лучший танцор, сознал себя презабойденным. Поужинали, протанцевали еще гротфатер и стали разъезжаться. Граф во все время не спускал глаз с вдовушки. Он не притворился, говоря, что для нее готов был броситься в прорубь. Прихоть ли, любовь ли, упорство ли, но в этот вечер все его душевные силы были сосредоточены на одном желании — видеть и любить ее. Только что он заметил, что Анна Федоровна стала прощаться с хозяйкой, он выбежал в лакейскую, а оттуда, без шума, на двор, к тому месту, где стояли экипажи.

— Анна Федоровны Зайцевой экипаж! — закричал он. Высокая четвероестная карета с фонарями сдвинулась с места и поехала к крыльцу. — Стой! — закричал он кучеру, но колесо в снугу подбегая к карете.

— Чего надо? — отозвалась кучер.

— В карету надо сестр, — отвечал граф, на ходу отворяя дверцы и стараясь влезть. — Стой же, черт! Дурень!

— Васкал! стой! — крикнул кучер на форейтора и остановил лошадей. — Что ж в чужью карету лезете? это барыни Анны Федоровны карета, а не нашей милости карета.

— Ну, молчи ж, болван! На тебе целковый, да слезь

закрой дверцы, — говорил граф. Но так как кучер не шел, велился, то он сам подобрал ступеньки и, открыв окно, кое-как захлопнул дверцы. В карете, как и во всех старых каретах, в особенности обитых желтым бархатом, пахло какой-то гнилью и горелой щетиной. Ноги графа были по колесу в талом снуге и сильно збили в тонких сапогах и рейтузах. Да и все тело прохватывало зимний холод. Кучер ворчал на козлах и, какется, сбирался слезть. Но граф ничего не слышал и не чувствовал. Лицо его горело, сердце его сильно стучало. Он напряженно схватился за желтый ремень, высунулся в боковое окно, и вся жизнь его сосредоточилась в одном ожидании. Ожидание это продолжалось недолго. На крыльце закричали: «Зайцевой карету!», кучер зашевелил вожжами, кузов заколыхался на высоких рессорах, освещенные окна дома побежали одно за другим мимо окна кареты.

— Смотри, ежели ты, шельма, скажешь лакею, что я здесь, — сказал граф, высовываясь в переднее окошко к кучеру, — я тебя вазу, а не скажешь — еще десять рублей.

Едва он успел опустить окно, как кузов уж снова сильнее закачался, и карета остановилась. Он прижался к углу, перестал дышать, даже закурдился: так ему страшно было, что почему-нибудь не сбудется его страстное ожидание. Дверцы отворились, одна за другой с шумом подавали ступеньки, зашумело женское платье, и затхлую карету ворвался запах жасминовых духов, быстрые ножки забежали по ступенькам, и Анна Федоровна, задев полной распахнувшегося салона по ноге графа, молча, но таясь дыша, опустилась на сиденье подле него.

Видела ли она его или нет, этого никто бы не мог решить. Даже сама Анна Федоровна, но когда он взял ее за руку и сказал: «Ну, уж теперь поцелую-таки вашу ручку», — она очень мало изъвила испуга, ничего не отнечала, но отдала ему руку, которую он покрывл поцелуями гораздо выше перчатки. Карета тронулась.

— Скажи что-нибудь. Ты не серднишься? — говорил он ей.

Она молча прижалась в свой угол, но вдруг отчего-то изидалага и сама упала головой к его груди.

Вновь выбранный исправник с своей командой, кавалерист и другие дворяне уже давно слушали цыган и пили в новом трактире, когда граф в медвежьей, крытой синим сукном шубе, принадлежавшей покойному мужу Анны Федоровны, присоединился к их компании.

— Батюшка, ваше сительство! ждали не дождалсь! — говорил косою черной цыган, показывая свои блестящие зубы, встретив его еще в сенях и бросаясь снимать шубу. — С Лебедяни не выдали... Стеша зачуха совсем по вас...

Стеша, стройная молоденькая цыганочка с кирпично-красным румянцем на коричневом лице, с блестящими, глубокими черными глазами, осененными длинными ресницами, выбежала тоже навстречу.

— А! графчик! голубчик! золотой! вот радость-то! — заговорила она сквозь зубы с веселой улыбкой.

Сам Илюшка выбежал навстречу, притворяясь, что очень радуется. Старухи, бабы, девки повскакали с мест и окружили гостя. Кто считался кумовством, кто крестным братством.

Молодых цыганок Турбин всех распевавал в губы; старухи и мужчины целовали его в плечико и в ручку. Дворяне тоже были очень обрадованы приездом гостя, тем более что гуляба, дойдя до своего апотега, теперь уже остывала. Каждый начал испытывать пресыщение; вино, потеряв возбуждающее действие на нервы, только тяготило желудок. Каждый уже выпустил весь свой заряд ухаарства и приглядывая один к другому; все песни были пропеты и перемешались в голове каждого, оставив какое-то шумное, распущенное впечатление. Что бы кто ни сделал странного и лихого, всем начинало приходить в голову, что ничего тут нет любезного и смешного. Исправник, лежа в безобразном виде на полу у ног какой-то старухи, заболтал ногами и закричал:

— Шампанского!.. граф приехал!.. шампанского!.. приехал!.. ну, шампанского!.. ванну сделалю из шампанского и буду купаться... Господа дворян! люблю благородное дворянское общество... Степка! пой «Дорожку».

Кавалерист был тоже навеселе, но в другом виде. Он сидел на диване в уголке, очень близко рядом с высокою красивой пылганкой Любашей и, чувствуя, как хмель ту-

манил его глаза, хлопал ими, помахивал головой и, по второму раз и те же слова, шепотом угваривал пылганку бежать с ним куда-то. Любаша, улыбаясь, слушала его так, как будто то, что ей говорил, было очень весело и вместе с тем несколько печально, бросила изредка взгляды на своего мужа, косою Сашку, стоявшего за стулом против нее, и в ответ на признание в любви кавалериста напалаглась ему на ухо и просила купить ей потихоньку, чтоб другие не видали, духи и ленту.

— Ура! — кричал кавалерист, когда вошел граф. Красивый молодой человек, с озабоченным видом, старательно, твердыми шагами ходил взад и вперед по комнате и напевал мотивы из «Восстания в сераге».

Старый отец семейства, увлеченный к цыганкам неотвязными просьбами господ дворян, которые говорили, что без него все расстроится и лучше не ехать, лежал на диване, куда он повалился тотчас, как приехал, и никто на него не обращал внимания. Какой-то чиновник, бывший тут же, сняв фрак, с ногами сидел на столе, ерошил свои волосы и тем самым доказывал, что он очень кутит. Как только вошел граф, он расстегнул ворот рубашки и подсел еще выше на стол. Вообще с приездом графа кутеж оживился.

Цыганки, разобредшиеся было по комнате, опять сели кружком. Граф посадил Стешку, запевалу, себе на колени и велел еще подать шампанского.

Илюшка с гитарой стал перед запевадой, и началась *ляска*, то есть цыганские песни: «Хожу ль я по улице», «Эй, вы, гусары...», «Слышишь, разумеешь...» и т. д., в известном порядке. Стешка славно пела. Ее тихий, звучный, из самой груди выливавшийся контральто, ее улыбки во время пенья, смеющиеся страстные глаза и ножка, шевелившаяся невольно в такт песни, ее отчаянное вскрикивание при начале хора — все это задевало за какую-то звонкую, но редко задеваемую струну. Видно было, что она вся жила только в той песне, которую пела. Илюшка, улыбкой, спиной, ногами, всем существом изобразивая сочувствие песне, аккомпанировал ей на гитаре и, вынырив в нее глазами, как будто в первый раз слушая песню, внимательно, озабоченно, в такт песни наклонил и поднимал голову. Потом он вдруг выпрямился при последней певучей ноте и, как будто чувствуя себя выше всех в мире, гордо, решительно вски-

дывал ногой гитару, перевортывал ее, припопывал, встряхивал волосами и, нахмурившись, оглядывался на хор. Все это того от шеи и до пяток начинало пливаться каждой жилкой... И двадцать энергических, сильных голосов, каждый из всех сил стараясь страшнее и необыкновеннее вторить один другому, перевалились в воздухе. Старухи подпрыгивали на стульях, помахивая ладочками и оскакивая зубы, вскрикивали, в лад и в такт, одна громче другой. Басы, склонив головы набок и напружив шеи, гудели, стоя за стульями.

Когда Стеша выводила тонкие ноты, Илюшка подносил к ней ближе гитару, как будто ждала помочь ей, а красивый молодой человек в восторге вскрикивал, что теперь бежали пошли.

Когда заиграли плавовую и, дрожа плечами и грудью, прошла Дуниша и, развернувшись перед графом, поплыла дальше, Турбин вскочил с места, скинул мундир и, оставшись в одной красной рубахе, лихо прошлепал с нею в самый раз и такт, выделывая ногами такие штуки, что цыгане, одобрительно улыбаясь, перелгидывались друг с другом.

Исправник сел по-турецки, хлопнул себя кулаком по груди и закричал: «Вивати!», а потом, ухватив графа за ногу, стал рассказывать, что у него было две тысячи рублей, а теперь всего пятьсот осталось, и что он может сделать все, что захочет, ежели только граф позволит. Старый отец семейства проснулся и хотел уехать, но его не пустили. Красивый молодой человек упрямивал цыганку протанцевать с ним вальс. Кавалерист, желая похвастаться своей дружбой с графом, встал из своего угла и обнял Турбина.

— Ах ты, мой голубчик! — сказал он. — Зачем ты только от нас уехал? А? — Граф молчал, видимо, думая о другом. — Куда ездил? Ах ты, плут, граф, уж я знаю, куда ездил.

Турбину отчего-то не понравилось это панибратство. Он, не улыбаясь, молча посмотрел в лицо кавалеристу и вдруг пустился в упор на него такое страшное, грубое ругательство, что кавалерист огорчился и долго не знал, как ему принять такую обиду: в шутку или не в шутку. Наконец он решил, что в шутку, улыбулся и пошел опять к своей цыганке, уверил ее, что он на ней непременно женится после святой. Запел другую песню,

третью, еще раз подлясали, проведничали, и всем продалжало казаться весело. Шампанское не кончалось. Граф пил много. Глаза его как бы открылись вытого, но он не шатался, плисал еще лучше, говорил твердо и даже сам славно подпевал в хоре и вторил Стеше, когда она пела «Дружба нежное волнение». В середине плиски купец, содержатель трактира, пришел просить гостей ехать по домам, потому что уже был третий час утра. Граф схватил купца за пиворот и велел ему пливаться вириядку. Купец отказывался. Граф схватил бутылку шампанского и, перевернув купца ногами вверх, велел его дергать так и, к общему хохоту, медлительно выдвигал на него всю бутылку.

Уже рассветало. Все были бледны и изнурены, исключая графа.

— Однако мне пора в Москву, — сказал он вдруг, вставая. — Пождем все ко мне, ребята. Проводите меня... и чаю напьемся.

Все согласилась, исключая заснувшего помещика, который тут и остался, набились битком в трое саней, стоявших у подъезда, и поехали в гостиницу.

VII

— Закладывай! — крикнул граф, входя в общую залу гостиницы со всеми гостями и цыганами. — Сашка! не цыган Сашка, а мой, скажи смотрителю, что прибыло, коли лошади плохи будут. Да чаю давай нам! Завальцевский! распорядкайся чаем, а я пройду к Ильину, посмотрю, что он, — прибавил Турбин и, выйдя в коридор, направился в номер улана.

Ильин только что кончил игру и, проитрав все деньги до копейки, вниз лицом лежал на диване из разорванной волосиной материи, один за одним выдергивая волосы, вставляя их в рот, перекусывая и выглевывая. Две салтыные свечки, из которых одна уже догорела до бумаки, стояли на ломберном, заваленном картами столе, слабо боролась с светом утра, проникавшим в окна. Мысль в голове улана никаких не было: какой-то густой туман иторной страсти застигал все его душевные способности; даже раскаяния не было. Он попробовал раз подумать о том, что ему теперь делать, как выехать без копейки денег,

как заплатит пятнадцать тысяч проигранных казенных денег, что скажет полковой командир, скажет его мать, что скажут товарищи,— и на него налет такой страх и такое отращение к самому себе, что он, желая забыться чем-нибудь, встал, стал ходить по комнате, стараясь ступать только на щели половиц, и снова начал припоминать себе все мельчайшие обстоятельства происходившей игры; он живо воображал, что уже отыгрывается и снимает диванку, кладет короля пик на две тысячи рублей, направо ложится дама, налево туз, направо король бубен,— и все пропало; а ежели бы направо шестерка, а налево король бубен, тогда совсем бы отыгрался, поставил бы еще все на пике и выиграл бы тысяч пятнадцать чистых, купил бы себе тогда иноходца у полкового командира, еще пару лошадей, фазтон купил бы. Ну, что же еще потом? да ну и славная, славная бы штука была!

Он опять лег на диван и стал грывать волосы.

«Зачем это поют песни в седьмом номере? — подумал он. — Это, верно, у Турбина всеелются. Пойти нешто туда да выпить хорошенько».

В это время вошел граф.

— Ну что, продулся, брат, а? — крикнул он.

«Притворяюсь, что сплю,— подумал Ильин,— а то надо с ним говорить, а мне уж спать хочется».

Однако Турбин подошел к нему и поглядел его по голове.

— Ну что, дружок любезный, продулся? проигрался? говори.

Ильин не отвечал.

Граф дернул его за руку.

— Проиграл. Ну что тебе? — пробормотал Ильин сонным, равнодушно недовольным голосом, не переменяя положения.

— Все?

— Ну да. Что ж за беда. Все. Тебе что?

— Послушай, говори правду, как товарищу,— сказал граф, под влиянием выпитого вина расположенный к нежности, продолжая гладить его по волосам.— Право, я тебя полюбил. Говори правду: ежели проиграл казенные, я тебя выручу; а то поздно будет... Казенные деньги были?

Ильин вскопчил с дивана.

— Уж ежели ты хочешь, чтоб я говорил, так не го-

вори со мной, оттого, что... и, пожалуйста, не говори со мной... Пуля в лоб — вот что мне осталось одно! — проговорил он с истинным отчаянием, улав головой на руки и заливаясь слезами, несмотря на то, что за минуту перед этим преспокойно думал об иноходцах.

— Эх ты, красная девица! Ну, с кем этого не было! Не беда: еще авось поправим. Подожди-ка меня тут.

Граф вышел из комнаты.

— Где стоит Лухнов, помещик? — спросил он у коридорного.

Коридорный вызвался проводить графа. Граф, не смотря на замечание лакеев, что барин сейчас только пожаловали и раздеваться наволит, вошел в комнату. Лухнов в халате сидел перед столом, считал несколько кип ассигнаций, лежавших перед ним. На столе стояла бутылка рейнвейна, который он очень любил. С выигранных он позволил себе это удовольствие. Лухнов холодно, строго, через очки, как бы не узнавая, поглядел на графа.

— Вы, кажется, меня не узнаете? — сказал граф, репительными шагами подходя к столу.

Лухнов узнал графа и спросил:

— Что вам угодно?

— Мне хочется поиграть с вами,— сказал Турбин, садясь на диван.

— Теперь?

— В другой раз с моим удовольствием, граф! а теперь и устал и соснуть собираюсь. Не угодно ли вина? доброе вино.

— А я теперь хочу поиграть немножко.

— Не располагаю нынче больше играть. Может, кто из господ станет, а я не буду, граф! Вы уж, пожалуйста, меня извините.

— Так не будете?

Лухнов сделал плечами жест, выражающий сожаление о невозможности исполнить желание графа.

— Ни за что не будете?

— Опять тот же жест.

— А я вас очень прошу... Что ж, будете играть?.. Молчание.

— Будете играть? — второй раз спросил граф. — Смотри!

То же молчанье и быстрый взгляд вверх очков на начинавшее хмуриться лицо графа.

— Будете играть? — громким голосом крикнул граф, стукнув рукой по столу так, что бутылка рейнвейна упала и разлилась. — Ведь вы нечисто выиграли? Будете играть? третий раз спрашиваю.

— Я сказал, что нет. Это, право, странно, граф! и вовсе неприлично прийти с ножом к горлу к человеку, — заметил Лухнов, не поднимая глаз.

Последовало непродолжительное молчанье, во время которого лицо графа бледнело больше и больше. Вдруг страшный удар в голову ошелолил Лухнова. Он упал на диван, стараясь захватить деньги, — и закрычал таким пронзительно-отчаянным голосом, которого никак нельзя было ожидать от его всегда спокойной и всегда предстательной фигуры. Турбин собрал лежачие на столе остальные деньги, оттолкнул слугу, который вбежал было на помощь барину, и скорыми шагами вышел из комнаты.

— Ежели вы хотите удовлетворения, то я к вашим услугам, в своем номере еще пробуду полчаса, — прибавил граф, вернувшись к двери Лухнова.

— Мошеники! грабители!.. — послышалось оттуда. — Под уголовный подведу!

Ильин все так же, не обратив никакого внимания на обещания графа выручить его, лежал у себя в номере на диване, и слезы отчаяния давили его. Сознание действительности, которое сквозь странную путаницу чувств, мыслей и воспоминаний, наглонывших его душу, выважала ласка участия графа, не покидало его. Богатая надеждами молодость, честь, общественное уважение, мечты любви и дружбы — все было навеки потеряно. Источник слез начал высыхать, слишком спокойное чувство безнадежности овладевало им больше и больше, мысль о самоубийстве, уже не возбуждая отвращения и ужаса, чаще и чаще останавливалась его внимание. В это время послышались твердые шаги графа.

На лице Турбина еще были видны следы гнева, руки его несколько дрожали, но в глазах сияла добрая веселость и самодовольство.

— На! отыграл! — сказал он, бросая на стол несколько кип ассигнаций. — Сюти, все ли? Да приходи скорей в общую залу, я сейчас еду, — прибавил он, как будто не

замечая страшного волнения радости и благодарности, выразившегося на лице улана, и, насистывая какую-то пуганскую песню, вышел из комнаты.

VIII

Шашка, перетянувшись кушаком, доложил, что лошади готовы, но требовал, чтоб сходить прежде взять графскую шинель, которая будто бы триста рублей с воротничком стоит, и отдать потаную синюю шубу тому мерзавцу, который ее переменил на шинель у предводителя; но Турбин сказал, что искать шинель не нужно, и пошел в свой номер переодеваться.

Кавалерист беспрестанно икал, сидя молча подле своей цыганки. Исправник, потребовав вожки, пригласил всех господ ехать сейчас к нему завтракать, обещая, что его жена сама непременно пойдет плясать с цыганками. Красивый молодой человек глубокомысленно растолковывал Илюшке, что на фортепьянах Души больше, а на гитаре бежомей нельзя брат. Цыновник грустно пил чай и уголку и, казалась, при дневном свете стыдился своего разврата. Цыгане спорили между собой по-цыгански и настаивали на том, чтоб повечерять еще господ, чему Стеша противилась, говоря, что *барорай* (по-цыгански: граф или князь, или, точнее, большой барин) противается. Вообще, уже догорага во всех последних искра разгула.

— Ну, на прощанье еще песню и марш по домам, — сказал граф, свежий, веселый, красивый более чем когда-нибудь, входив в залу в дорожном платье.

Цыгане снова расположились кружком и только было собрались занеть, как вошел Ильин с пачкой ассигнаций в руке и отозвал в сторону графа.

— У меня всего было пятнадцать тысяч казенных, а ты мне дал шестнадцать тысяч триста, — сказал он, — это твой, стало быть.

— Хорошее дело! давай!

Ильин отдал деньги, робко глядя на графа, открыл было рот, желая сказать что-то, но только покраснел так, что даже слезы выступили на глаза, потом схватил руку графа и начал жать ее.

— Убирайся! Илюшка!.. слушай меня... на вот тебе деньги; только провожать меня с песнями до заставы. —

И он бросил ему на гитару тысячу триста рублей, которые принес Ильин. Но кавалеристу граф так и забыл отдать сто рублей, которые занял у него вчера.

Уже было десять часов утра. Солнышко поднялось выше крыш, народ снова по улицам, купцы давно отворили лавки, дворяне и чиновники ездил по улицам, барыни ходили по гостинному двору, когда ватага цыган, исправник, кавалерист, красивый молодой человек, Ильин и граф в синей медвежьей шубе вышли на крыльцо гостиницы. Был солнечный день и оттепель. Три ямские тройки с коротко подвизанными хвостами, шлепая ногами по жидкой грязи, подъехали к крыльцу, и вся веселая компания начала рассаживаться. Граф, Ильин, Стешка, Илюшка и Сашка-денщик сели в первые сани. Блюхер выходил из себя и, махая хвостом, давал на коренную. В другие сани уехали другие господа, тоже с цыганками и цыганами. От самой гостиницы сани выровнялись, и цыгане затянули хорovou песню.

Тройки с песнями и колокольчиками, сбивая на са-мые тротуары всех встречающихся проезжающих, проехали весь город до заставы.

Немало дивились купцы и прохожие, незнакомые и особенно знакомые, вида благородных дворян, едущих среди белого дня по улицам с песнями, цыганками и пьными цыганами.

Когда выехали за заставу, тройки остановились, и все стали прощаться с графом.

Ильин, вынивший довольно много на прощанье и все время правивший сам лошадами, вдруг сделался печален, стал угонять графа остаться еще на денек, но когда убедился, что это было невозможно, совершенно неожиданно, со слезами, бросился целовать своего нового друга и обещал, что, как придет, будет просить о переводе в гусары в тот самый полк, в котором служил Турбин. Граф был особенно весел, кавалериста, который утром уже окончательно говорил ему «ты», толкнул в ступор, исправника травил Блюхером, Стешку подхватил на руки и хотел увести с собой в Москву и наконец, вскопчил в сани, усадил рядом с собой Блюхера, который все хотел стоять на середине. Сашка, попросив еще раз кавалериста отобрать-таки у *ниг* графскую шинель и прислать ее, тоже вскопчил на козлы. Граф крикнул: «Пошел!».

силь фуражку, замахал ею над головой и по-ямски за-свистал на лошадей. Тройки разъехались.

Далеко впереди виднелась однообразная снежная равнина, по которой извивалась желтовато-грязная полоса дороги. Яркое солнце, играя, блеснуло на талом, прозрачной корой обледеневшем снегу и приятно пригревало лицо и спину. От потных лошадей валл пар. Колокольчик побрякивал. Какой-то мужичок с возом на раскатающихся санниках, подергивая веревочными вожжками, торопливо сторонился, бегом шлепая промокшими лаптишками по оттаявшей дороге; толстая, красная крестьянская баба с ребенком за овчинной пазухой сидела на другом возу, погоняя концами вожжей белую шелохостую кличонку. Графу вдруг вспомнилась Анна Федоровна.

— Назад! — крикнул он.

Ямщик не понял вдруг.

— Поворачивай назад! пошел в город! живо!

Тройка опять проехала заставу и бойко подкатила к дощатому крыльцу дома господки Зайцевой. Граф быстро выбежал на лестницу, прошел переднюю, гостиную и, застав вдовушку еще спящую, взял ее на руки, поднял с постели, поцеловал в заспанные глазки и живо выбежал назад. Анна Федоровна спросонков только облизывалась и спрашивала: «Что случилось?» Граф вскопчил в сани, крикнул на ямщика и, уже не останавливаясь и даже не вспоминая ни о Духнове, ни о вдовушке, ни о Стешке, а только думая о том, что его ожидало в Москве, выехал навсегда из города К.

IX

Прошло лет двадцать. Много воды утекло с тех пор, много людей умерло, много родилось, много выросло и состарилось, еще больше родилось и умерло мыслей; много прекрасного и много дурного старого погбило, много прекрасного молодого появилось и еще больше недоросшего, уродливого молодого появилось на свет божий.

Граф Федор Турбин уже давно был убит на дуэли с каким-то иностранцем, которого он выскел армянском на улице; сын, две капли воды похожий на него, был уже двадцатитрехлетний престелный юноша и служил

в кавалергардах. Молодой граф Турбин морально вовсе не был похож на отца. Даже и тени в нем не было тех буйных, страстных и, говоря правду, развратных наклонностей прошлого века. Вместе с умом, образованнем и наследственной даровитостью натуры любовь к прилично и удобствам жизни, практический взгляд на людей и обстоятельства, благоразумие и предусмотрительность были его отличительными качествами. По службе молодой граф шел славно: двадцати трех лет уже был поручиком... При открытии военных действий он решил, что выгоднее для производства перейти в действующую армию, и перешел в гусарский полк ротмистром, где и получил скоро эскадрон.

В мае месяце 1848 года С. гусарский полк проходил походом К. губернию, и тот самый эскадрон, которым командовал молодой граф Турбин, должен был ночевать в Морозовке, деревне Анны Федоровны. Анна Федоровна была жива, но уже так немолода, что сама не считала себя больше молодою, что много значит для женщины. Она очень растолстела, что, говорит, молодит женщину; но и на этой белой толщине были заметны крупные мятые морщины. Она уже не ездила никогда в город, с трудом даже выезжала в экипаж, но так же была добродушна и все так же глупенька, — можно теперь сказать правду, когда она уже не подкупает своей красотой. С ней вместе жили ее дочь Лиза, двадцатипятилетняя русская деревенская красавица, и братец, нам знакомый кавалерист, промотавший по добродушию все свое имение и стариком прижившийся у Анны Федоровны. Волоса на голове его были седые совершенно; верхняя губа упала, но над нею усы тщательно были вычерчены. Морщины покрывали не только его лоб и щеки, но даже нос и шею, спина согнулась; а все-таки в слабых кривых ногах видны были приемы старого кавалериста.

В небольшой гостиной старого Домника, с открытыми багряноной дверью и окнами на старинный звездобразный липовый сад, сидело все семейство и домашние Анны Федоровны. Анна Федоровна, с седой головой, в лиловой капорейке, на диване перед круглым столом красного дерева раскладывала карты. Старый братец, расположившись у окна, в чистеньких белых панталончиках и синем спортушке, вазал на рогатке снурочек из белой бумаги — занятие, которому его научила племянница и которое

он очень полюбил, так как делать он уже ничего не мог и для чтения газеты, любимого его занятия, глаза уже были слабы. Пимочка, воспитанница Анны Федоровны, подле него твердила урок под руководством Лизы, вставшей вместе с тем на деревянных спинках стулки из козьего пуха для дяди. Последние лучи заходящего солнца, как и всегда в эту пору, бросали сквозь липовую аллею раздробленные косые лучи на крайнее окно и этажерку, стоявшую около него. В саду и в комнате было так тихо, что слышалось, как за окном быстро про шумит крыльями дятлочка, или в комнате тихо вздохнет Анна Федоровна, или покряхтит старичок, переглядывая ногу на ногу.

— Как это кладется? Лизанька, покажи-ка. Я все забылаю, — сказала Анна Федоровна, останавливаясь в раскидывании пасьянса.

Лиза, не переставая работать, подошла к матери и нагнула на карты.

— Ах, вы перепутали, голубушка мамаша! — сказала она, переглядывая карты, — вот так надо было. Все-таки забудется, что вы загадали, — прибавила она, незаметно снимая одну карту.

— Ну, уж ты всегда меня обманываешь; говоришь, что вышло.

— Нет, право, значит удастся. Вышло.

— Ну, хорошо, хорошо, баговница! Да не пора ли чашю?

— Я уж велела разогревать самовар. Сейчас пойду. Вам сюда принести?.. Ну, кончай, Пимочка, скорей урок и пообедем бегать.

И Лиза вышла из двери.

— Лизочка! Лизанька! — заговорил дядя, пристально глядяваясь в свою рогатку. — Опить, какется, спустился петлю. Подними, голубчик!

— Сейчас, сейчас! только сахар отдам наколоть.

И действительно, она через три минуты вбежала в комнату, подошла к дяде и взяла его за ухо.

— Вот вам, чтобы не спускали петлей, — сказала она, сморщив, урок и не довязали.

Ну, полно, полно; поправь же, какой-то узелочек было видно.

Лиза взяла рогатку, вынула булавку у себя из кофточки, которую при этом распахнуло немного ветром из окна, и как-то булавочкой добыла петлю, протянула рюшу два и передала рогатку дяде.

— Ну, поделайте же меня за это,— сказала она, поставив ему румяную щеку и закатывая косынку,— вам с ромом нынче чай? Нынче ведь пятница.

И она опять ушла в чайную.

— Дяденька, идите посмотреть: гусары идут к нам! — послышался оттуда звучный голосок.

Анна Федоровна вместе с братцем вошли в чайную комнату, из которой окна были на деревню, посмотреть гусаров. Из окна очень мало было видно, заметно было только сквозь пыль, что какая-то толпа двигается.

— А жаль, сестрица,— заметил дядя Анне Федоровне,— жаль, что так тесно и флигель не отстроен еще: попросить бы к нам офицеров. Гусарские офицеры — ведь это все такой молодежь славная, веселая; посмотрел бы хоть на них.

— Что ж, я бы душой рада; да ведь вы сами знаете, братец, что негде: моя спальня, Лизина горница, гостинная да вот эта ваша комната — вот и всё. Где же их тут поместить, сами посудите. Им старостину избу очистил Михайло Матвеев; говорит — чисто тоже.

— А мы бы тебе, Лизочка, из них жениха прискакали, славного гусара! — сказал дядя.

— Нет, я не хочу гусара; я хочу улана: ведь вы в уланах служили, дядя?.. А я эгих знать не хочу. Они все отчаянные, говорят.

И Лиза покраснела немного, но снова засмеялась своим звучным смехом.

— Вот и Устюшка бежит; надо спросить ее, что вы дела,— сказала она.

Анна Федоровна велела позвать Устюшку.

— Нет того, чтоб посидеть за работой; какая надобность бегать на солдат смотреть,— сказала Анна Федоровна. — Ну, что, где поместилась офицеры?

— У Еремкиных, сударыня. Два их, красавцы такие! Один граф, называют.

— А фамилия как?

— Казаров ли, Турбинов ли; не запомнила, винювата-с.

— Вот дура, ничего и рассказать не умеет. Хоть бы узнала, как фамилия.

— Что ж, я сбегаяю.

— Да уж я знаю, что ты на это мастерица,— нет, пускай Данило ходит; скажите ему, братец, чтоб он схо-

дил да спросил, не нужно ли чего-нибудь офицерам-то; несе учтивость надо сделать, что барыня, мол, спросить велела.

Старик снова уселся в чайную, а Лиза пошла в девичью положить в ящик наколотый сахар. Устюша расстаривалась там про гусаров.

— Барышня, голубушка, вот красавчик этот граф-то,— говорила она,— просто херувимчик чернобровый. Вот бы вам такого женишка, так уж точно бы парочка была.

Дружне горничные одобрительно улынулись; старая няня, сидевшая у окна с чулком, вздохнула и прочтала даже, втягивая в себя дух, какую-то молитву.

— Так вот как тебе понравилась гусары,— сказала Лиза,— да ведь ты мастерица рассказывать. Принеси, пожалуйста, морсу, Устюша,— кисленьким гусаров понты.

И Лиза, смеясь, с сахарницей вышла из комнаты.

«А хотелось бы посмотреть, что это за гусар такой,— думала она,— бронет или блондин? И он ведь рад бы был, я думаю, познакомиться с нами. А пройдет, так и не узнает, что я тут была и об нем думала. И сколько уж этаких прошло мимо меня. Никто меня не видит, кроме дяденьки да Устюши. Как бы я ни зачесалась, какие бы рукава ни надела, никто и не полюбуется,— подумала она, вздохнув, глядя на свою белую, полную руку.— Он должен быть высок ростом, большие глаза, верно, маленькие черные усики. Нет, вот уж двадцать два года минуло, а никто в меня не влюбился, кроме Ивана Ипатьча рыбного; а четыре года тому назад я еще лучше была; и так, никому не на радость, прошла моя девичья молодость. Ах, я несчастная, несчастная деревенская барышня».

Голос матери, звавшей ее разгивать чай, вызвал деревенскую барыню из этой минутной задумчивости. Она встряхнула головкой и вошла в чайную.

Лучшие вещи всегда выходит нечаянно; а чем больше стараться, тем выходит хуже. В деревнях редко стараются давать воспитание и потому нечаянно большею частью дают прекрасное. Так и случилось, в особенности в Лизой. Анна Федоровна, по ограниченности ума и безлибного нрава, не давала никакого воспитания Лизе: не учила ее ни музыке, ни столь полезному французскому языку, а нечаянно родила от покойного мужа здоро-

венское дитя — дочку, отдала ее кормилице и пиньке, кормила ее, одевала в ситцевые платья и козловые башмаки, посылала гуллить и собирать грибы и ягоды. Учила ее грамоте и арифметике посредством нанятого семинариста — и нечаянно чрез шестнадцат лет увидела в Лизе подругу и всегда веселую, добродушную и деятельную хозяйку в доме. У Анны Федоровны, по добродушию ее, всегда бывали воспитанницы или из крепостных, или из подкидышей. Лиза с десяти лет уже стала заниматься ими: учить, одевать, водить в церковь и останавливать, когда они уже слишком шалили. Потом явились друхлы, добродушный дядя, за которым надо было ходить, как за ребенком. Потом дворовые и мужики, обращавшиеся к молодой барышне с просьбами и с недугами, которые она лечила бузиной, митой и камфарным спиртом. Потом домашнее хозяйство, перешедшее нечаянно все в ее руки. Потом неудовлетворенная потребность любви, находившая выражение в одной природе и религии. И из Лизы нечаянно вышла деятельная, добродушно-веселая, самостоятельная, чистая и глубоко религиозная женщина. Правда, были маленькие тшеславные страдания при виде соседок в модных шляпках, привезенных из К., стоящих рядом с ней в церкви; были досады до слез на старую, ворчливую мать за ее капризы; были и любовные мечты в самых нежных и иногда грубых формах, — но полезная и делавшаяся необходимою деятельность разогнала их, и в двадцать два года ни одного пятна, ни одного угрызения не заглаго в светлую, спокойную душу полной физической и моральной красоты развившейся девушки. Лиза была среднего роста, скорее полная, чем худая; глаза у ней были карие, небольшие, с легким темным оттенком на нижнем веке; длинная и русая коса. Походка у ней была широкая, с развалыцем — уточкой, как говорится. Выражение лица ее, когда она была занята делом и ничто особенно не волновало ее, так и говорило всем, кто вглядывался в него: хорошо и весело жить тому на свете, у кого есть кого любить и совесть чиста. Даже в минуты досады, смущения, тревоги или печали сквозил слезу, нахмуренную левую бровьку, сжатые губки так и светилось, как назло ее желанию, на ямках щек, на краях губ и в блестящих глазах, привыкших улыбаться и радоваться жизнью, — так и светилось неспороченное умом, доброе, прямое сердце.

Было еще жарко в воздухе, хотя солнце уже спускалось, когда эскадрон вступил в Морозовку. Вперед, по пыльной улице деревни, рысцою, оглядываясь и с мычаньем изредка останавливаясь, бежала отбившаяся от стада пестрая корова, никак не догадываясь, что надо было просто своротить в сторону. Крестыньские старики, бабы, дети и дворовые жално смотрели на гусар, толпясь по обим сторонам улицы. В густом облаке пыли, на воронках, замурлыгачуеченных, изредка пофыркивающих конях, толпая, двинулись гусары. С правой стороны эскадрона, расчуженно сидя на красивых воронках лошадей, ехали два офицера. Один был командир, граф Турбин, другой — очень молодой человек, недавно произведенный из конюров, Подозов.

Из лучшей избы вышел гусар в белом кителе и, сняв фуражку, подошел к офицерам.

— Где квартира для нас отведена? — спросил его граф.

— Для вашего сительства? — отвечал квартирьер, надругивая всем телом, — здесь, у старосты, избу очистил. Требуется на барском дворе, так говорит: нетути. Помещица такая элканая.

— Ну, хорошо, — сказал граф, слезая и расправляя плечи у старостинной избы, — а что, колыска моя приехала? — Изволила прибыть, ваше сительство! — отвечал квартирьер, указывая фуражкой на кожаный кузов колески, видневшейся в воротах, и бросаясь вперед в сени избы, набитой крестьянским семейством, собравшимся посмотреть на офицеров. Одну старушку он даже столкнул с ног, бойко отворяя дверь в оцищенную избу и стоясь перед графом.

Изаба была довольно большая и просторная, но не совсем чистая. Немец-камердинер, одетый как барин, стоял в избе и, уставив железную кровать и постлав ее, разбирал белье из чемодана.

— Фу, мерзость какая, квартирал! — сказал граф с досадою. — Дяденко! Разве нельзя было лучше ответить, у помещица где-нибудь?

— Коли ваше сительство прикажете, я пойду выгоню кого на барский двор, — отвечал Дяденко, — да домишко-то некорыстный, не лучше избы показывать.

— Теперь уж не надо. Ступай.

И граф лег на постель, закинув за голову руки.

— Иоган! — крикнул он на камердинера, — опить бутор посередине слега! Как ты не умеешь постелить хорошенько.

Иоган хотел поправить.

— Нет, уж не надо теперь... А хагат где? — продолжал он недовольным голосом.

Слуга подал хагат.

Граф, прежде чем надевать его, посмотрел подгу.

— Так и есть: не вывел пятна. То есть можно ли хуже тебя служить! — прибавил он, вырывая у него из рук хагат и надевая его, — ты, скажи, это нарочно делаешь?.. Чай готов?..

— Я не мог успевать, — отвечал Иоган.

— Дурак!

После этого граф взял приготовленный французский роман и довольно долго молча читал его; а Иоган вышел в сени раздвигать самовар. Видно было, что граф был в дурном расположении духа, — должно быть, под влиянием усталости, пыльного лица, узкого платья и голодного желудка.

— Иоган! — крикнул он снова, — подай счет Десяти рублей. Что ты купил в городе?

Граф посмотрел поданный счет и сделал недовольные замечания насчет дороговизны покупок.

— К чаю рому подай.

— Рому не покупай, — сказал Иоган.

— Отлично! сколько раз я тебе говорил, чтоб был ром!

— Денег не доставало.

— Отчего же Полозов не купил? Ты бы у его человека взял.

— Корнет Полозов? Не знаю. Они купили чаю и сахару.

— Скотина!.. Ступай!.. Только ты один умеешь меня выводить из терпения... знаешь, что я всегда пью чай в походе с ромом.

— Вот два письма из штаба к вам, — сказал камердинер.

Граф лежа распечатал письма и начал читать. Вошел с веселым лицом корнет, отводивший эскадрон.

— Ну что, Турбин? Тут, кажется, хорошо. А устал-таки я, признаюсь. Жарко было.

— Очень хорошо! Поганая вонючая изба и рому нет по твоей милости: твой болван не купил, и этот тоже. Ты бы хоть сказал.

И он продолжал читать. Дочитав до конца письма, он смил его и бросил на под.

— Отчего же ты не купил рому? — спрашивал в это время в сенях корнет шепотом у своего денщика. — Ведь у тебя деньги были?

— Да что ж мы одни все покупать будем! И так все и расход держку; а ихний немец только трубку курит, да и все.

Второе письмо было, видно, не неприятно, потому что граф, улыбаясь, читал его.

— От кого это? — спросил Полозов, возвратясь в комнату и устранив себе ночлег на досках подле печки.

— От Минь, — весело отвечал граф, подавая ему письмо. — Хочешь прочесть? Что это за прелесть женщины!.. Ну, право, лучше наших барышень... Посмотри, сколько тут чувства и ума, в этом письме!.. Одно нехорошо — денег просит.

— Да, это нехорошо, — заметил корнет.

— Я ей, правда, обещаю: да тут поход, да и... впрочем ефесги прокомандую еще месяца три эскадроном, я ей пошло. Не жалко, право! что за прелесть!.. а? — говорил он, улыбаясь, следя глазами за выражением лица Полозова, который читал письмо.

— Безграмотно ужасно, но мило, и кажется, что она точно тебя любит, — отвечал корнет.

— Гм! еще бы! Только эти женщины и любят истинно, когда уж любят.

— А то письмо от кого? — спросил корнет, передавая то, которое он читал.

— Так... это там есть господин Дин, дружиной очень, которому я должен по картам, и он уже третий раз напоминает... не могу я отдать теперь... глупое письмо! — отнесся граф, видимо огорченный этим воспоминанием.

Довольно долго после этого разговора оба офицера молчали. Корнет, видимо находившийся под влиянием графа, молча пил чай, изредка поглядывая на красную, отуманившуюся наружность Турбина, пристально глядящего в окно, и не решаясь начать разговор.

— А что, ведь может отлично выйти, — вдруг, обернувшись к Полозову и весело тряхнув головой, сказал

граф.— ежели у нас по линии будет в нынешнем году производство, да еще в дело попадем, я могу своих рот-мистров гвардии перенять.

Разговор и за вторым стаканом чаю продолжался на эту тему, когда вошел старый Данило и передал приказание Анны Федоровны.

— Да еще приказали спросить, не сынок ли изволите быть графа Федора Ивановича Турбина? — добавил от себя Данило, унававший фамилию офицера и помнивший еще приезд покойного графа в город К.— Наша барыня, Анна Федоровна, очень с ними знакомы были.

— Это мой отец был; да доложи барыне, что очень благодарен, ничего не нужно, только, мол, приказали просить, ежели бы можно, комнату починце где-нибудь, в доме или где-нибудь.

— Ну зачем ты это? — сказал Полозов, когда Данило вышел.— Разве не все равно? одна ночь здесь разве не все равно; а они будут стесняться.

— Вот еще! кажется, довольно мы пошлялись по курным избам!.. Сейчас видно, что ты непрактический человек... Отчего же не воспользоваться, когда можно хоть на одну ночь поместиться как людям? А они, напротив, ужасно довольны будут.

— Одно только противно: ежели эта барыня точно знала отца,— продолжал граф, открывая улыбки свои белые, блестящие зубы,— как-то всегда совестно за *папашу* покойного: всегда какая-нибудь история скандальная или долг какой-нибудь. От этого я терпеть не могу встречать этих отцовских знакомых. Впрочем, тогда век такой был,— добавил он уже серьезно.

— А я тебе не рассказывал,— сказал Полозов: — я как-то встретил уланской бригады командира Ильина. Он тебя очень хотел видеть и без памяти любит твоего отца.

— Он, кажется, ужасная дрянь, этот Ильин. А главное, что все эти господа, которые уверяют, что знали моего отца, чтоб подделаться ко мне, и, как будто очень милые вещи, рассказывают про отца такие штуки, что слушать совестно. Оно правда, я не увлекаюсь и беспристрастно смотрю на вещи,— он был слишком пылкий человек, иногда и не совсем хорошие штуки делал. Впрочем, все дело времени. В наш век он, может быть, вышел бы и очень деловитый человек, потому что способ-

ности-то у него были огромные, надо отдать справедливость.

Через четверть часа вернулся слуга и передал просьбу помещицы пожаловать ночевать в доме.

XI

Узнав, что гусарский офицер был сын графа Федора Турбина, Анна Федоровна захопоталась.

— А, батюшки мои! голубчик он мой!.. Данило! скорей беги, скажи: барыня к себе просит,— заговорила она, некаявая и скорыми шагами направляясь в девичью.— Лизанька! Устюшка! приготовить надо твою комнату. Ты перейди к дяде; а вы, братец... братец! вы в гостиной уж ночуйте. Одну ночь ничего.

— Ничего, сестрица! я на полу лягу.

— Красавчик, я чай, коли на отца похож. Хотя погляжу на него на голубчика... Вот ты посмотри, Лиза! А отец красавец был... Куда несешь стол? оставь тут,— суетилась Анна Федоровна,— да две кровати принеси — одну у приказчика возьми; да на этажерке подсвечник хрустальный возьми, что мне братец в именины подарил, и каганцевую свечу поставь.

Наконец все было готово. Лиза, несмотря на вмешательство матери, устроила по своему свою комнату для двух офицеров. Она достала чистое, надушенное резедой постельное белье и приготовила постели; велела поспать графини воды и свечки подле на столнике; накурила бумажкой в девичьей и сама перебралась с своею постелькой в комнату дяди. Анна Федоровна успокоилась немного, уселась опять на свое место, взяла было даже в руки карты, но, не раскладывая их, оперлась на пухлый диван и задумалась. «Времечко-то, времечко как летит! — шепотом про себя твердила она.— Давно ли, каково теперь гляжу на него. Ах, шагун был! — И у нее слезы выступили на глаза.— Теперь Лизанька... но все она не то, что я была в ее года-то... хороша девочка, но нет, не то...»

— Лизанька, ты бы платьице муслин-де-деневое надела к вечеру.

— Да разве вы их будете звать, мамаша? Лучше не надо,— отвечала Лиза, испытывая недоулимое волне-

ние при мысли видеть офицеров,—лучше не надо, мамаша!

Действительно, она не столько ждала их видеть, сколько боялась какого-то волнующего счастья, которое, как ей казалось, ожидало ее.

— Может быть, сами захотят познакомиться, Лизочка! — сказала Анна Федоровна, глядя ее по волосам и вместе с тем думая: «Нет, не те волосы, какие у меня были в ее годы... Нет, Лизочка, как бы я ждала тебе...» И она точно чего-то очень ждала для своей дочери; но женитьбы с графом она не могла предполагать, тех отношений, которые были с отцом его, она не могла желать, — но чего-то такого она очень-очень ждала для своей дочери. Ей хотелось, может быть, пожить еще раз в душе дочери той же жеманью, которую она жила с покойником.

Старичок кавалерист тоже был несколько взволнован приездом графа. Он вышел в свою комнату и заперся в ней. Через четверть часа он явился оттуда в вентерке и голубых панталонах и с смущенно-довольным выражением лица, с которым девушка в первый раз надевает балльное платье, пошел в назначенную для гостей комнату.

— Посмотрю на нынешних гусаров, сестрица! Покойник граф точно истинный гусар был. Посмотрю, посмотрю.

Офицеры пришли уже с заднего крыльца в назначенную для них комнату.

— Ну, вот видишь ли, — сказал граф, как был, в пыльных сапогах, дожась на притогляенную постель, — разве тут не лучше, чем в избе с тараканами!

— Лучше-то лучше, да как-то обаяваться хозяевам... — Вот вадор! Надо во всем быть практическим человеком. Они ужасно довольны, наверно... Человек! — крикнул он, — спроси чего-нибудь завесить это окошко, а то ночью дуть будет.

В это время вошел старичок знакомиться с офицерами. Он, хотя и красней несколько, разумеется не преминул рассказать о том, что был товарищем покойного графа, что пользовался его расположением, и даже сказал, что он не раз был благодетельствован покойником. Разумел ли он под благодетельными покойного то, что тот так и не отдал ему занятых ста рублей, или то, что

бросил его в сугроб, или что ругал его, — старичок не обьяснил ничего. Граф был весьма учтив с старичком кавалеристом и благодарил за посещение.

— Уж извините, что не роскошно, граф (он чуть было не сказал: ваше сиятельство, — так уж отвык он от обращения с важными людьми), домик сестрицы маленький. А вот это сейчас завесим чем-нибудь, и будет хорошо, — прибавил старичок и, под предлогом занавески, но главное, чтоб рассказать поскорее про офицеров, шаркая, вышел из комнаты.

Хорошенькая Устюша с барыниной палью пришла завесить окно. Кроме того, барыня приказала ей спросить, не угодно ли господам чаю.

Хорошее помещение, по-видимому, благоприятно подействовало на расположение духа графа: он, весело улыбаясь, пошутил с Устюшей, так что Устюша назвала его даже шалуном, расприся ей, хороша ли их барышня, и на вопрос ее, не угодно ли чаю, отвечал, что чаю, пожалуйста, пусть принесут, а главное, что свой ужин еще не готов, так нельзя ли теперь водки, закусьить чего-нибудь и хересу, ежели есть.

Девушка была в восторге от утливости молодого графа и перевозносил до небес молодое поколение офицеров, говоря, что нынешние люди не в пример авантюристичнее прежних.

Анна Федоровна не соглашалась — лучше графа Федора Иваныча никто не был, — и наконец, уже серьезно рассердилась, сухо замечала только, что «для вас, братец, кто последний вас обласкал, тот и лучше. Известно, теперь, конечно, люди умнее стали, а что все-таки граф Федор Иваныч так танцевал экосес и так любезен был, что тогда все, можно сказать, без ума от него были; только он ни с кем, кроме меня, не занимался. Стало быть, и в старину были хорошие люди».

В это время пришло известие о требовании водки, инкуски и хереса.

— Ну вот, как же вы, братец! Вы всегда не то следите. Надо было заказать ужинать, — заговорила Анна Федоровна. — Лиза! распорядись, дружок!

Лиза побежала в кладовую за грибами и свежим сливочным маслом, повару заказали битки.

— Только хересу у вас осталась, братец?

— Нету, сестрица! у меня и не было.

— Как же нету! а вы что-то пьете такое с чаем?

— Это ром, Анна Федоровна.

— Разве не все равно? Вы дайте этого, все равно — ром. Да уж не попросить ли их лучше сюда, братьев? Вы все знаете. Они, кажется, не обидятся?

Кавалерист облыбил, что он ручается за то, что граф по доброте своей не откажется и что он приведет их непременно. Анна Федоровна пошла надеть для чего-то платье гро-гро и новый чепец; а Лиза так была занята, что и не успела снять розового холстинкового платья с широкими рукавами, которое было на ней. Притом она была ужасно взволнована: ей казалось, что ждет ее что-то поразительное, точно низкая черная туча нависла над ее душой. Этот граф-гусар, красавец, казался ей каким-то совершенно новым для нее, непонятным, но прекрасным существом. Его нрав, его привычки, его речи — все должно было быть такое необыкновенное, какого она никогда не встречала. Все, что он думает и говорит, должно быть умно и правда; все, что он делает, должно быть честно; вся его наружность должна быть прекрасна. Она не сомневалась в этом. Ежели бы он не только потребовал закуски и хересу, но ванну из шалфея с духами, она бы не удивилась, не обвиняла бы его и была бы твердо уверена, что это так нужно и должно.

Граф тотчас же согласился, когда кавалерист выразил ему желание сестрицы, присел на колени, надел шинель и взял сигарочницу.

— Пойдем же, — сказал он Полозову.

— Право, лучше не ходить, — отвечал корнет, — ils regardent des frais pour nous mesmeoir¹.

— Вадор! это их осчастливит. Да я уж и навед справки: там дочка хорошенькая есть... Пойдем, — сказал граф по-французски.

— Le vous en prie, messieurs!² — сказал кавалерист только для того, чтобы дать почувствовать, что и он знает по-французски и понял то, что сказали офицеры.

XII

Лиза покраснела и, потупясь, будто бы занялась доливанием чайника, боясь взглянуть на офицеров, когда они вошли в комнату. Анна Федоровна, напротив, то-

ронтливо вскочила, поклонилась, и, не отрывая глаз от лица графа, начала говорить ему, то находя необыкновенное сходство с отцом, то рекомендуя свою дочь, то предлагая чаю, варенья или пастилы деревенской. На корнета, по его скромному виду, никто не обращал внимания, чему он был очень рад, потому что, сколько возможно было прилично, всматривался и до подробностей разбирал красоту Лизы, которая, как видно, нежданно поразила его. Дядя, слушая разговор сестры с графом, с готовой речью на устах выжидал случая порассказать своим кавалерийским воспоминаниям. Граф за чаем, закуряв свою крепкую сигару, от которой с трудом сдерживала кипель Лиза, был очень разговорчив, любезен, сначала, и промежутки непрерывных речей Анны Федоровны, ставшая свои рассказы, а под конец один овладев разговором. Одно немного странно поражадо его слушателей: в рассказах своих он часто говорил слова, которые, не считаясь предоступительными в его обществе, здесь были несколько смелы, причем Анна Федоровна путалась немало, а Лиза до ушей краснела; но граф не замечал этого и был все так же спокойно прост и любезен. Лиза молча наливала стаканы, не подавая в руки гостям, ставила их поближе к ним и, еще не оправясь от волнения, жадно вслушивалась в речи графа. Его незамысловатые рассказы, запинки в разговоре понемногу успокаивали ее. Она не слышала от него предполагаемых ею очень умных вещей, не видела той изысканности во всем, которую она ему так ожидала найти в нем. Даже при третьем стакане чаю, после того как робкие глаза ее встретились раз с его глазами и он не опустил их, а как-то слишком спокойно продолжал, чуть-чуть улыбаясь, глядеть на нее, она почувствовала себя даже несколько враждебно расположенной к нему и скоро нашла, что не только ничего не было в нем особенного, но он насколько не отличался от всех тех, кого она видела, что не стоило бояться его, — только ногти чистые, длинные, а даже и красоты особенной нет в нем. Лиза вдруг, не без некоторой внутренней тоски встретившись с своей мечтой, успокоилась, и только взгляд молчаливого корнета, который она чувствовала устремленным на себя, беспокоил ее. «Может быть, это не он, а он!» — думала она.

¹ они нарискохлудуются для того, чтобы принять нас (фр.).
² Прошу вас, господа! (фр.)

После чаю старушка пригласила гостей в другую комнату и снова уехала на свое место.

— Да вы отдохнуть не хотите ли, граф? — спрашивала она. — Так чем бы вас занять, дорогие гости? — продолжала она после отрицательного ответа. — Вы играете в карты, граф? Вот бы вы, братец, заняли, партию бы составили во что-нибудь...

— Да ведь вы сами играете в преферанс, — отвечал кавалерист, — так уж вместе давайте. Будете, граф? И вы будете?

Офицеры изъяснили согласие делать все то, что угодно будет любезным хозяевам.

Лиза принесла из своей комнаты свои старые карты, в которые она гадала о том, скоро ли пройдет филес у Анны Федоровны, вернется ли нынче дядя из города, когда он уезжал, придет ли сегодня соседка и т. д. Карты эти, хотя служили уже месяца два, были почище тех, в которые гадала Анна Федоровна.

— Только вы не станете по маленькой играть, может быть? — спросил дядя. — Мы играем с Анной Федоровной по полкопейки... И то она нас всех обыгрывает.

— Ах, по чем прикажете, я очень рад, — отвечал граф. — Ну, так по копейке ассигнациями! уж для дорогих гостей идет: пускай они меня обыграют, старуху, — сказала Анна Федоровна, широко усаживаясь в своем кресле и расправляя свою мантилью.

«А может, и выиграю у них целковый», — подумала Анна Федоровна, получившая под старость маленькую страсть к картам.

— Хотите, я вас выучу с табельной играть, — сказал граф, — и с мизерами! Это очень весело.

Всем очень понравилась новая петербургская манера. Дядя уверял даже, что он ее знал, и это то же, что в бостон было, но забыл только немного. Анна же Федоровна ничего не поняла и так долго не понимала, что нашлась вынужденной, улыбаться и одобрительно кивая головой, утверждать, что теперь она поймет и все для нее ясно. Негадо было смею в середине игры, когда Анна Федоровна с тузом и королем бланк говорила мизер и оставалась с шестью. Она даже начинала теряться, робко улыбаться и торопливо уверять, что не совсем еще при-

выкла по-новому. Однако на нее записывали, и много, тем более, что граф, по привычке играть большую коммерческую игру, играл сдержанно, подводил очень хорошо и никак не понимал толчков под столом ногой короля и грубых его ошибок в вистованье.

Лиза принесла еще пастилы, трех сортов варенья и сохранившиеся особото моченья апортовые яблоки и остановилась за спиной матери, выглядываясь в игру и изредка поглядывая на офицеров и в особенности на белые с тонкими розовыми отделанными ногтями руки графа, которые так опытно, уверенно и красиво бросали карты и брали взытки.

Опять Анна Федоровна, с некоторым азартом перебывая у других, докупившись до семи, обремизилась без трех и, по требованию брата уродливо изобразив какую-то цифру, совершенно растерялась и затропнилась.

— Ничего, мамаша, еще отыграетесь!... — улыбаясь сказала Лиза, желая вывести мать из смешного положения. — Вы дяденьку обремизите раз: тогда он по-падется.

— Хоть бы ты мне помогла, Лизочка! — сказала Анна Федоровна, испуганно глядя на дочь. — Я не знаю, как это...

— Да и я не знаю по этому играть, — отвечала Лиза, мысленно считая режизы матери. — А вы так много проигрываете, мамаша! и Пимочке на платые не останется, — прибавила она шутя.

— Да, так легко можно рублей десять серебром проиграть, — сказал корнет, глядя на Лизу и желая вступать с ней в разговор.

— Разве мы не ассигнациями играем? — оглядываясь на всех, спросила Анна Федоровна.

— Я не знаю как, только я не умею считать ассигнациями, — сказал граф. — Как это? то есть что это ассигнации?

— Да теперь уж никто ассигнациями не считает, — подхватил дядюшка, который играл кремешком и был в вынужденной.

Старушка велела подать пинючки, выпила сама два бокала, раскраснелась и, казалося, на все махнула рукой. Даже одна прядь седых волос выбилась у ней из-под чепца, и она не поправляла ее. Ей, верно, казалось, что она проиграла миллионы и что она совсем пропала.

Корнет все чаще и чаще толкал ногой графа. Граф сплывал ремизы старушки. Наконец партия кончилась. Как ни старалась Анна Федоровна, кривая душою, прибавлять свои записи и притворяться, что она ошибается в счете и не может считать, как ни приходила в ужас от величины проигрыша, в конце расчета оказалось, что она проиграла девятьсот двадцать призов. «Это ассигнациями выходит девять рублей?» — несколько раз спрашивала Анна Федоровна, и до тех пор не поняла всей громадности своего проигрыша, пока братец, к ужасу ее, не объяснил, что она проиграла тридцать два рубля с полтиной ассигнациями и что их нужно заплатить непременно. Граф даже не считал своего выигрыша, а тотчас по окончании игры встал и подошел к окну, у которого Лиза устанавливая закуску и выглаживала на тарелку грибки из банки к ужинку, и совершенно спокойно и просто сделал то, чего весь вечер так желал и не мог сделать корнет, — вступил с ней в разговор о погоде.

Корнет же в это время находился в весьма неприятном положении. Анна Федоровна с уходом графа и особенно Лизы, поддерживавшей ее в веселом расположении духа, откровенно рассердилась.

— Однако как досадно, что мы вас так обыграли, — сказал Полозов, чтоб сказать что-нибудь. — Это просто бесовство.

— Да еще бы, выдумали какие-то табели да мизеры! Я в них не умею; как же ассигнациями-то, сколько же выходит всего? — спрашивала она.

— Тридцать два рубля, тридцать два с полтинкой, — твердил кавалерист, находясь под влиянием выигрыша в игровом расположении духа, — давайте-ка денежки, сестрица... давайте-ка.

— И дам вам все; только уж больше не поймаете, нет! Это я и в жизни не отыгралась.

И Анна Федоровна ушла к себе, быстро расквашиваясь, вернувшись назад и принеся девять рублей ассигнациями. Только по настоятельному требованию старичка она заплатила все.

На Полозова нашел некоторый страх, чтобы Анна Федоровна не выбранила его, ежели он заговорит с ней. Он молча, потихоньку отошел от нее и присоединился к графу и Лизе, которые разговаривали у открытого окна. В комнате на накрытом для ужина столе стояли две

саленные свечи. Свет их изредка колыхался от свежего, теплого дуновения майской ночи. В окне, открытым в сад, было тоже светло, но совершенно иначе, чем в комнате. Почти полный месяц, уже терпя золотистый отблеск, всплывал над верхушками высоких лип и больше освещал белые тонкие тушки, изредка застилавшие его. На пруде, которого поверхность, в одном месте поперекрещенная месцем, виднелась сквозь алдеи, заливались лягушки. В сиреневом душистом кусте под самым окном, изредка медленно качавшем влажными цветами, чуть-чуть перепрыгивали и встряхивались какие-то птички.

— Какая чудная погода! — сказал граф, подходя к Лизе и садясь на низкое окно, — вы, я думаю, много гуляете?

— Да, — отвечала Лиза, не чувствуя почему-то уже ни малейшего смущения в беседе с графом, — я по утрам, часов в семь, по хозяйству хожу, так и гуляю немножко с Пимочкой — маленькой воспитанницей.

— Приятно в деревне жить! — сказал граф, вставив в глаз стеклышко, глядя то на сад, то на Лизу. — А по ночам, при лунном свете, вы не ходите гулять?

— Нет. А вот в третьем году мы с дяденькой каждую ночь гуляли, когда луна была. На него странная какая-то болельня — бессонница находила. Как полная луна, так он заснуть не мог. Комнатка же его, вот эта, прямо на сад, и окошко низенькое: луна прямо к нему ударяла.

— Странно, — заметил граф, — да ведь это ваша комнатка, кажется?

— Нет, я только нынче тут ночую. Мою комнатку вы занимаете.

— Неужели?.. Ах, боже мой!.. Век себе не прошу этого беспокойства, — сказал граф, в знак искренности чувства выбрасывая стеклышко из глаза. — Ежели бы я знал, что я вас потревожу...

— Что за беспокойство! Напротив, я очень рада: дяденькина комнатка такая чудесная, веселенькая, окошечко низенькое; я буду там себе сидеть, пока не засну, или в сад перебежу, погуляю еще на ночь.

«Экая славная девочка! — подумал граф, снова вставив стеклышко, глядя на нее и, как будто усаживаясь на окне, стараясь ногой тронуть ее ножку. — И как она хитро дала мне почувствовать, что я могу увидеть ее в

саду, у окна, коли захочу». Лиза даже потеряла в это глазах большую часть прелести: так легка оказалась беда над нею.

— А какое, должно быть, наслаждение, — сказал он, задумчиво вглядываясь в темные аллеи, — провести такую ночь в саду с существом, которое любишь.

Лиза смутилась несколько этими словами и повторенным, как будто нечаянным, прикосновением ноги. Она, прежде чем подумала, сказала что-то для того только, чтобы смущение ее не было заметно. Она сказала: «Да, славно в лунные ночи гулять». Ей становилось что-то неприятно. Она увязала банку, из которой выкладывала грибы, и собиралась уйти от окна, когда к ним подошел корнет, и ей захотелось узнать, что это за человек такой.

— Какая прелестная ночь! — сказал он.

«Однако только про погоду и разговаривают», — подумала Лиза.

— Какой вид чудесный! — продолжал корнет, — только вам, я думаю, уж надоело, — прибавил он, по странной, свойственной ему склонности говорить вещи не много неприятные людям, которые ему очень нравились.

— Отчего ж вы так думаете? кушанье одно и то же, платье — надоеет, а сад хороший не надоеет, когда любишь гулять, особенно когда месяц еще повыше поднимется. Из дяденькиной комнаты весь пруд виден. Вот и нынче буду смотреть.

— А соловьев у вас нет, кажется? — спросил граф, весьма недовольный тем, что пришел Полозов и помешал ему узнать положительнее условия свиданья.

— Нет, у нас всегда были; только в прошлом году охотники одного поймали, и нынче на прошлой неделе славно зашел было, да стеновой приехал с колокольчиком и спугнул. Мы, бывало, в третью году, сидем с дяденькой в крытой аллее и часа два слушаем.

— Что это болтушка вам рассказывает? — сказал дядя, подходя к разговаривающим, — закусьте не уютно ли?

После ужина, во время которого граф похваливанием кушаний и аппетитом успел как-то рассеять несколько дурное расположение духа хозяйки, офицеры расположились и пошли в свою комнату. Граф пожал руку дяде,

и увлечению Анны Федоровны, и ее руке, не целуя, пожал только, пожал даже и руку Лизы, причем взглянул ей прямо в глаза и слегка улыbnулся своею приятною улыбкой. Этот взгляд снова смутил девушку.

«А очень хороши, — подумала она, — только уж слишком занимается собой».

XIV

— Ну как тебе не стыдно? — сказал Полозов, когда офицеры вернулись в свою комнату. — Я старался нарочно проиграть, толкал тебя под стол. Ну как тебе не стыдно? Ведь старушка совсем огорчилась.

Граф ужасно расхохотался.

— Уморительная господа! как она обиделась!

И он опять принялся хохотать так весело, что даже Иоган, стоявший перед ним, потупился и слегка улыbnулся в сторону.

— Вот-те и сын друга семейства!.. ха, ха, ха! — продолжал смеяться граф.

— Нет, право, это нехорошо. Мне ее жалко даже стало, — сказал корнет.

— Вот вздор! Как ты еще молод! Что ж, ты хотел, чтоб я проиграл? Зачем же я бы проиграл? И я проиграл, когда не умел. Десять рублей, братец, припадают. Надо смотреть практически на жизнь, а то всегда в дураках будешь.

Полозов замолчал; притом ему захотелось одному думать о Лизе, которая казалась ему необыкновенно чистым, прекрасным созданием. Он разделился и лег в мягкую и чистую постель, приготовленную для него.

«Что за вздор эти почести и слава военная! — думал он, глядя на завешенное шалью окно, сквозь которое прокрадывались бледные лучи месяца. — Вот счастье — жить в тихом уголке, с милдой, умной, простой женой! Вот это прочное, истинное счастье!»

Но почему-то он не сообщал этих мечтаний своему другу и даже не упоминал о деревенской девушке, не смотрел на то, что был уверен, что и граф о ней думал.

— Что ж ты не раздвнешься? — спросил он графа, который ходил по комнате.

— Не хочется спать что-то. Туши свечу, коли хочешь; и так лягу.

И он продолжал ходить взад и вперед.

— Не хочется еще спать что-то, — повторил Подозов, чувствуя себя после нынешнего вечера больше чем когда-нибудь невольным влиянием графа и расположенным возобновляться против него. «Я воображаю, — рассуждал он, мысленно обращаясь к Турбину, — какие в твоей причсанной голове тепер мысли ходят! я видел, как тебе она понавивлась. Но ты не в состоянии понять это простое, честное существо; тебе Мину надобно, полковничьи эполеты. Право, спрошу его, как она ему понавивлась».

И Подозов было обернулся к нему, но раздумал: он чувствовал, что не только не в состоянии будет спорить с ним, если взгляд графа на Лизу тот, который он предполагал, но что даже не в силах будет согласиться с ним. — так уж он привык подчиниться влиянию, которое становилось для него с каждым днем тяжелее и несправедливее.

— Куда ты? — спросил он, когда граф надел фуражку и подошел к Двери.

— Пойду на конюшню, посмотрю: все ли в порядке.

«Странно!» — подумал корнет, но потушил свечу и, стараясь разогнать негено-ревнивые и враждебные к прежнему своему другу мысли, дежние ему в голову, перевернулся на другой бок.

Анна Федоровна этим временем, перекрестив и расцеловав, по обыкновению, нежно брата, дочь и воспитанницу, тоже удалилась в свою комнату. Давно уж в один день не испытывала стеснения столько сильных впечатлений, так что и молиться не могла спокойно: все грустно-живое воспоминание о покойном графе и о молодом франтике, который так безбоянно обыграл ее, не выходило у нее из головы.

Однако же, по обыкновению, раздвинувшись, вынив полстакана квасу, приготовленного у постели на столике, она легла в постель. Любимая ее кошка тихо вылезла в комнату. Анна Федоровна подожидала ее и стала гладить, вслушиваясь в ее мурлыканье, и все не засынала.

«Это кошка мешает», — подумала она и прогнала ее. Кошка мягко упала на пол, медленно поворачивая пушистым хвостом, вскопчила на лежанку; но тут девка, спавшая на полу в комнате, принесла стлать свой войлок, тушить свечку и закипать лампаду. Наконец и

девка захрипела; но сон все еще не приходил к Анне Федоровне и не успокоивал ее расстроенного воображения. Лицо гусара так и представлялось ей, когда она открывала глаза, и, казалось, являлось в различных странных видах в комнате, когда она с открытыми глазами при слабом свете лампадки смотрела на комод, на столик, на висевшее белое платье. То ей казалось жарко и перине, то несомно были часы на столике и невыносимо носом храпела девка. Она разбудила ее и велела перестать храпеть. Опять мысли о дочери, о старом и молодом графе, преферансе странно перемешивались в ее голове. То она видела себя в вальсе с старым графом, видела свои полные белые плечи, чувствовала на них чьи-то поцелуи и потом видела свою дочь в объятиях молодого графа. Опять храпеть начала Устюшка...

«Нет, что-то не то теперь, люди не те. Тот в огонь за меня готов был. Да и было за что. А этот, небось, спит себе дурак дураком, рад, что выиграл; нет того, чтоб понолочиться. Как тот, бывало, говорит на коленях: «Что ты хочешь, чтоб я сделал: убил бы себя сейчас, и что хочешь?» — и убил бы, коли б я сказала».

Вдруг чьи-то босые шаги раздались по коридору, и Лиза в одном накинутом платке, вся бледная и дрожащая, вбежала в комнату и почти упала к матери на постель...

Простясь с матерью, Лиза одна пошла в бывшую Лизину комнату. Надев белую кофточку и спрятав в платок свою густую длинную косу, она потушила свечу, подняла окно и с ногами села на стул, устремив задумчивые глаза на пруд, теперь уж весь блестящий серебряным сиянием.

Все ее привычные занятия и интересы вдруг явились перед нею совершенно в новом свете: старая капризная мать, несудящая любовь к которой сделалась частью ее души, дряхлый, но любезный дядя, дворяне, мужики, обожжающие барышню, дойные коровы и телки; вся эта, все та же столько раз умирившая и обновляющаяся природа, среди которой с любовью к другим и от других она выросла, все, что далаго ей такой легкой приятный душевный отдых, — все это вдруг показалось не то, все это показалось *случию, ненужно*. Как будто кто-нибудь сказал ей: «Дурочка, дурочка! двадцать лет делала вздор, служила кому-то, зачем-то и не знала, что такое жизнь и

счастья!» Она это думала теперь, вглядываясь в глубины светлого, неподвижного сада, сильнее, гораздо сильнее, чем прежде ей случалось это думать. И что навею ее на эти мысли? Нисколько не внезапная любовь к графу, как бы это можно было предположить. Напротив, он ей не нравился. Корнет мог бы скорее занимать ее; но он дурен, бедный, и молчалив как-то. Она невольно забывала его и с злобой и с досадой вызывала в воображении образ графа. «Нет, не то», — говорила она сама себе. Идеал ее был так прелестен! Это был идеал, который среди этой ночи, этой природы, не нарушая ее красоты, мог бы быть любимым, — идеал, ни разу не обретенный для того, чтобы слить его с какою-нибудь грубою действительностью.

Сначала удивление и отсутствие людей, которые бы могли обратить ее внимание, сделали то, что вся сила любви, которую в душу каждого из нас одинаково вложило providение, была еще цела и невозмутима в ее сердце; теперь же уже слишком долго она жила грустным счастьем чувствовать в себе присутствие этого чего-то и, изредка открывая таинственный сердечный сосуд, наслаждаться созерцанием его богатств, чтобы необходимо излить на кого-нибудь все то, что там было. Дай бог, чтоб она до гроба наслаждалась этим скучным счастьем. Кто знает, не лучше ли и не сильнее ли оно? и не одно ли оно истинно возможно?

«Господи боже мой! — думала она, — неужели я даром потеряла счастье и молодость, и уж не будет... никогда не будет? неужели это правда?» — И она вглядывалась в высокое, светлое около месяца небо, открытое белыми волнистыми тучами, которые, застывав звезды, поодвигались к месяцу. «Если захватит месяц это верхнее белое облачко, значит правда», — подумала она. Туманная дымчатая полоса пробежала по нижней половине светлого круга, и понемногу свет стал слабеть на траве, на верхушках лип, на пруде; черные тени деревьев стали менее заметны. И, как будто вторя мрачной тени, осеннейшей природу, легкий ветерок пронесся по листьям и донес до окна росистый запах листьев, влажной земли и цветущей сирени.

«Нет, это неправда, — утешала она себя, — а вот если соловей запоет пынче ночью, то, значит, вздор все, что я думаю, и не надо отчаиваться», — подумала она. И долго

еще сидела молча, дожидаясь кого-то, несмотря на то, что снова все осветилось и ожгло и снова несколько раз набегали на месяц тучки и все померкло. Она уже засидела так, сядя у окна, когда соловей разбудил ее часотой трелью, раздававшейся звонко низом по пруду. Деревенская барышня открыла глаза. Опять с новым наслаждением вся душа ее обновилась этим таинственным соединением с природой, которая так спокойно и светло раскинулась перед ней. Она облокотилась на обе руки. Какое-то томительное сладкое чувство грусти сливалось ей в грудь, и слезы чистой широкой любви, жгущейшей удовольствием, хорошие, утешительные слезы налились в глаза ее. Она сложила руки на подоконник и на них положила голову. Любимая ее молitava как-то сама пришла ей в душу, и она так и задремала с закрытыми глазами.

Прикосновение чьей-то руки разбудило ее. Она проснулась. Но прикосновение это было легко и приятно. Рука сжимала крепче ее руку. Вдруг она вспомнила действительность, вскрикнула, вскочила и, сама себя уверяя, что не узнала графа, который стоял под окном, несъ облитый лунным светом, выбежала из комнаты...

XV

Действительно, это был граф. Услышав крик девушки и крихтенье сторожа за забором, отозвавшегося на этот крик, он опростелся, с чувством пойманного вора, бросился бежать по мокрой, росистой траве в глубину сада. «Ах, и дурак! — твердил он бессознательно. — Я ее испугал. Надо было тише, словами разбудить. Ах, я скотина невольная!» Он остановился и прислушался: сторож через калитку прошел в сад, взошла палка по песчаной дорожке. Надо было спрятаться. Он спустился к пруду. Девушки торопливо, заставляли его вздрагивать, побулыкали на-под его ног в воду. Здесь, несмотря на промоченные ноги, он сел на корточки и стал припоминать все, что он делал: как он перелез через забор, искал ее окно и наконец увидал Белую тень; как несколько раз, пригнувшись к малейшему шороху, он подходил и отходил от окна; как то ему казалось несомненно, что она в Досадой на его медлительность окликает его, то казалось,

что это невозможно, чтобы она так легко решилась на свидание; как, наконец, предполагая, что она только от конфузливости уездной барышни притворяется, что спит, он решительно подошел и увидал ясно ее положение, но тут вдруг почему-то убежал опростеть назад и, только сильно устыдив трусостью самого себя, подошел к ней смеясь и тронул ее за руку. Сторож снова крикнул и, скриннув калиткой, вышел из сада. Окно барышнинной комнаты захопнулось и заставилось ставешком изнутри. Графу это было ужасно досадно видеть. Он бы дорого дал, чтобы только можно было начать опять все сначала: уж теперь бы он не поступил так глупо... «А чудесная барышня! свеженькая такая! просто прелесть! и так прозевал. Глупая скотина я!» Притом спать уже ему не хотелось, и он решительными шагами раздосадованного человека пошел наудачу вперед по дорожке крытой липовой аллеей.

И тут и для него эта ночь принесила свои мировые дары какой-то успокоительной грусти и потребности любви. Гиннистая, кой-где с пробивающейся травкой или сухой веткой, дорожка освещалась кружками, сквозь густую листву лип, прямыми бледными лучами месяца. Какой-нибудь загнутый сук, как обросший белым мохом, освещался сбоку. Листья, серебришь, шептались изредка. В доме потухли огни, замолкли все звуки; только соловей напоял собой, казалась, все необходимое молчаливое и светлое пространство. «Боже, какая ночь! какая чудная ночь! — думал граф, выехав в себя пахучую свежесть сада. — Чего-то жалко. Как будто недоволен и собой, и другими, и всей жизнью недоволен. А слышала, милая девочка. Может быть, она точно оторчилась...» Тут мечты его перемешались, он воображал себя в этом саду вместе с уездной барышней в различных, самых странных положениях; потом роль барышни заняла его любезная Мина. «Экой я дурак! Надо было просто ее схватить за талию и поцеловать». И с этим рассказившем граф вернулся в комнату.

Корнет не спал еще. Он тотчас повернулся на постели лицом к графу.

— Ты не спишь? — спросил граф.

— Нет.

— Расскажешь тебе, что было?

— Ну?

— Нет, лучше не рассказывать... или расскажу. Подожми ноги.

И граф, махнув уже мысленно рукой на прозевавшую им интрижку, с оживленною улыбкой пошел на постель товарища.

— Можешь себе представить, что ведь эта барышня мне назначила rendez-vous!

— Что ты говоришь? — вскрикнул Полозов, вскакивая с постели.

— Ну, слушай.

— Да как же? Когда же? Не может быть!

— А вот пока вы считали преферанс, она мне сказала, что будет ночью сидеть у окна и что в окно можно влезть. Вот что значит практический человек! Покуда вы там с старухой считали, я это дельце обделал. Да ведь ты слышал, она при тебе даже сказала, что она будет сидеть нынче у окна, на пруду смотреть.

— Да это она так сказала.

— Вот то-то я и не знаю, нечаянно или нет она это сказала. Может быть, и точно она еще не хотела сразу, только было похоже на то. Вышла-то странная штука. И дураком совсем поступил! — прибавил он, презрительно улыбаясь на себя.

— Да что же? Где ты был?

Граф, исключая своих нерешительных недопонятных подступов, рассказал все, как было.

— Я сам все испортил: надо было смегее. Закричала и убежала от окошка.

— Так она закричала и убежала, — сказал корнет с ислыковкой улыбкой, отвечая на улыбку графа, пмешую на него такое долгое и сильное влияние.

— Да. Ну, теперь спать пора.

Корнет повернулся опять спиной к Двери и молча поделкал минут десять. Бог знает, что делалось у него в душе; но когда он повернулся снова, лицо его выражало страдание и решительность.

— Граф Турбин! — сказал он прерывистым голосом.

— Что ты, бреднишь или нет? — спокойно отозвался граф.

— Граф Турбин! вы подлец! — крикнул Полозов и искочил с постели.

¹ *смидушней (фр.)*

На другой день эскадрон выступил. Офицеры не дали хозяев и не простились с ними. Между собой они тоже не говорили. По приходе на первую дневку предположено было драться. Но ротмистр Шульц, добрый товарищ, отличнейший ездок, любимый всеми в полку и выбранный графом в секунданта, так успел уладить это дело, что не только не дралось, но никто в полку не знал об этом обстоятельстве, и даже Турбин и Полозов хотя не в прежних дружеских отношениях, но остались на «ты» и встречались за обедами и за партиями.

11 апреля 1856 г.



ПОЛИКУШКА

I

Как позволите приказать, сударыня! Только дутловых жалко. Все один к одному, ребята хорошие; а коли хоть одного дворового не поставитъ, не миновать ихнему игти,—говорил приказчик,—и то теперь все на них указывают. Впрочем, воля ваша.

И он переложил правую руку на левую, держа обе перед животом, перетнул голову на другую сторону, втя-

нул в себя, чуть не чмокнув, тонкие губы, покатила глаза и замолчал с видимым намерением молчать долго и слушать без возражений весь тот вздор, который долгием была сказать ему на это барыня.

Это был приказчик из дворовых, бритый, в длинном сюртуке (особого приказчицкого покрова), который вечером, осенью, стоял с докладом перед своею барыней. Доклад, по понятиям барыни, состоял в том, чтобы выслушивать отчеты о прошедших хозяйственных делах и дебатах распоряжения о будущих. По понятиям приказчика, Егора Михайловича, доклад был обряд ровного стояния на обеих вывернутых ногах, в углу, с лицом, обращенным к дивану, выслушивания всякой не идущей к делу болтовни и доведения барыни различными средствами до того, чтоб она скоро и нетерпеливо заговорила: «Хорошо, хорошо», — на все предложения Егора Михайловича.

Теперь дело шло о наборе. С Покровского надо было поставить троих. Двое были, несомненно, назначены самою судьбой, по совпадению семейных, нравственных и экономических условий. Относительно их не могло быть колебания и спора ни со стороны мира, ни со стороны барыни, ни со стороны общественного мнения. Третий был спорный. Приказчик хотел отстоять тройника Дутова и поставить семейного дворового Поликушку, имевшего весьма дурную репутацию, неоднократно понадевшегося в краже мешков, вожжей и сена; барыня же, часто ласкавшая оборванных детей Поликушки и посредством евангельских вышущений исправлявшая его нравственность, не хотела отдавать его. Вместе с тем, она не хотела за и Дутовым, которых она не знала и никогда не видела. Но почему-то она никак не могла сообразить, а приказчик не решился прямо объяснить ей того, что ежели не пойдет Поликушка, то пойдет Дутов. «Да я не хочу несчастья Дутовых», — говорила она с чувством. «Ежели не хотите, то заплатите триста рублей за рекрута», — вот что надо было бы отвечать ей на это. Но политика не допускала этого.

Итак, Егор Михайлович уставлялся покойно, даже прислонился незаметно к притоку, но храня на лице неподобстрасшие, и стал смотреть, как у барыни шевелились губы, как подпрыгивал рюш на ее чепчике вместе с своею тенью на стене под картинкой. Но он вовсе не находил нужным вникать в смысл ее речей. Барыня го-

ворила долго и много. У него сделалась зевотная судорога за ушами; но он ловко изменил это содрогание в кашель, закрывшись рукою и притворно крича: Я не слышу, в то время, как член оппозиции громил министра, и, вдруг встав, трехчасовую речь отвечал на потому что нечто подобное я тысячу раз видел между Егором Михайловичем и его барыней. Вовли ли он заигрывать, или показало ему, что она уж очень увлекается, и начал сабраментальным вступлением, как всегда начинал:

— Воля ваша сударыня, только... только сходка теперь стоит у меня перед конторой, и надо конец сделать. В приказе сказано до Покрова нужно свезти рекрут в город. А из крестьян на Дутовых показывают, да и не на кого больше. А мир интересу вашего не соблюдает; ему все равно, что мы Дутовых разорим. Ведь я знаю, как они жили. Только-только дождался старик меньшего племянника, теперь их опять разорить надо. А я, вы изволите знать, о вашей собственности, как о своей, забочусь. Жалко, сударыня, как вам будет угодно! Они мне ни сват, ни брат, и я с них ничего не взял...

— Да я и не думала, Егор, — прервала барыня и тотчас же подумала, что он подкуплен Дутовыми.

— ...А только по всему Покровскому лучший двор. Рогообразные, трудолюбивые мужики. Старик тридцать лет старостой церковным, ни вина не пьет, ни словом дурным не бранится, в церковь ходит. (Знал приказчик, чем подкупить.) И главное дело, доложу вам, у него сыновей только двое, а то племянники. Мир указывает, а по-настоящему ему бы надо двойниковый жребий отдать. Другие и от трех сыновей поделились, по своей необходимости, а теперь и правы, а эти за свою добродетель должны пострадать.

Тут уже барыня ничего не понимала, — не понимала, что значили тут «двойниковый жребий» и «доброе дело»; она слышала только звуки и наблюдала нанковые пуговицы на сюртуке приказчика: верхнюю он, верно, реке застегивал, так она и плотно сидела, а средняя совсем отступилась и висела, так что давно бы ее пришить

надо было. Но, как всем известно, для разговора, особенно делового, совсем не нужно понимать того, что вам говорят, а нужно только помнить, что сам хочешь сказать. Так и поступила барыня.

— Как ты не хочешь понять, Егор Михайлов, — сказала она, — я вовсе не желаю, чтобы Дутлов пошел в солдаты. Кажется, сколько ты меня знаешь, ты можешь судить, что я все делаю, что могу, для того чтобы помочь своим крестьянам, и не хочу их несчастия. Ты знаешь, что я всем готова бы пожертвовать, чтоб избавиться от этой грустной необходимости и не отдавать ни Дутлова, ни Хорюшкина. (Не знаю, пришло ли в голову приказачику, что, для того чтоб избавиться от этой грустной необходимости, не нужно жертвовать *едем*, а довольно трехсот рублей; но эта мысль легко могла прийти ему.) Однако только скажу тебе, что Поликея я ни за что не отдам. Когда, после этого деда с часами, он сам признался мне и плакал и клялся, что он исправится, я долго говорила с ним и видела, что он тронут и искренно раскаялся. («Ну, понесла!» — подумал Егор Михайлович и стал рассматривать варенье, которое у нее было положено в стакан воды: анелисинное или лимонное? «Должно быть, с горечью», — подумал он.) С тех пор вот семь месяцев, а он ни разу пьян не был и ведет себя прекрасно. Мне его жена говорила, что он другой человек стал. И как же ты хочешь, чтобы я теперь наказала его, когда он исправился? Да и разве это не бесчеловечно отказать человека, у которого пить человек детей и он один? Нет, ты мне лучше не говори про это, Егор...

И барыня зашла из стакана.

Егор Михайлович проследил за прохождением воды через горло и затем возразил коротко и сухо:

— Так Дутлова назначить прикажете?

Барыня всплеснула руками.

— Как ты не можешь меня понять? Разве я желаю несчастия Дутлова, разве я имею что-нибудь против него? Бог мне свидетель, как я все готова сделать для них. (Она взглянула на картину в углу, но вспомнила, что это не бог: «Ну да все равно, не в том дело», — подумала она. Опять странно, что она не напала на мысль о трехстах рублях.) Но что же мне делать? Разве я знаю, как и что? Я не могу этого знать. Ну, я на тебя полагаюсь, ты знаешь, чего я хочу. Делай так, чтобы все были

довольны, по закону. Что ж делать? Не им одним. Всем бываю тяжелые минуты. Только Поликея нельзя отдать. Ты пойми, что это было бы ужасно с моей стороны.

Она бы еще долее говорила, — она так олушевилась; но в это время в комнату вошла горничная девушка.

— Что ты, Дуныша?

— Мужик пришел, велел спросить у Егора Михайлыча, прикажут ли дожидаться схода? — сказала Дуныша и сердито взглянула на Егора Михайловича. («Экой этот приказчик, — подумала она, — растревожил барыню; те-перь опять не даст заснуть до второго часа».)

— Так поди, Егор, — сказала барыня, — делай, как лучше.

— Слушаю-с. (Он уже ничего не сказал о Дутлове.)

А за деньгами к садовнику кого прикажете послать?

— Петруша разве не приезжал из города?

— Никак нет-с.

— А Николай не может ли съездить?

— Титенька от повсюдцы лежит, — сказала Дуныша.

— Не прикажете ли мне самому завтра съездить? — спросил приказчик.

— Нет, ты здесь нужен, Егор. (Барыня задумалась.)

Сколько денег?

— Четыреста шестьдесят два рубля-с.

— Поликея пошла, — сказала барыня, решительно взглянув в лицо Егора Михайлова.

Егор Михайлов, не открывая зубов, растянул губы, как будто улыбаясь, и не изменился в лице.

— Слушаю-с.

— Пошли его ко мне.

— Слушаю-с, — и Егор Михайлович пошел в контору.

II

Поликея, как человек незначительный и замаранный, да еще из другой деревни, не имел протекции ни через ключницу, ни через буфетчика, ни через приказчика или горничную, и *угол* у него был самый плохой, даром что он был сам-сём с женой и детьми. *Углы* еще покойным баринном построены были так: в десятиаршинной каменной избе, в середине, стояла русская печь, кругом был *козидор* (как звали дворяне), а в каждом углу был отгороженный досками *угол*. Места, значит, было не-

много, особенно в Полинкевом углу, крайнем к двери. Брачное ложе со стеганым одеялом и ситцевыми подушками, люлька с ребенком, столик на трех ножках, на котором стрипалось, мылось, кладось все домашнее и работал сам Полиней (он был коновал), кадлушки, платки, куры, теленок и сами семеро напояняли весь угол и не могли бы пошевеливаться, ежели бы обшая печь не представляла своей четвертой части, на которой ложились и вещи и люди, да ежели бы еще нельзя было выходить на крыльцо. Оно, пожалуй, и нельзя было: в октябре холодно, а теплого платка был один тулуп на всех семерых; но зато можно было трепаться детям бегая, а большим работая, и тем и другим — влезая на печку, где было до сорока градусов тепла. Оно, кажется, страшно жить в таких условиях, а им было ничего: жить можно было. Акулина обмывала, обшивала детей и мужа, прила и ткала и белила свои холсты, варила и пекла в общей печи, бранилась и сглетьничала с соседями. Месачины доставало не только на детей, но еще и на посылку корове. Дрова вольные были, корм скотине тоже. И сенцо из конюшни перепаладо. Была полоска огорода. Корювенка отенглась; свои куры были. Полиней при конюшне был, убирал двух жеребцов и бросал кровь лошадам и скотине; расчищал конята, насыел спускал и давал мази собственноручно изобретения, и за это ему денжонки и припасы перепалади. Господского овса тоже оставалось. На деревне был мужичок, который регулярно в месяц за две мерки выдавал двадцать фунтов баранины. Жить бы можно было, коли бы душевного горя не было. А горе было большое всему семейству. Полиней смолоду был в другой деревне при конном заводе. Конюший, к которому он попал, был первый вор по всему околотку: его на посяелье сослали. У этого конюшного Полиней первое ученье прошел и по молодости лет так к *этим пустякам* привык, что потом и рад бы отстать — не мог. Человек он молодой, стабын; отца, матери не было, и учить некому было. Полиней любил выпить, а не любил, чтобы где что плохо лежало. Гуж ли, седелка ли, замок ли, шкворень ли, или подороже что, — все у Поликея Ильича место себе находило. Везде были люди, которые вещицы эти принимали и платили за них вино или денгами, по согласию. Заработки эти самые легкие, как говорит народ: ни ученья тут, ни труда, ничего не надо, и коли

рви испытываешь, другой работы не захочется. Только одно не хорошо в этих заработках: хотя и дешево и нетрудно все достается и жить приятно бывает, да выдут от злых людей не полагаться этот промысел, и за все разом заидутся и жизни не рад будут.

Так-то и с Полинкеем случилось. Женглся Полиней, и дал ему бог сыатье: жена, скотинкова дочь, попалась быба эдоровая, умная, работящая; детей ему нарожала, один другого лучше. Поликей все своего промысла не оставил, и все шло хорошо. Барут пришла на него неудача, и он попался. И попался из пустяков: у мужика ромские вожжи припрятал. Нашли, побгил, до барыни довели и стали примечать. Другой, третий раз попался. Народ срамить стал, приказчик солдатством погрозил, барыня выговорила, жена плакать, убиваться стала; совсем все навыворот пошло. Человек он был добрый и не дуриной, только слабый, выпить любил и такую силу пую привычку взял к этому, что никак не мог отстать. Вынадо, начнет ругать его жена, даже бить, как он пьяный придет, а он плачет. «Несчастный я, говорит, человек, что мне делать? Люппи мои глаза, брошу, не стану». Гидишь, через месяц опять уйдет из дому, напьется, для дна пронадает. «Откудова-нибудь да он денгя берет, чтобы гулять», — раскуждали люди. Последнее дело его было с часами конторскими. Были в конторе старые висичие стальные часы; давно уж не шли. Пришлось ему одному войти в отпертую контору: польстился он на чашем, унес и сбыл в город. Как нарочно случись, что тот ланочник, которому он часы сбыл, приходился сватом одной дворовой и пришел на праздник в деревню и рассказал про часы. Стали добираться, точно кому-нибудь это нужно было. Особенно приказчик Поликея не любил. И нашли. Доложили барыне. Барыня призвала Поликея. Он сразу упал в ноги и с чувством, трогательно, во всем признался, как его научила жена. Он все исполнил очень хорошо. Стала его барыня урезонивать, говорила-говорила, причитала-причитала, и о боре, и о добродетели, и о будущей жизни, и о жене и детях, и довела его до слез. Барыня сказала:

— И тебе прощай, только обещаю ты мне никогда этого впредь не делать.

— Век не буду! Провалиться мне, разорваться мой утроб! — говорил Поликей и трогательно плакал.

Поликей пришел домой и дома, как теленок, ревел целый день и на печи лежал. С тех пор ни разу ничего не было замечено за Поликеем. Только жизнь его стала невеселая; народ на него как на вора смотрел, и, как пришло время набора, все стали на него указывать.

Поликей был коновал, как уже сказано. Как он вдруг следался коновалом, это никому не было известно, и еще меньше ему самому. На конном заводе, при конюшнем, сосланном на поселенье, он не исполнял никакой другой должности, кроме чистки навоза из денников, иногда чистки лошадей и возки воды. Там он не мог учиться. Потом он был ткачом; потом работал в саду, чистил дорожки; потом за наказание бил кирпич; потом, ходя по оброку, занимался в дворники к купцу. Стало быть, и тут не было ему практики. Но в последнее пребывание его дома как-то понемногу стала распространяться репутация его необычайного, даже несколько сверхъестественного коновальского искусства. Он пустил кровь раз, другой, потом повалил лошадь и поковырял ей что-то в ляжке, потом потребовал, чтобы завели лошадь в станок, и стал ей резать стругу до крови, несмотря на то, что лошадь билась и даже визжала, и сказал, что это значит «сипуцать подкопытную кровь». Потом он объяснил мужику, что необходимо бросить кровь из обеих жил, «для большей легкости», и стал бить коготушкой по туловищу ланцету; потом под брюхом дворниковой лошади перевернул покрову от женского всякие болтушки, мочить из склянки и давать иногда внутрь что валунается. И чем больше он мучил и убивал лошадей, тем больше ему верили и тем больше водили к нему лошадей.

Я чувствую, что нашему брату, господам, не совсем прилично смеяться над Поликеем. Приемы, которые он употреблял для внушения доверия, те же самые, которые действовали на наших отцов, на нас и на наших детей будут действовать. Мужик, брюхом навалившись на голову своей единственной кобылы, составляющей не только его богатство, но почти часть его семейства, и с верой и ужасом глядящий на значительно-нахмуренное лицо Поликея и его тонкие, заученные руки, которыми он нарочно жмет именно то место, которое болит, и смело режет в живое тело, с затанною мыслию: «куда кри-

пид не вынесет», и показывая вид, что он знает, где боль, где материя, где сухая, где мокрая жила, а в зубках держит негнущую тряпку или склянку с купоросом, — мужик этот не может представить себе, чтоб у Поликея поднялась рука резать не зная. Сам он не мог бы этого сделать. А как скоро разрезано, он не упрекает себя за то, что дал напрасно резать. Не знаю, как вы, а и испытывал с доктором, мучившим по моей просьбе людей, близких моему сердцу, точь-в-точь то же самое. Ланцет, и таинственная белесоватая склянка с судемой, и слова: *чильчак, поечуй, сипуцать кровь, матерю и т. п.*, разве не те же *нервы, ревматизмы, организмы* и т. п.? *Wage du zu itzen und zu träshen!* — это не столько к ногам относится, сколько к докторам и коновалам.

III

В тот самый вечер, как сходка, выбран рекрута, гудела у конторы в холодном мраке октябрьской ночи, Поликей сидел на краю кровати у стола и растянул на нем бутылкой лошадиное лекарство, которого он и сам не знал. Тут были судема, сера, глауберова соль и трава, которую Поликей собирал, вообразив себе как-то раз, что эта трава очень полезна от занда, и находя не лишним давать ее и от других болезней. Дети уже лежали: двое на печи, двое на кровати, один в люльке, у которой сидела Акулина за пражкой. Огарок, оставшийся от гостюлских плохо лежавших свеч, в деревянном подсвечнике стоял на окне, и, чтобы муж не отрывался от своего близкого занятия, Акулина ставала поправлять огарок пальцами. Были вольнодумцы, которые считали Поликея пустым коновалом и пустым человеком. Другие, и большинство, считали его нехорошим человеком, но великим мастером своего дела. Акулина же, несмотря на то, что чисто ругала и даже бивала своего мужа, считала его, несомненно, первым коновалом и первым человеком и свете. Поликей высматывал в горсточку какую-то специю. (Весом он не употреблял и иронически отзывался о немцах, употребляющих весы. «Это, — говорил он, — не аптека!») Поликей прикинул свою специю на руке и встряхнул; но ему показалось мало, и он высматывал в десять раз более. «Всю положу, лучше поднимет», — сказал он сам

¹ Дервай заблуждаться и мечтати! (нем.)

про себя. Акулина быстро оглянулась на голос владелицы, ожидая приказаний; но, увидев, что дедо до нее не касается, покачал плечами: «Вишь, Дошлый! Откуда беретесь!» — подумала она и опять принялась пряхать. Бумажка, из которой высыпана была специя, упала под стол. Акулина не пропустила этого.

— Анютка, — крикнула она, — видишь, отец уронил, подними.

Анютка выкинула тоненькие босые ножонки из-под капота, покрывавшего ее, как котенок слезла под стол и достала бумажку.

— Натя, тигенка, — сказала она и юркнула опять в постель озлобими ножонками.

— Сто толкается, — пропихала ее меньшая сестра, съежкая и зымяющим голосом.

— Я вас! — протворила Акулина, и обе головы скрылись под капотом.

— Три целковых даст, — протворил Поликей, заткая бутылку, — выгнечу лошадь. Еще дешево, — прибавил он. — Подомай-ка голову, поди! Акулина, сходи попроси табачку у Никиты. Завтра отдам.

И Поликей достал из штанов липовый, когда-то выкрашенный чубучок, с сургуучом вместо мундштукка, и стал наладкивать трубку.

Акулина оставила веретено и вышла не зацепившись, что было очень трудно. Поликей открыл шкафчик, поставил бутылку и опрокинул в рот пустой штофчик; но водки не было. Он поморщился, но когда жена принесла табак и он набил трубку, закурил и сел на кровать, лицо его просияло довольством и тордостью человека, окончившего свой дневной труд. Думал ли он о том, как он завтра прихватит язык лошади и вольет ей в рот эту удивительную микстуру, или он размышлял о том, как для чужного человека ни у кого не бывает отказа и что вот Никита присладал-таки табачку. Ему было хорошо. Вдруг дверь, висевшая на одной петле, откинулась, и в угол вошла *евртовая* девушка, не вторая, а третья, маленькая, которую держали для посылков. *Верх*, как всем известно, значит барский дом, хотя бы он был и внизу. Акутка — так звали девочку — всегда летала, как пули и при этом руки ее не стывались, а качались, как мантики, по мере быстроты ее движения, не вдоль боков, а перед корпусом; щеки ее всегда были краснее ее розового

платья; язык ее шевелился всегда так же быстро, как и ноги. Она влетела в комнату и, ухватившись для чего-то за печку, начала качаться и, как будто желая выговорить непременно не более как по два, по три слова зараз, *вдурт*, задыхаясь, произнесла следующее, обращаясь к Акулине:

— Барыня вегеда Поликеев Ильичу сею минутою притить вверх, вегеда... (Она остановилась и тяжело перевела дух.) Егор Михальч был у барыни, о некрутах говорил. Поликей Ильича поминали... Авдотья Микодина вегеда сею минутою притить. Авдотья Микодина вегеда... (опять вздох) сею минутою притить.

С полминуты Акутка посмотрела на Поликеев, на Акулину, на детей, которые высунулись из-за одеяла, схватили скорлупу ореха, валяющуюся на печи, бросила и Анютку и, протворив еще раз «сею минутою притить», как вихрь вылетела из комнаты, и мантики с обычной быстротой замотались поперец линии ее бегла.

Акулина встала опять и достала мужку сапоги. Сапоги были скверные, прованные, солдатские. Сняла кафтан с печи и подала ему, не глядя на него.

— Ильич, рубаху переменить не станешь?

— Не, — сказал Поликей.

Акулина не взглянула на его лицо ни разу, в то время как он молча обувался и одевался, и хорошо сделала, что не взглянула. Лицо у Поликеев было бледно, нижняя челюсть дрожала, и в глазах было то плаксивое, покорное и глубоко несчастное выражение, которое бывает только у людей добрых, слабых и виноватых. Он приселся и хотел выйти, жена оставила его и поправила ему тесемку рубахи, висевшую на армяке, и надегла на него шапку.

— Что, Поликей Ильич, али барыня вас требуют? — раздался голос столыровой жены из-за перегородки.

Столырова жена только вынче утром имела с Акулиной жаркую неприятность за горшок щелока, который у ней разлили Поликеевы дети, и ей в первую минуту приятно было слышать, что Поликеев зовут к барыне; должно быть, не за добром. Притом она была тонкая, политичная и язвительная дама. Никто лучше ее не умел отбрить словом; так, по крайней мере, она сама про себя думала.

— Должно быть, в город за покупками хотят по-

сглать.— продолжала она.— Я так полагаю, что верною человека изберут, вас и посылают. Вы мне тогда чайку чашечку купите, Поликей Ильич.

Акулина удержала слезы, и губы ее стиснулись в злое выражение. Так бы и вцепилась она в наскудные волосы своего этой, столыровой жены. Но как взглянула она на своих детей и подумала, что они останутся сиротами, а она солдаткой-вдовой, забыла она язвительную столырову жену, закрыла лицо руками, села на постель, и голова ее опустилась на подушки.

— Мамушка, ты меня слышала.— проворчала сующая девочка, выдерывая свой салон из-под локтя матери.

— Хотя бы перемерли вы все! На горе народила я вас! — прокричала Акулина и зарыдала на весь угол, в утеху столыровой жене, не забывшей еще про утренний щелок.

IV

Прошло полчаса. Ребенок закричал. Акулина встала и покормила его. Она уж не плакала, но, облокотив свое еще красивое худое лицо, уставилась глазами на догоравшую свечу и думала о том, зачем она вышла замуж, зачем столько солдат нужно, и о том еще, как бы ей отплатить столыровой жене.

Послышались шаги мужа; она отверла следы слез и встала, чтобы дать ему дорогу. Поликей вошел козырем, бросил шанку на кровать, отдулся и стал распоясываться.

— Ну что? Зачем завала?

— Гм, известное! Поликушка последний человек, а как дело нужно, так кого? Поликушку.

— Какое дело?

Поликей не торопился отвечать; он закурил трубку и сплюнул.

— К купцу за деньгами велега ехать.

— Деньги ветвь? — спросила Акулина.

Поликей усмехнулся и покачал головой.

— Куда довка на словах! Ты, говорит, был на замчанье, что ты неверный человек, только я тебе верю больше, чем другому кому. (Поликей говорил громко затем, чтобы соседи слышали.) Ты мне обещаю исправит-

ся, говорит, вот тебе, значит, первое доказательство, что и тебе верю: слезиди, говорит, к купцу, возьми денги и привези. Я, говорю, сударыня, мы, говорю, все ваши холони и должны служить как богу, так и вам, потому и чувствую себя, что могу все издевать для вашего здоровья и от должности ни от какой не могу отказываться; что прикажете, то и исполню, потому я есть ваш раб. (Он опять усмехнулся тою особенною улыбочкой слабого, доброго и виноватого человека.) Так ты, говорит, сделаешь верно? Ты, говорит, понимаешь ли, что твою судьба зависит от этого? Как могу не понимать, что я все могу сделать? Коли на меня наговорили, так обвинить какого можно, а я никогда ничем, кажется, противу вашего здоровья не мог и помыслить. Так, значит, ее заговорил, что совсем моя барыня мигкая стала. Ты, говорит, мне первый человек будешь. (Он помогал, и опять там улыбка остановилась на его лице.) Я очень знаю, как с ними говорить. Бывало, как я еще по оброку ходил, такой наскочит! А только дай поговорить с ним, так его умислю, что шепковый станет.

— И много денег? — спросила еще Акулина.

— Три полтысячи рублей, — небрежно отвечал Поликей.

Она покачала головой.

— Когда ехать?

— Завтра велега. Возьми, говорит, лошадей какую хочешь, зади в контору и ступай с богом.

— Слава тебе, господи! — сказала Акулина, вставая и крестясь. — Помогли тебе бог, Ильич, — прибавила она шепотом, чтобы не слышали за перегородкой, и придерганила его за рукав рубахи. — Ильич, слушай меня, Христом-богом прошу, как поедешь, крест поцелуй, что в рот ни слова не возьмишь.

— А то пить стану, с такими деньгами ехамши! — фыркнула она. — Уж как там в фортепьян играл кто-то донок, бедал! — прибавил он, помолчав и усмехаясь. — Должно, барышня. Я так-то перед ней стоял, перед барыней, у горки, а барышня там, за дверью закатывала. Инустит, заустит, так складно поддакивает, что ну! Понтрад бы я, право. Я бы дошел. Как раз бы дошел. И до этих делов довок. Рубаху завтра чистую дай. И они дети спать счастливые.

Сходка между тем шумела у конторы. Дело было нештучное. Мужики почти все были в сборе, и в то время как Егор Михайлович ходил к барыне, головы накрывались, больше голосов стало слышно в общем говоре, и голоса стали громче. Стоя густых голосов, изредка перебиваемый задыхающеюся, хриплов, крикливою речью, стоял в воздухе, и стон этот долетал, как звук шумящего моря, до окошек барыни, которая испытывала при этом нервическое беспокойство, похощее на чувство, возбуждаемое сильною грозой. Не то страшно, не то неприятно ей было. Все ей казалось, что вот-вот еще громче и чаще станут голоса и случится что-нибудь. «Как будто нельзя все следать тихо, мирно, без спору, без крику,— думала она,— по христианскому, братолюбивому и кроткому закону».

Много голосов говорили вкруг, но громче всех кричал Федор Резун, плотник. Он был двойниковый и напал на Дутловых. Старик Дутлов защищался; он выступил вперед из толпы, за которою стоял сначала, и, захлебываясь, широко разводя руками и подергивая бородкой, гнусил так часто, что самому ему трудно было бы понять, что он говорил. Дети и племянники, молоток и молотку, стояли и жались за ним, а старик Дутлов напоминал собою матку в игре *в коршуна*. Коршуном был Резун, и не один Резун, а все двойники и все одинокие, почти вся сходка, наступавшая на Дутлова. Дело было в том, что Дутлов брат был лет тридцать тому назад отдан в солдаты, и потому он не хотел быть на очереди и его бы сравняли с двойниками в общий жребий, и из них бы уж взяли третьего рекрута. Тройниковых было еще четверо, кроме Дутлова, но один был староста, и его госпожа уволила; из другой семьи поставлен был рекрут в прошлый набор; из остальных двух были назначены двое, и один из них даже и не пришел на сходку, только баба его грустно стояла позади всех, смутно ожидая, что как-нибудь колесо перевернется на ее счастье; другой же из двух назначенных, рыжий Роман, в оборванном армяке, хотя и не бедный, все время молнившись у крыльца и, наклоняя голову, все время молчал, только изредка внимательно взглядывая в того, кто заговаривал погромче, и опять опускал голову. Так и

могло несчастием от всей его фигуры. Старик Семен Дутлов был такой человек, что всякий, немного знавший его, отдавал бы ему на сохранение сотни и тысячи рублей. Чем был он притом церковным старостой. Тем разительнее был азарт, в котором он находился.

Резун-плотник был, напротив, человек высокий, чернявый, буйный, пьяный, смелый и особенно ловкий в спорках и толках на сходках, на базарах, с работниками, косяк, извигателен и со всей высоты своего роста, всею силою своего звучного голоса и ораторского таланта давил нахлебывавшегося и выбитого совершенно из своей степной колени церковного старосту. Участниками в споре головы и курчавою бородкой, коренастый Гараська Юнолодого поколения, отгнавшийся всегда резкою речью Мельничин, желтый, худой, длинный, сутловатый мушкетер, тоже молодод, с редкими волосами на бороде и с нахлывавшим злую сторону и часто озадачивавший сходку своими неожиданными и отрывистыми вопросами и замечаниями. Оба эти говоруна были на стороне Резуна. Кроме того, вмешивались изредка два богтуна: один с добродушнейшею рожей и окладистою русою бородой, Хришков, все приговаривавший: «Друг ты мой любезный»,— и другой, маленький, с пугливою рожицей, Жидмон, — обращавшийся ко всем: «Выходит, братцы ни к селу ни к городу. Оба они были то за того, то за другого, но их никто не слушал. Были и другие такие же, но эти двое так и сменяли между народом, больше всех кричали, путая барыню, меньше всех были слышаемы и, похлывавшие шумом и криком, вполне предавались удовольствию чесания языка. Было еще много разных характеров мирян: были мрачные, приличные, равнодушные, затнанные; были и бабы позади мужиков, с палочками; но про всех их, бог даст, я расскажу в другой раз. Тогда же составлялась вообще из мужиков, стоявших на сходке, как в церкви, и позади шепотом разговаривавших о домашних делах, о том, когда в роще вырежки

накладать, или молча ожидавших, скоро ли кончатся талды. А то были еще богатые, которым схода ничего не может прибавить или убавить в их благосостоянии. Таков был Ермил, с широким глинцевиным лицом, которого мужики называли толстооброхим за то, что он был богат. Таков был еще Старостин, на лице которого лежало самодовольное выражение власти: «Вы, мол, что ни говорите, а меня никто не тронет. Четверо сыновей, да вот никого не отдадут». Изредка и их задирали волюдумцы, как Кошыл и Резун, и они отвечали, но спокойно и твердо, с сознанием своей неприкосновенности. Если Дутлов походил на матку в игре в коршуну, то парня его не вполне напоминали собою птенцов: не металась, не пищали, а стояли спокойно позади его. Старший, Игнат, был уже тридцати лет; второй, Василий, был тоже женат, но не годен в рекруты; третий, Илюшка, племянник, только что женившийся, белый, румяный, в щегольском тулупе (он в ямничках ездил), стоял, поглядывая на народ, почесывая иногда в затылке под шапкой, как будто дело не до него касалось, а его-то именно и хотели оторвать коршуны.

— Так-то и мой дед в солдатах был,— говорил Резун,— та и я от жеребья откормываться стану. Такого, брат, закона нет. Прошлый набор Михичева забрилли, а его дядя еще домой не приходил.

— У тебя ни отец, ни дядя царю не служили,— в одно и то же время говорил Дутлов,— да и ты-то ни господам, ни миру не служил, только бражничал, да дети от тебя поделались. Что жить с тобой нельзя, так и судишь, на других показываешь, а я сотским десять годов ходил, старостой ходил, два раза горел, мне никто не помор; а за то, что в дворе у нас мирно да честно, так и разорить меня? Дайте же мне брата назад. Он небось там и помер. Судите по правде, по-божьему, мир православиный, а не так, что пьяный сбрушет, то и слушать.

В одно и то же время Герасим говорил Дутлову: — Ты на брата указываешь, а его не миром отдал, а за его беспустье господа отдали; так он тебе не отговора.

Еще Герасим не договорил, как мрачно начал желтый и длинный Федор Мельничный, выступая вперед:

— То-то господа отдают, кого вздумают, а потом миром разбирай. Мир приговорил твоему сыну идти, а не хочешь, проси барыню, она, може, велит мне, от детей, одинокому, доб забрить. Вот те и закон,— сказал он нежно. И опять, махнув рукой, стал на прежнее место. Рыжий Роман, у которого был назначен сын, поднял голову и проговорил: «Вот так так!» — и даже сел с досады на прислушку.

Но это были еще не все голоса, говорившие влуду. Кроме тех, которые, стоя позади, говорили о своих делах, и болтуны не забывали своей должности.

— И точно, мир православиный,— говорил маленький Жидков, повторяя слова Дутлова,— надо судить по христианству. По христианству, значить, братцы мои, судить надо.

— Надо по совети судить, друг ты мой любезный,— говорил добродушный Храпков, повторяя слова Кошылды и дергая Дутлова за тулуп,— на то господская воля была, а не мирское решение.

— Верно! Вон оно что! — говорили другие.

— Кто пьяный брешет? — возразил Резун. — Ты меня помил, что ли, али сын твой, что по дороге подбирают, меня вином укорить станут? Что, братцы, надо решение отлежать. Коли хотите Дутлова миловать, хоть не то двойников, одиноких назначайте, а он смеяться нам будет.

— Дутлову идти! Что говорить!

— Известное дело! Тройникам вперед надо жеребий брать,— заговорили голоса.

— Еще что барыня велит. Егор Михайлыч сказывал, дворового поставить хотели,— сказал чей-то голос.

Это замечание задержало немного спор, но скоро он опять загорелся и снова перешел в личности.

Игнат, про которого Резун сказал, что его подбিরали по дороге, стал доказывать Резуну, что он пилу украл у прохорокх плотников и свою жену чуть до смерти не убил пьяный.

Резун отвечал, что жену он и грязный и пьяный бьет, и все мало, и тем всех рассмешил. Насчет же пилы он влуду обиделся и приступил к Игнату ближе и стал спрашивать:

— Кто украл?

— Ты украл,— смело отвечал здоровенный Игнат, подступая к нему еще ближе.

— Кто украл? не ты ли? — кричал Резун.

— Нет, ты! — кричал Игнат.

После пилы дело дошло до краденной лошади, до мешка с овсом, до какой-то полоски оторода на селищах, до какого-то мертвого тела. И такие страшные вещи наговорили себе оба мужика, что ежели бы сотая доля того, в чем они попрекали себя, была правда, их бы следовало обоим, по закону, тотчас же в Сибирь сослать, по крайней мере, на поселенье.

Дутлов-старик между тем избрал другой род защиты. Ему не нравился крик сына; он, останавливая его, говорил: «Грех, брось! Тебе говорят», — а сам доказывал, что тройники не одни те, у кого три сына вместе, а и те, которые поделались. И он указывал еще на Старостина. Старостин слегка улыбаясь, крикнул и, поглядывая борозду с приемом богатого мужика, отвечал, что на то воля господская. Должно, заслужил его сын, коли велено его обойти.

Насчет же поделенных семейств Герасим тоже разбил доводы Дутлова, заметив, что надо было делиться не позволять, как при старом барине было, что спусти лето по мялину не ходят, что теперь не одиноких же отдавать стать.

— Разве из баговетва делились? За что ж их теперь разорить вконец? — слышались голоса деленных, и болатуны пристали к этим голосам.

— А ты купи рекрута, коли не люби. Осиглишь! — сказал Резун Дутлову.

Дутлов отчаянно запахнул кафтан и стал за других мужиков.

— Ты мои деньги сосчитал, видно, — протворил он злобно. — Вот что еще Егор Михайлович скажет от барыни.

VI

Действительно, Егор Михайлович в это время вышел из дома. Шапки одна за другой поднялись над головами, и, по мере того как подходил приказчик, одна за другою открывались плешивые с середины и спереди, седые, полуседые, рыжие, черные и русые головы, и по немногу, понемногу, затихали голоса и, наконец, совершенно затихли. Егор Михайлович стал на крыльцо и по-

кивал вид, что хочет говорить. Егор Михайлович в своем длинном сюртуке, с неудобно всунутыми в передние карманы руками, в фабричной, надвиннутой наперед фуражке и стоя твердо расставленными ногами на возвышении, командующим над этими поднятыми и обращенными к нему, большею частью старыми и большею частью красивыми, бородастыми головами, имел совсем другой вид, чем перед барыней. Он был величествен.

— Вот, ребята, барынино решение: дворовых отдавать ей не угодно, а кого из себя вы сами назначите, тот и пойдет. Нынче нам троих надо. По-настоящему, два в половинной, да половина вперед пойдет. Все равно: не нынче, так в другой раз.

— Известно! Это дело! — сказали голоса.

— По моему суждению, — продолжал Егор Михайлович, — Хорюшкиному и Митюхиному Ваське идти, — это уж сам бог велел.

— Так точно, верно, — сказали голоса.

— Третьему надо либо Дутлову, либо из двойниковых. Как вы скажете?

— Дутлову, — заговорили голоса. — Дутловы тройники. И опять понемногу, понемногу — начался крик, и опять дело дошло как-то до пилы, до полоски на селищах и до каких-то украденных с барского двора веревок. Егор Михайлович уж двадцать лет управлял имением и был человек умный и опытный. Он постоял, послушал с четверть часа и вдруг велел всем молчать, и Дутловым кидать жеребий, кому из троих. Нарезали веревочек. Храпков стал доставать из потрепанной шляпы и вынул жеребий Илюшкин. Все замолчали.

— Мой, что ль? Показь сюда, — сказал Илья оборвавшимся голосом.

Все молчали. Егор Михайлович велел принести к завтрашнему дню рекрутские деньги, по семи копеек с талда, и, объявив, что все кончено, распустил сходку. Тогда двинулась, надевая шапки за углом и гудя разговорными шпалами. Приказчик стоял на крыльце, глядя на уходивших. Когда молодежь Дутловы прошла за угол, он подошел к себе старика, который сам остановился и пошел к ним в контору.

— Жалко мне тебя, старик, — сказал Егор Михайлович, садясь в кресло перед столом, — на тебе черед. Не купишь за племянника или купишь?

Старик, не отвечая, значительно взглянул на Егора Михайловича.

— Не миновать, — ответил Егор Михайлович на его взгляд.

— И ради бы купили, не из чего, Егор Михайлыч, две лошади в лето ободрали. Женил племянника. Видно, судьба наша такая за то, что честно живем. Ему хорошо говорить. (Он вспомнил о Разуне.)

Егор Михайлович потер рукой лицо и зевнул. Ему, видно, уж наскучило, и пора было чай пить.

— Эх, старый, не грехи, — сказал он, — а понци-ка в подполе, авось найдешь стареньких целковеньких четыре сотенки. Я тебе такого охотничка куплю, что чудо. Намедни назывался человек один.

— В губернии? — спросил Дутлов, под *зуберцей* разумея город.

— Что ж, купишь?

— И рад бы, вот перед богом, да...

Егор Михайлович строго прервал его:

— Ну, так слушай ты меня, старик: чтоб Илюшка над собой чего не сделал; как пришло, нынче ли, завтра ли, чтоб сейчас и ветки. Ты повезешь, ты и отвезешь, а ежели что, избави бог, над ним случится, старшего сына забрешу. Слышишь?

— Да нельзя ли двойниковых, Егор Михайлыч, ведь обидно, — сказал он, помогая, — как брат мой в солдатах помер, еще сына берут: за что же на меня напасть так? — заговорил он, почти плача и готовый удариться в ноги.

— Ну, ступай, ступай, — сказал Егор Михайлович, — ничего нельзя, порядок. За Илюшкой смотреть; ты отвячайся.

Дутлов пошел домой, задумчиво постукивая лутешкой по колючкам дороги.

VII

На другой день рано утром перед крыльцом дворового «флигеля» стояла разъяренная тележка (в которой и приказчик ежак), запряженная широкостным тандым меринком, называемым неизвестно почему Барабаном. Анютка, Поликева старшая дочь, несмотря на дождь с крупной и холодный ветер, босиком стояла по-

ред головой мерина, издаватока, с видимым страхом, держа его одною рукой за повод, другою придерживая на своей голове желто-зеленую кацавейку, исполнявшую в семействе должность одеяла, шубы, чепчика, ковра, пальто для Поликевы и еще много других должностей. В *гале* происходила возня. Было еще темно; чуть-чуть пробилась утренний свет дождливого дня сквозь окно, залепленное кое-где бумагой. Акулина, оставив на время и стрижню в печи и детей, из которых малые еще не встали и зыбли, так как одеяло их было взято для одежды и на место его был дан им головной платок матери.

Акулина была занята собиранием мужа в дорогу. Рубаха была чистая. Сапоги, которые, как говорится, просили кашки, причиняли ей особенную заботу. Во-первых, она сняла с себя толстые шерстяные единственные чулки и дала их мужу; а во-вторых, и который Ильич третьего дня принес в избу, она ухитрилась сделать стельки таким образом, чтобы заткнуть дыры и предохранить от сырости Ильичовы ноги. Ильич сам, сидя с ногами на кровати, был занят перевертыванием кушака таким образом, чтоб он не имел вида грязной веревки. А сюсюкающая сердитая девочка в шубе, которая, даже надевая ей на голову, все-таки путалась у ней в ногах, была отправлена к Никите попросить шанки. Возню увеличивали двойные, приходившие просить Ильича купить в городе — той иглоюк, той чайку, той деревянного маслица, тому табачку, и сахару столдровой жене, успевшей уже поставить самовар и, чтобы задобрить Ильича, принесшей ему в кружке напиток, который она называла чаем. Хотя Никита и отказал в шанке и надо было привести в порядок свою, то есть засунуть выбивавшиеся и висевшие на ней хлопки и зашить коновальной иглой дыру, хоть сапоги со стельками из потника и не влезали сначала на ноги, хоть Анютка и промерзала и выпустила было Барабана, и Машка в шубе пошла на ее место, а потом Машка должна была снять шубу, и сама Акулина пошла держать Барабана, — кончилось тем, что Ильич надеялся на себя почти все одевание своего семейства, оставив только кацавейку и *тулды*, и, убранный, сел в телегу, замахнувшись, поправил сено, еще раз запахнулся, разобрав ножки, еще плотнее запахнулся, как это делают очень степенные люди, и тронул.

Мальчишка его, Мишка, выбежавший на крыльцо, потребовал, чтоб его прокатили. Сюсюкающая Маша тоже стала просить, чтоб ее «покатили и это ей тепло и без субы», и Поликей придержал Барабана, улыбаясь своею слабою улыбкой, а Акулина подсадила ему детей и, начувшись к нему, шепотом проговорила, чтоб он поминал клятву и ничего не пил дорогой. Поликей провел детей до кузани, высадил их, опять укутался, опять поправил шапку и поехал один маленькою, степенною рысью, подрагивая на толчках щемами и постукивая погами по дубку телеги. Машка же и Мишка с такою быстротой и с таким визгом полетели босиком к дому по скользящей горе, что забежавшая с деревни на дворню собака посмотрела на них и вдруг, поджавши хвост, с лаем пустилась домой, огчело визг Поликеевых наследников еще удеслтерился.

Порода была скверная, ветер резал лицо, и не то снег, не то дождь, не то крупа изредка принимались стегать Ильича по лицу и голым рукам, которые он прятал в холдныхми вожжками под рукава армяки, и по кожаной крышке хомута, и по старой голове Барабана, который прижимал уши и жмурился.

Потом вдруг переставало, мгновенно расчищалось; ясно выднелись голубоватые снеговые тучи, и солнце как будто начинало проглядывать, но нерешительно и невесело, как улыбка самого Поликея. Несмотря на то, Ильич был погружен в приятные мысли. Он, которого на поселение сослать хотели, которому угрожали солдаством, которого только ленивый не ругал и не бил, которого всегда тыкали туда, где похуже,— он едет теперь получать *сумму* денег, и большую сумму, и барыня ему доверяет, и едет он в приказчицкой тележке на Барабане, на котором сама барыня ездит, едет как дворянка какой, с ременными гужами и вожжками. И Поликей усаживался прямее, поправлял хлопки в шапке и еще замахивался. Впрочем, ежели Ильич думал, что он совершенно похож на богатого дворяника, то он заблуждался. Оно, правда, всякий знает, что и от десяти тысяч торговца в тележке с ременною упряжкой ездят, только это то, да не то. Едет человек, с бородой, в синем ли, черном ли кафтане, на сытой лошади, один сидит в ящике; только взглянешь, сыта ли лошадь, сам сыт ли, как сидит, как запряжена лошадь, как опинена тележка, как сам под-

писал, сейчас видно, на тысячи ли, на сотни ли мужик торгует. Всякий опытный человек, как только бы поглядел поблиз на Поликея, на его руки, на его лицо, на его недавно отпущенную бороду, на кушак, на сено, брошенное кое-как в ящик, на худого Барабана, на стертые шини, сейчас узнал бы, что это едет холопешка, а не купец, не гуртовщик, не дворяник, ни от тысячи, ни от ста, ни от десяти рублей. Но Ильич так не думал, он заблуждался, и приятно заблуждался. Три полтысячи рублей повезет он за своею пазухой. Захочет, повернет Барабана вместо дома к Одесту, да и поедет куда бог приведет. Только он этого не делает, а верно привезет деньги барыне и будет говорить, что и не такие деньги наживали. Поравнявшись с кабаком, Барабан стал затягивать левую вожжку, останавливаться и привораживать, но Поликей, несмотря на то, что у него были деньги, динные на покупки, свиснул Барабана кнутом и проехал. То же самое он сделал и у другого кабака и к полдням езда с телеги и, отворив ворота купеческого дома, в котором останавливались все барынные люди, провел тележку, отпир, представил к сену лошадь, пообедал с кушечскими работниками, не преминув расказать, за каким он важным делом приехал, и пошел, с письмом и шапке, к садовнику. Садовник, знавший Поликея, прочит письмо, с видимым сомнением порасспросил, точно ли ему велено везти деньги. Ильич хотел обидеться, но не сумел, только улынулся своею улыбкой. Садовник перечел еще письмо и отдал деньги. Получив деньги, Поликей положил их за пазуху и пошел на квартиру. Ни подпивая, ни питейные дома, ничто не соблазнило его. Он испытывал приятное раздразнение во всем существе и не раз останавливался у лавок с искусшающимися толпарями: сапогами, армяками, шапками, ситуациями и съестным. И, постояв немножко, отходил с приятным чувством: могу все купить, да вот не сделаю. Он прошел на базар купить, что ему велено было, забрал все и поторговал дубленую шубу, за которую просили двадцать пять рублей. Продавец почему-то, глядя на Поликея, не верил, чтобы Поликей мог купить; но Поликей показал ему за пазуху, и потребовал примерять шубу, помил, попробуй ее, пошул в мех, даже провонял от нее и, наконец, со вздохом снял. «Неподходящая цена. Кожи бы из пит-

нацпяти рублей уступил», — сказал он. Купец сердито перекинул шубу через стол, а Поликей вышел и в веселом духе отправился на квартиру. Поужинав, напив Барабана и задав ему овса, он встал на печь, вынул конверт, долго осматривал его и попросил грамотного дворника прочесть адрес и слова: «Со вложением тысячи шестисот семнадцати рублей ассигнациями». Конверт был сделан из простой бумаги, печати были из бурого сургуча с изображением якора, одна большая в середине, четыре по краям; сбоку было капнуто сургучом. Ильич все это осмотрел и заучил и даже потрогал вострые концы ассигнаций. Какое-то детское удовольствие испытывал он, зная, что в его руках находится такие деньги. Он за-сунул конверт в дыру шапки, шапку положил под голову и лег; но и ночью он несколько раз просыпался и шептал конверт. И всякий раз, находя конверт на месте, он испытывал приятное чувство сознания, что вот он, Поликей, осрамленный, забитый, везет такие деньги и доставит их верно, — так верно, как не доставил бы и сам прикащик.

VIII

Около полуночи и купцовы работники и Поликей были разбужены стуком в ворота и криком мужиков. Это были рекруты, которых привезли из Покровского. Их было человек десять: Хорюшкин, Митюшкин и Ильич (племянник Дутлова), двое подставных, староста, старик Дутлов и подводящие. В избе горел ночник, кухарка спала на лавке под образами. Она вскочила и стала закипать свечу. Поликей тоже проснулся и, перегнувшись с печи, стал смотреть на входивших мужиков. Все входили, крестясь и садясь на лавки. Все они были совершенно спокойны, так что узнать нельзя было, кто кого привез в отбачу. Они здоровались, гулярили, спрашивали поестъ. Правда, некоторые были молчаливы и грустны; зато другие были необыкновенно веселы, видимо выпивши. В том числе был и Ильич, до сих пор когда не пивший.

— Что ж, ребята, ужинать али спать ложиться? — спросил староста.

— Ужинать, — отвечал Ильич, распахнув шубу и усевшись на лавке. — Посылай за водкой.

— Будет те водки-то, — отвечал староста мельком и снова обратился к другим. — Так хлеба закусите, ребята. Что народ будить?

— Водки дай, — повторил Ильич, ни на кого не глядя, и таким голосом, что видно было, что он не скоро отстанет.

Мужики послушались совета старосты, достали из телег хлебца, поели, попросили кваса и полегли, кто на полу, кто на печи.

Ильич изредка все повторял: «Водки дай, я говорю, подай». Вдруг он увидал Поликей.

— Ильич, а Ильич! Ты здесь, друг любезный? Ведь и в солдаты иду, совсем распрощался с матушкой, с хозинкой... Как выгнал В солдаты уехали. Поставь водки.

— Денег нет, — отвечал Поликей. — Еще, бог даст, матылок, — прибавил Поликей, утешая.

— Нет, брат, как береза чистая, никакой болезни не выдал над собой. Уж какой мне затылок? Каких еще царю солдат надо?

Поликей стал рассказывать историю, как дохтору синевякую мужик дал и тем уволился.

Ильич подвинулся к печи и разговорился:

— Нет, Ильич, теперь кончено, и сам не хочу остаться. Дядя меня утек. Разве мы бы не купили за себя? Нет, сына жалко и денег жалко. Меня отдадут...

Теперь сам не хочу. (Он говорил тихо, доверчиво, под влиянием тихой грусти.) Одно, матушку жалко; как убилась сердешная! Да и хозинку: так, ни за что потугбили бабу; теперь пропадет, солдатка, одно слово. Лучше бы не женить. Зачем они меня женили? Завтра придут.

— Да что же вас так рано привезли? — спросил Поликей. — То ничего не слышать было, а то вдруг...

— Вишь, боится, чтоб я над собой чего не сделал, — отвечал Ильичка, улыбаясь. — Небось, ничего не сделаю, и и в солдатах не пропаду, только матушку жалко. За чем они меня женили? — говорил он тихо и грустно.

Дверь отворилась, крепко хлопнула, и вошел старик Дутлов, отряхивая шапку, в своих лаптях, всегда огромных, точно на ногах у него были лодки.

— Афанасий, — сказал он, перекрестясь и обращаясь к дворнику, — нет ли фонарика, овса всыпать?

Дутлов не взглянул на Ильича и спокойно начал за-

жигать отарок. Рукавицы и кнут были засунуты у него за поясом, и армяк аккуратно подпоясан; точно он с обозом приехал: так обычно просто, мирно и забоченно хозяйственным делом было его трудовое лицо.

Илья, увидав дядю, замолк, опять мрачно опустил глаза куда-то на лавку и заговорил, обращаясь к старосте:

— Возки дай, Ермига. Вина пить хочу.

Голос его был злой и мрачный.

— Какое теперь вино? — отвечал староста, хлебаи на чашки. — Видишь, люди поеги, да и легли; а ты что буянишь?

Слово «буянишь», видимо, навело его на мысль буянить.

— Староста, я беду наделаю, коли ты мне возки не дашь.

— Хоть бы ты его урезонил, — обратился староста к Дуглову, который зажег уже фонарь, но, видимо, остановился послушать, что еще дальше будет, и искоса с соболеванием смотрел на племянника, как будто удивляясь его ребячеству.

Илья, потупившись, опять проговорил:

— Вина дай, беду наделаю.

— Брось, Илья! — сказал староста кротко, — право, брось, лучше будет.

Но не успел он еще выговорить этих слов, как Илья вскочил, ударил кулаком в стекло и закричал во всю мочь:

— Не хотите слушать, вот вам! — и бросился к другому окну, чтоб и то разбить.

Ильяч во мгновение ока перекатился два раза и спрыгнул в угол печи, так что распутал всех тараканов. Староста бросил ложку и побежал к Илье. Дуглов медленно поставил фонарь, распоясаясь, пощелкивая лавком, покачал головой и подошел к Илье, который уж возился с старостой и дворником, не пускаясь к окну. Они поймали его за руки и держали, каалось, крепко; но как только Илья увидел дядю с кушаком, силы его удесветрились, он вырвался и, закатив глаза, подступил с скатым кулаком к Дуглову.

— Убью, не подходи, варвар! Ты меня загубил, ты с своими сыновьями-разбойниками, ты загубил меня. Зачем меня женили? Не подходи, убью!

Илюшка был страшен. Лицо его было багровое, глаза не знали, куда деваться; все его зловое молодое тело дрожало как в лихорадке. Он, каалось, хотел и мог убить всех троих мужиков, наступавших на него.

— Братнину кровь прешь, кровопийца!

Что-то сверкнуло на вечно-спокойном лице Дуглова. Он сделал шаг вперед.

— Не хотел добром, — проговорил он, и вдруг, откуда вылезла энергия, быстрым движением схватил он племянника, повалился с ним на землю и с помощью старосты начал крутить ему руки. Минут с пять боролся он; наконец Дуглов с помощью мужиков встал, отдирая руки Илья от своей шубы, в которую тот вцепился, — встал сам, потом поднял Илью с связанными назад руками и посадил его на лавку в углу.

— Говорил, хуже будет, — сказал он, задыхаясь еще от борьбы и оправляя пояссок рубахи, — что грешить? все умирать будем. Дай ему под голову армяк, — прибавил он, обращаясь к дворнику, — а то голова затечет, — и сам взял фонарь, подпоясаясь веревочкой и вышел опять к лошадам.

Илья, со спутанными волосами, с бледным лицом и издернутою рубахой, оглядывал комнату, как будто старился вспомнить, где он. Дворник подбирал осколки стекла и утыкал в окно полутьбок, чтобы не дуло. Староста опить сел за свою чашку.

— Эх, Илюха, Илюха! Жалко мне тебя, право. Что ж делать! Вот Хорюшкин, тоже женатый; не миновать, видно.

— От злодея дяди погибая, — повторил Илья с сухой дрожью. — Ему своего жалко... Матушка говорила, приказчик приказывал купить некрута. Не хочет; говорит: не одолет. Разве мы с братом маго в дом принесли?... Злодей он!

Дуглов вошел в избу, помогилась образам, разделся и подошел к старосте. Работница подала ему еще квасу и ложку. Илья замолк и, закрыв глаза, прилег на армяк. Староста молча указал на него и покачал головой. Дуглов махнул рукой.

— Разве не жалко? Брата родного сын. Мало того, что жалко, еще злодеем меня перед ним издедали. Выложили ему в голову его хозяйка, что ль, бабочка хитрая, даром что молодая, что у нас деньги такие, что купить

некрута осилим. Вот и укоряет меня. А как жалко милого-то!..

— Ой, малый хорош! — сказал староста.

— Да мочи моей с ним нет. Завтра Ингвата пришло, и хозяйка его приехать хотела.

— Присьмай-ка, дадно, — сказал староста, встал и полез на печку. — Что деньги? Деньги прах.

— Были бы деньги, кто бы пожалел? — проговорил купеческий работник, поднимая голову.

— Эх, деньги, деньги! Много греха от них, — отозвался Дутлов. — Ни от чего в свете столько греха, как от денег, и в Писании сказано.

— Все сказано, — повторил дворник. — Так-то сканывал мне человек один: купец был, денег много накопил и ничего оставить не хотел; так свои деньги любил, что с собою в гроб унес. Стал помирать, только велел поудушечку с собой в гроб положить. Не догадился так. Потом стали искать денег сыновья: нет ничего. Догаданы один сын, что, должно, в подушке деньги были. До царя доходило, позволил откопать. Так что ж ты думаешь? Открыли, в подушечке ничего нет, а полон косяками гроб; так и зарыли опять. Вот оно, что деньги-то делают.

— Известно, греха много, — сказал Дутлов, встал и начал молиться богу.

Помолвишись, он посмотрел на племянника. Тот спал. Дутлов подошел, отпустил ему кушак и лег. Другой мужик пошел спать к лошадам.

IX

Как только все затихло, Поликей, будто виноватый, потихоньку слез и стал убираться. Ему почему-то было жутко ночевать здесь с рекрутами. Петухи уже перекликались чаще, Барабан поел весь свой овес и танулся к пойлу. Ильяч запрет его и вывел мимо мужичьих телег. Шапка с содержимым была в целости, и колеса тележки снова застучали по подмерзнувшей Покровской дороге. Поликей легче стало только тогда, как он выехал за город. А то все почему-то ему казалось, что вот-вот слыди послышится погоня, останова его да на место Ильи скрутят ему назад руки и завтра поведут в ставку. Не то от холода, не то от страха мороз пробежал у него по спине, и он все потрогивал и потрогивал Барабана.

Первый встретившийся ему человек был поп в высокой лампной шапке, с кривым работником. Еще жутче стало Поликей. Но за городом страх этот понемногу прошел. Барабан пошел шагом, стала виднее вперед дорога; Ильяч снул шапку и ощутил деньги. «Положить их за подуху? — думал он, — еще расположиться надо. Вот дай крепко зашита сверху, там сойду с телеги, уберусь. Шапка и смять шапки до дома не стану». Съехав под изволок, Барабан по собственной охоте навывсо выскочил в гору, и Поликей, которому так же, как и Барабану, хотелось скорее домой, не препятствовал ему в том. Все было и порядке; по крайней мере, ему так казалось, и он предельно мечтанием о благодарности госпожи, о пяти целковых, которые она ему даст, и о радости своих домашних. Он снул шапку, ощутил еще раз письмо, нахлобучил себе шапку глубже на голову и улыбнулся. Пис на шапке было гнилой, и именно потому, что накануне Акулина старательно зашила его в прованном месте, он разлезся в другого конца, и именно то движение, которым Поликей, сняв шапку, думал в темноте засовывать глубже под шюпки письмо с деньгами, это самое движение распорол шапку и высунуло конверт одним углом из-под шапки.

Стало светать, и Поликей, не спавший всю ночь, задумал. Надвинув шапку и тем еще больше высунув письмо, Поликей в дремоте стал стучаться головой о тряпку. Он проснулся около дома. Первым движением его было схватиться за шапку: она сидела плотно на голове; он и не снял ее, уверенный, что конверт тут. Он тронул Барабана, поправил сено, опять приняв вид дворника и, важно поглядывая вокруг себя, затрясся и дому.

Вот кухня, вот «флигерь», вон столарова жена несет колоты, вон контора, вон барынин дом, в котором сейчас Поликей покажет, что он человек верный и честный, что «наговорить, мол, можно на всякого», и барыня скажет: «Ну благодарствуй, Поликей, вот тебе три...», а может, и пять, а может, и десять целковых, и велит еще чаю поднести ему, а может, и водочки. С холоду бы не мешало. На десять целковых и погуляем на празднике, и сапоги чиним, и Никитке, так и быть, отдадим четыре с полтиной, а то приставать очень начал... Не доезжая шагов

ста до дома, Поликей запыхнувся еще, справил нос, ожерелку, снял шапку, поправил волосы и, не торопясь, сунул руку под подкладку. Рука зашевелилась в шапке, быстрой, еще быстрой, другая всунулась туда же, лицо бледного, бледного, одна рука проскочила насквозь... Поликей вскоячил на колени, остановил лошадь и начал оглядывать телегу, сено, покупки, щупать пазуху, шаровары: денег нигде не было.

— Батюшки! Да что же это? Что все это будет! — заревел он, схватив себя за волосы.

Но, тут же вспомнив, что его могут увидеть, повернул Барабана назад, нагнув шапку и потнал удивленного и недовольного Барабана назад по дороге.

«Терпеть не могу ездить с Поликеем, — должен был думать Барабан. — Один раз в жизни он накормил и напоил меня вовремя, и лишь для того, чтобы так неприятно обмануть меня. Как я старался бежать домой! Устал, а тут только что запахло нашим сеном, он гонит меня назад».

— Ну, ты, одер чертовский! — сквозь слезы кричал Поликей, встав в телеге, держа по Барабанову рту вожжками и стегая кнутом.

Х

Целый этот день никто в Покровском не видел Поликей. Барыня спрашивала несколько раз после обеда, и Аксютка прилегла к Акулине; но Акулина говорила, что он не приезжал, что, видно, купец задержал или что с лошадкой что-нибудь случилось. «Не захромала ли? — говорила она. — Проплыл раз так-то целые сутки ехал Максим, всю дорогу пешком шел!» И Аксютка надела валя свои мантишки опять к дому, а Акулина придумывала причины задержки мужа и старалась успокоить себя, — но не успевала! У ней тяжело было на сердце, и никакая работа к завтрашнему празднику не спорилась у ней в руках. Тем более она мучилась, что столырова жена уверила, что она сама видела: «Человек, точно как Ильич, подъехал к прешнеку и потом назад поверотил». Дети тоже с беспokoйством и нетерпением ждали тятеньку, но по другим причинам. Анютка и Машка остались без шубы и армяка, дававших им возможность хоть поочередно выходить на улицу, и потому принуждены были

только около дома, в одних платьях, делать круги с усиленною быстротой, чем не мало стесняли всех жителей *флигеля*, входивших и выходявших. Один раз Машка надела на ноги столыровой жены, несшей воду, и, хотя вперед зареветь, стукнувшись о ее колени, получила, однако, потасовку за вихры и еще сильнее заплакала. Когда же она не стеснилась ни с кем, то прямо влетала и дурь и по кадушке влезала на печку. Только барыня и Акулина истинно беспokoились собственно о Поликее; жечь же только о том, что было на нем надето. А Егор Михайлович, докладывая барыне, на вопрос ее: «Не приехал ли Поликей и где он может быть?» — улыбаясь, отвечал: «Не могу знать», — и, видимо, был доволен тем, что предположения его оправдывались. «Надо бы к обеду присесть», — сказал он значительно. Весь этот день в Покровском никто ничего не знал про Поликей; только уже потом узналось, что видели его мужики соседние, без шапки бегавшего по дороге и у всех спрашивавшего: «Не находили ли письма?» Другой человек видел его спином на краю дороги подле прирученной лошади с телегой. «Еще я подумал, — говорил этот человек, — что пьяный, и лошадь два дня не поена, не кормлена: так ей бока подло». Акулина не стала всю ночь, все прислушиваясь, но и в ночь Поликей не приезжал. Если бы она была одна и были бы у ней повар и девушка, она была бы еще несчастнее; но как только пропели третьи петухи и столырова жена поднялась, Акулина должна была встать и принести за печку. Был праздник: до света надо было хлеба выпечь, квас сделать, лепешки испечь, корову поить, платья и рубахи выгладить, детей перемыть, воды принести и соседке не дать всю печку занять. Акулина, не переставая прислушиваться, принялась за эти дела. Уж рассвело, уж заблагоуветили, уж дети встали, и Поликей все не было. Накануне был замок, снег равномерно покрыл поля, дорогу и крыши; и нынче, как бы для праздника, день был красивый, солнечный и морозный, так что издавка было и слышно и видно. Но Акулина, стоя у печи и с головой всовываясь в устье, так занялась печным лепешек, что не слышала, как подъехал Поликей, и только по крику детей узнала, что муж приехал. Анютка, как старшая, насылила голову и сама оделась. Она была в новом розовом ситцевом, но митом платье, подарке барыни, которое, как дубок, стояло на ней и ко-

лого глаза соседям; волосы у ней лоснились, на них они под-огарка вымазала; башмаки были хоть не новые, но тонкие. Машка была еще в каплейке и глян, и Анютка не подпускала ее к себе близко, чтобы не выпачкала. Машка была на дворе, когда отец подьехал с кульком. «Тягенька плнехали», — завизжала она, стремглав бросилась в дверь мимо Анютки и запачкала ее. Анютка, уже не боялась запачкаться, тотчас же прибила Машку, а Акулина не могла оторваться от своего дела. Она только крикнула на детей: «Ну вас! всех перепорю!» — и оглянулась на дверь. Ильич, с кульком в руках, вошел в сени и тотчас же пробрагся в свой угол. Акулине показало, что он был бледен и лицо у него было такое, как будто он не то плакал, не то улыбался; но ей некогда было разобратъ.

— Что, Ильич, благополучно? — спросила она от печи.

Ильич что-то пробормотал, чего она не поняла.

— Ась? — крикнула она. — Был у барыни?

Ильич в своем угле сидел на кровати, дико смотрел кругом себя и улыбался своею виноватою и глубоко несчастною улыбкой. Он долго ничего не отвечал.

— А, Ильич? Что долго? — раздался голос Акулины. — Я, Акулина, деньги отдал барыне, как благодарила! — сказал он вѣдур и еще беспокойнее стал оглядываться и улыбаться. Два предмета особенно останавливали его беспокойные, дикорядочно-открытые глаза: веревки, привязанные к люльке, и ребенок. Он подошел к люльке и своими тонкими пальцами торопливо стал распутывать узел веревки. Потом глаза его остановились на ребенке; но тут Акулина с лепешками на доске вошла в угол. Ильич быстро спрятал веревку за пазуху и сел на кровать.

— Что ты, Ильич, как будто не по себе? — сказала Акулина.

— Не спад, — отвечал он.

Вѣдур за окном мелькнуло что-то, и через мгновение, как стрела, влетела верховая девушка Акютка.

— Барыня велела Поликею Ильичу прийти сею минутою, — сказала она. — Сею минутою велела Авдотья Миколаевна... сею минутою.

Поликею посмотрел на Акулину, на девочку.

— Сейчас! Чего еще надо? — сказал он так просто,

что Акулина успокоилась: может, награждать хочет. — Скажи, сейчас приду.

Он встал и вышел; Акулина же взяла корыто, поставила на лавку, налила воды из ведер, стоявших у двери, и из горячего котла в печи, засучила рукава и поправила воду.

— Иди, Машка, вымой.

Сердитая, спускающая девочку зарева.

— Иди, паршивая, чистую рубаху надену. Ну лодмайся! Иди, еще сестру мыть надо.

Поликею между тем пошел не за верховую девушкой к барыне, а совсем в другое место. В сенях подле стены была прямая лестница, ведущая на чердак. Поликею, выйдя в сени, оглянулся и, не видя никого, нагнувшись, почти бегом, ловко и скоро забежал по этой лестнице.

— Что-то такое значит, что Поликею не приходит, — сказала нетерпеливо барыня, обращаясь к Дунише, которая чесала ей голову, — где Поликею? Отчего он не идет?

Акютка опять потетела на дворню и опять влетела в сени и потребовала Ильича к барыне.

— Да он пошел давно, — отвечала Акулина, которая, слышав Машку, в это время только что посадила в корыто своего грудного мальчика и мочила ему, несмотря на его крик, его редкие волосы. Мальчик кричал, морщился и стонал; Поликею, что-то своими беспомощными ручонками. Акулина поддерживала одною большою рукой его пухленькую, всю в ямочках, мигкую спинку, а другою мыла его.

— Посмотри, не заснул ли он где, — сказала она, с беспокойством оглядываясь.

Столярова жена в это время, нечесаная, с распаннутою грудью, поддерживая юбки, вошла на чердак достать свое сохнувшее там платье. Вѣдур крик ужаса раздался на чердаке, и столярова жена, как сумасшедшая, с закрытыми глазами, на четвереньках, задом, и скорее котом, чем бегом, слетела с лестницы.

— Ильич! — крикнула она.

Акулина выпустила из рук ребенка.

— Удавился! — прореведа столярова жена.

Акулина, не замечая того, что ребенок, как клубочек,

перекатился навзничь и, задржав ножонки, головой оку- нутся в воду, выбежала в сени.

— На балке... висит,— протворила столпирова жена, но остановилась, увидав Акулину.

Акулина бросилась на лестницу и, прежде чем успе- ли ее удержать, выбежала и с страшным криком, как мертвое тело, упала на лестницу и убилась бы, если бы выбежавший изо всех углов народ не успел под- держать ее.

XI

Несколько минут ничего нельзя было разобрать в общей суматохе. Народу сбегалось бездна, все кричали, все говорили, дети и старухи плакали, Акулина лежала без памяти. Наконец мужчины, столпир и прибежавший приказчик, вошли наверх, и столпирова жена в двадцатый раз рассказала, «как она, ничего не думавши, пошла за пегеринкой, глянула этаким манером: вижу, человек стоит, посмотрела: шапка подде вывернута лежит. Лядь, а ноги качаются. Так меня холодом и обдало. Легко ли, повесился человек, и я это видеть должен! Как загремлю вниз, и сама не помню. И чудо, как меня бог спас. Истинно, господь помиловал. Легко ли! И кручь и вышины ка- кая! Так бы до смерти и убилась».

Люди, всходившие наверх, рассказали то же. Ильич висел на балке, в одной рубахе и портках, на той самой веревке, которую он снял с люльки. Шапка его, вывер- нутая, лежала тут же. Армяк и шуба были сняты и порядком сложены подде. Ноги доставали до земли, но признаков жизни уже не было. Акулина припала в себя и рванула опять на лестницу, но ее не пустили.

— Мамушка, Семка захлебнулся,— вдруг закричала ссыскающая девочка из угла.

Акулина вырвалась опять и побежала в угол. Ребе- нок, не шевельясь, лежал навзничь в корыте, и ножки его не шевелились. Акулина выхватила его, но ребенок не дышал и не двигался. Акулина бросила его на кровать, подперлась руками и захохотала таким громким, звонким и страшным смехом, что Машка, сначала тоже засмеяв- шаясь, зажала уши и с плачем выбежала в сени. Народ валял в *угол* с воем и плачем. Ребенка вынесли, стали оттирать, но все было напрасно. Акулина валялась по

постели и хохотала, хохотала так, что страшно становилось всем, кто только слышал этот хохот. Только темень, увидав эту разнородную толпу женатых, стариков, детей, стол- пирова жена все еще находила людей, не слыжавших ее истории, и вновь рассказывала о том, как ее нежные чув- ства были поражены неожиданным видом и как бог спас ее от падения с лестницы. Старичок буфетчик в женской шапке рассказывал, как при покойном барине жен- щина в пруду утопилась. Приказчик отправил к стано- ному и к священнику послов и назначил караул. Верхо- лий девушка Аксютка с выкаченными глазами все смотре- ла в дыру на чердак, и хотя ничего там не видела, не биншая горничная старой барыни, требовала чаю для успокоения своих нервов и плакала. Бабушка Анна своим маслом руками укладывала маленького покойника на столпир. Женщины стояли около Акулины и молча смотрели на нее. Дети, прижавшись в углах, взгляды- ваги на мать и принимались реветь, потом замолчали, опять взглядывали и еще пуще жалась. Мальчишки и мужики толпились у крыльца и с испуганными лицами и спрашивая друг у друга, в чем дело, не видя и не понимая столпир своей жене топором ногу отрубил. Другой говорил, что пращка родила тройню. Третий говорил, что поварова немногу распротранялась и, наконец, достигла ушей ба- рыни. И, какжется, даже не сумели приготовить ее: гру- рыши, что она долго после не могла оправиться. Тогда уже начинала успокаиваться; столпирова жена поставила приглашения, нашли неприличным оставаться долее. Мальчишки начинали драться у крыльца. Все уж знали, в чем дело, и, крестясь, начинали расходиться, как вдруг послышалось: «Барыня, барыня!» — и все опять столпи- лись и сжались, чтобы дать ей дорогу, но все тоже хо- телось видеть, что она будет делать. Барыня, бледная, заплаканная, вошла в сени через порог, в Акулинин угол.

Десятки голов жались и смотрели у дверей. Одну беременную женщину придавили так, что она зашипала, но тотчас же, воспользовавшись этим самым обстоятельством, эта женщина выдала себе впереди место. И как было не посмотреть на барыню в Акулинином углу! Это было для дворовых все равно, что бенгальский огонь в конце представления. Уж значить хорошо, коли бенгальский огонь зажгли, и уж значить хорошо, коли барыня в шелку да в кружевах вошла к Акулине в угол. Барыня подошла к Акулине и взяла ее за руку; но Акулина вырвала ее. Старые дворовые неодобрительно покачали головами.

— Акулина! — сказала барыня. — У тебя дети, покалей себя.

Акулина захохотала и поднялась.

— У меня дети все серебряные, все серебряные... Я бумажек не держу, — забормотала она скороговоркой. — Я Ильичу говорила, не бери бумажек, вот тебе и подмазали, подмазали детям. Детем с мылом, сударыня. Какне бы парши ни были, сейчас соскочут. — И опить она захохотала еще пуще.

Барыня обернулась и потребовала фершегла с торпичей. «Воды холодной дайте», — и она стала сама искать воды; но, увидя мертвого ребенка, перед которым стояла бабушка Анна, барыня отвернулась, и все видели, как она закрылась платком и заплакала. Бабушка же Анна (жалко, что барыня не выдала: она бы оценила это; для нее и было все это сделано) прикрыла ребенка кусочком холста, поправила ему ручку своею пухлой, ловкою рукою и так потрясла головой, так выткнула губы и чувствительно прищурила глаза, так вздохнула, что всякий мог видеть ее прекрасное сердце. Но барыня не выдала этого, да и ничего не могла видеть. Она зарыдала, с ней следовало нервная истерика, и ее вывели под руки в сени и под руки отвели домой. «Только-то от нее и было», — подумали многие и стали расходиться. Акулина все хохотала и говорила вадор. Ее вывели в другую комнату, пустили ей кровь, обложили горячимиками, льду приложили к голове; но она все так же ничего не понимала, не плакала, а хохотала и говорила и делала такие вещи, что добрые люди, которые за ней ухакивали, не могли удерживаться и тоже смеялись.

XII

Праздник был невеселый во дворе Покровского. Несмотря на то, что день был прекрасный, народ не выходил гулять; донки не собирались песни петь, ребята фабричные, пришедшие из города, не играли ни в гармонью, ни в балалайки и с девушками не играли. Все сидели по углам, и ежели говорили, то говорили тихо, как будто кто недобрый был тут и мог слышать их. Днем все еще было ничего. Но вечером, как смерклось, завылли собаки, и тут же на беду поднялся ветер и завыл в трубы, и таковой страх нашел на всех жителей дворни, что у кого были свечи, те зажгли их перед образом; кто был один в *угле*, пошел к соседям проситься ночевать, где полюднее, а кому нужно было выйти в закуты, не пошел и не пожелал оставить скотину без корму на эту ночь. И святую нолу, которая у каждого хранилась в пузырьке, всю в эту ночь истратили. Многие даже слышали, как в эту ночь кто-то все ходил по чердаку тяжелым шагом, и кузнец видел, как змей летел прямо на чердак. В Полковском *угле* никто не было; дети и сумасшедшая переведены были в другие места. Там только покойничек-младенец лежал, да были две старушки и странница, которая по своему усердию читала псалтырь, не над мгаденцем, а так, по случаю всего этого несчастья. Так пожелала барыня. Старушки эти и странница сами слышали, как только-только прочтется кафизма, так задрожит наверху балка и застонет кто-то. Прочтут: «Да воскреснет бог», — опить затихнет. Стоярова жена позвала куму и в эту ночь, не спавши, выпила с ней весь чай, который запасла себе на неделю. Они тоже слышали, как наверху балки трещали и точно мешки падали сверху. Мужики-караульщики придавали храбрости дворовым, а то бы они перемерли в эту ночь со страху. Мужики лежали в сенях на сене и потом уверили, что слышали тоже чудеса на чердаке, хотя в самую эту ночь препокорно беседовали между собой о некрутстве, жевали хлеб, чесались и, главное, так наполнили сени особым мужичьим запахом, что Стоярова жена, проходя мимо их, сидонула и обрутала их мужичьем. Как бы то ни было, удивленник все висел на чердаке, и как будто сам злой дух осенил в эту ночь *фамильер* огромным крылом, показав свою власть и ближе, чем когда-либо, став к этим людям. По крайней мере, все они чувствовали это. Не знаю, справедливо ли

это было. Я даже думаю, что вовсе не справедливо. Я думаю, что если бы смельчак в эту страшную ночь взял свечу или фонарь и, осенив или даже не осенив себя крестным знаменем, вошел на чердак, медленно раздвигая перед собой огнем свечи ужас ночи и освещая балки, песок, боров, покрытый паутиной, и забытые столыровой женою пегерники, — добрался до Ильича, и ежели бы, не подавшись чувству страха, поднял фонарь на высоту лица, то он увидел бы знакомое худощавое тело с ногами, стоящими на земле (веревка опустилась), безжизненно согнувшиеся набок, с расстегнутым воротом рубахи, под которым не видно креста, и опущенную на грудь голову, и доброе лицо с открытыми, недвижными глазами, и кроткую, виноватую улыбку, и строгое спокойствие, и тишину на всем. Право, столырова жена, прикавшись в углу своей кровати, с расстегнутыми волосами и испуганными глазами, рассказывающая, что она слышит, как падают мешки, гораздо ужаснее и страшнее Ильича, хотя крест его снят и лежит на балке.

В *верту*, то есть у барыни, такой же ужас царствовал, как и во *флизере*. В барыниной комнате пахло одеколоном и лекарством. Душища греда жглый воск и делала спуск. Для чего именно спуск, я не знаю; но знаю, что спуск делался всегда, когда барыня была больна. А она теперь расстроилась до неадорова. К Душище для храбрости пришла ночевать ее тетка. Они все четверо сидели в девичьей с девочкой и тихо разговаривали.

— Кто же за маслом пойдет? — сказала Душища.

— Ни за что, Авдотья Николаевна, не пойду, — решительно отвечала вторая девушка.

— Полно; с Аксюткой вместе пойди.

— Я одна сбегая, и ничего не боюсь, — сказала Аксютка, но тут же заробела.

— Ну пооди, умница, спроси у бабушки Анны, в стране, и принеси, не расписескай, — сказала ей Душища.

Аксютка подобрала одною рукой подол, и хотя вследствие этого уже не могла махать обеими руками, заматала одною давое сильнее, поперец линии своего направления, и полетела. Ей было страшно, и она чувствовала, что, ежели бы она увидела или услышала что бы то ни было, хоть свою мать живую, она бы пропала со страху. Она летела, закурившись, по знакомой тропинке.

«Барыня спит или нет?» — спросил вдруг подле Аксютки густой мужицкий голос. Она открыла глаза, которые прежде были зазмурены, и увидела чью-то фигуру, которая, казалось ей, была выше *флизера*, она взвизгнула и поспешила назад, так что ее юбка не посмевала лететь за ней. Одним скачком она была на крыльце, другим и девичьей и с диким воплем бросилась на постель. Душища, тетка ее и другая девушка обмерли со страху; но не успели они очнуться, как тяжелые, медленные и решительные шаги послышались в сенях и у двери. Душища бросилась к барыне, уронив спуск; вторая горничная спряталась за юбки, висевшие на стене; тетка более решительная, хотела было придержать дверь, но дверь отворилась, и мужик вошел в комнату. Это был Душков в своих лодках. Не обращая внимания на страх дюшшек, он поискал глазами иконы и, не найдя маленькой образа, висевшего в левом углу, перекрестился на икафчик с чашками, положил шапку на окно и, загнув глубоко руку за полушубок, точно он хотел почувстаться под мышкой, достал письмо с пятью бурыми печатями, изображавшими якори. Душищина тетка схватилась за грудь.... Насилу она выговорила.

— Перепутал же ты меня, Наумыч! Выговорить не могу сло...ва. Так и думала, что конец пришел.

— Можно ли так? — проговорила вторая девушка, нерасовываясь из-за юбок.

— И барыню даже встревожили, — сказала Душища, выходя из двери, — что лезешь на девичье крыльцо не спросивши? Настойный мужик!

Душков, не извиняясь, повторил, что барыню нужно видеть.

— Она нездорова, — сказала Душища.

В это время Аксютка фыркнула таким неприятно-громким смехом, что опять должна была спрятать голову и подружки постели, из которых она целый час, несмотря на угрозы Душищи и ее тетки, не могла вынуть ее без того, чтобы не прыснуть, как будто разрывалось что в ее розовой груди и красных щеках. Ей так смешно казалось, что все перепуталось, — и она опять притаила голову и, будто в конвульсиях, слезила башмаком и подпрыгивала всем телом.

Дутлов остановился, посмотрел на нее внимательно, как будто желая дать себе отчет в том, что такое с ней происходит, но, не разобрав, в чем дело, отвернулся и продолжал свою речь.

— Значит, как есть, очень важное дело, — сказал он, — только скажите, что мужик письмом с деньгами нашел.

— Какие деньги?

Дуняша, прежде чем доложить, прочла адрес и спросила Дутлова, где и как он нашел эти деньги, которые Ильич должен был привезти из города. Разуная все подробно и вытолкнув в сени бегуню, которая не переставала фыркать, Дуняша пошла к барыне, но, к удивлению Дутлова, барыня все-таки не приняла его и ничего толком не сказала Дуняше.

— Ничего не знаю и не хочу знать, — сказала барыня, — какой мужик и какие деньги. Никого я не могу и не хочу видеть. Пускай он оставит меня в покое.

— Что же я буду делать? — сказал Дутлов, поверчивая конверт. — Деньги не маленькие. Написано-то что на них? — спросил он Дуняшу, которая снова прочла ему адрес.

Дутлову как будто все что-то не верилось. Он надеялся, что, может быть, деньги не барынины и что не так прочли ему адрес. Но Дуняша подтвердила ему еще. Он вздохнул, положил за пазуху конверт и готовился выйти.

— Видно, становому отдать, — сказал он.

— Постой, я еще попытаюсь, скажу, — остановила его Дуняша, внимательно проследив за исчезновением конверта в пазухе мужика. — Дай сюда письмо.

Дутлов опять достал, однако не тотчас передал его в протянутую руку Дуняши.

— Скажите, что нашел на дороге Дутлов Семен.

— Да дай сюда.

— Я было думал так, письмо; да солдат прочел, что с деньгами.

— Да давай же.

— Я и не посмел домой заходить для того... — опять говорил Дутлов, не расставаясь с драгоценным конвертом, — так и доложите.

Дуняша взяла конверт и еще раз пошла к барыне. — Ах, боже мой, Дуняша! — сказала барыня укори-

тольным голосом, — не говори мне про эти деньги. Как и испомню только этого малюточку...

— Мужик, сударыня, не знает, кому прикажете отдать, — опять сказала Дуняша.

Барыня распечатала конверт, вздрогнула, как только увидела деньги, и задумалась.

— Страшные деньги, сколько эта они делают! — сказала она.

— Это Дутлов, сударыня. Прикажете ему идти или никогда выйти к нему? Цены ли еще деньги-то? — спросила Дуняша.

— Не хочу я этих денег. Это ужасные деньги. Что они наделяли! Скажи ему, чтоб он взял их себе, коли хочет, — сказала вдруг барыня, отсккивая руку Дуняши. — Да, да, да, — повторила барыня удивленной Дуняше, — пускай совсем возьмет себе и делает, что хочет. — Полторы тысячи рублей, — заметила Дуняша, смеясь улыбаясь, как с ребенком.

— Пускай возьмет всё, — нетерпеливо повторила барыня. — Что, ты меня не понимаешь? Эти деньги несчастные, никогда не говори мне про них. Пускай возьмет себе этот мужик, что нашел. Иди, ну иди же!

Дуняша вышла в девичью.

— Все ли? — спросил Дутлов.

— Да уж ты сам сосчитай, — сказала Дуняша, подала ему конверт, — тебе велено отдать.

Дутлов положил палку под мышку и, пригнувшись, стал считать.

— Счетов нету?

Дутлов понял, что барыня по глупости не умеет считать и велела ему это сделать.

— Дома сосчитаешь! Тебе! твои деньги! — сказала Дуняша сердито. — Не хочу, говорит, их видеть, отдай тому, кто принес.

Дутлов, не разгибаясь, уставился глазами на Дуняшу.

Тетка Дуняшина так и всплеснула руками.

— Матушки родимые! Вот дал бог счастья! Матушки родные!

Второй торжичная не поверила:

— Что вы, Авдотья Николаевна, шутите?

— Вот те шутите! Велела отдать мужику... Ну, бери деньги, да ступай, — сказала Дуняша, не скрывая досады. — Кому горе, а кому счастье.

— Шутка ли, полторы тысячи рублей, — сказала тетка.

— Больше, — подтвердила Дуниша. — Ну, свечку поставишь, десятикопеечную Миколу, — говорила Дуниша намершино. — Что, не опомнишься? И добро бы бедному! А то у него и своих много.

Дутлов наконец понял, что это была не шутка, и стал собирать и укладывать в конверт деньги, которые он разложил было считать; но руки его дрожали, и он все взглядывал на девушек, чтоб убедиться, что это не смех.

— Вишь, не опомнится — рад, — сказала Дуниша, показывая, что она все-таки презирает и мужика и деньги. — Дай я тебе уложу.

И она хотела взять. Но Дутлов не дал; он скомкал деньги, засунул их еще глубже и взялся за шапку.

— Рад?

— И не знаю, что сказать! Вот точно...

Он не договорил, только махнул рукой, ухмыльнувшись, чуть не заплакал и вышел.

Колокольчик зазвонил в комнате барыни.

— Что, отдала?

— Отдала.

— Что же, очень рад?

— Совсем как сумасшедший стал.

— Ах, позови его. Я спрошу у него, как он нашел. Позови сюда, я не могу выйти.

Дуниша побежала и застала мужика в сенях. Он, не надевая шапки, вытянул конюшь и, перетнувшись, развязывал его, а деньги держал в зубах. Ему, может быть, казалось, что, пока деньги не в кошельке, они не его. Когда Дуниша позвала его, он испугался.

— Что, Авдотья... Авдотья Николаевна. Аги назад отобрать хочешь? Хоть бы вы заступились, ей-богу, а я медку вам принесу.

— То-то! Принесли.

Опять отворилась дверь, и повел мужика к барыне. Не весело ему было. «Ох, потянет назад!» — думал он, почему-то, как по высокой траве, подымая всю ногу и стараясь не стучать лангитми, когда проходил по комнате. Он ничего не понимал и не видел, что было вокруг него. Он проходил мимо зеркала, видел цветы какие-то, мужик какой-то в лаптях ноги задирает, барин с глазами

ном написан, кака-то калушка зеленая и что-то белое... Глядь, заговорил это что-то белое: это барыня. Ничего он не разобрал, только глаза выкачивал. Он не знал, где он, и все представлялось ему в тумане.

— Это ты, Дутлов?

— Я-с, сударыня. Как было, так и не трогал, — сказал он. — Я не рад, как перед богом! Как лошадь замучил...

— Ну, твое счастье, — сказала она с презрительно-доброю улыбкой. — Возьми, возьми себе.

Он только тарачил глаза.

— Я рада, что тебе досталось. Дай бог, чтобы впрок пошло! Что же, ты рад?

— Как не рад! Уж так-то рад, матушка! Все за вас богу молить буду. Я уж так рад, что слава богу, что барыня наша жива. Только и вины моей было.

— Как же ты нашел?

— Значит, мы для барыни всегда могли стараться по чести, а не то что...

— Уж он совсем запутался, сударыня, — сказала Дуниша.

— Возил рекрута-племянника, назад ехал, на дороге и нашел. Поликей, должно, нечаянно выронил.

— Ну, ступай, ступай, голубчик. Я рада.

— Так рад, матушка! — говорил мужик.

Потом он вспомнил, что он не благодарил и не умел обойтись, как следовало. Барыня и Дуниша улыбались, а он опять запнулся, как по траве, и насилу удерживался, чтобы не побежать рысью. А то все казалось ему вот-вот еще останоят и отнимут...

XIV

Выбравшись на свежий воздух, Дутлов отошел с дороги к ливкам, даже распоясался, чтобы ловчее достать конюшь и стал укладывать деньги. Губы его шевелились, вытпывались и растптывались, хотя он и не произносил ни одного звука. Уложив деньги и подогсавшись, он перекрестился и пошел, как пьяный, колеси по дорожке: так он был занят мыслями, хлынувшими ему в голову. Вдруг увидел он перед собой фигуру мужика, шедшего ему навстречу. Он кивнул: это был Ефим, который, с дубинкой, кирюльщиком ходил около флигеля.

— А, дядя Семен,— радостно проговорил Ефимка, подходи ближе. (Ефимке жутко было одному.) — Что, связли рекрутов, дялюшка?

— Связли. Ты что?

— Да тут Ильича удавленного караулить поставили.

— А он где?

— Вот, на чердаке, говорит, висит,— отвечал Ефимка, дубиной показывая в темноте на крышу флигеля.

Дутлов посмотрел по направлению руки и, хотя ничего не увидал, поморщился, прищурился и покачал головой.

— Становой приехал,— сказал Ефимка,— сказывал кучер. Сейчас снимать будут. То-то страсть ночью, дялюшка. Ни за что не пойду ночью, коли велит идти наверх. Хоть до смерти убей меня Егор Михайлыч, не пойду.

— Грех-то, грех-то какой! — повторил Дутлов, видимо, для приличия, но вовсе не думая о том, что говорил, и хотел идти своею дорогой. Но голос Егора Михайловича остановил его.

— Эй, караульщик, ноги сюда,— кричал Егор Михайлович с крыльца.

Ефимка откликнулся.

— Да кто еще там с тобой мужик стоял?

— Дутлов.

— И ты, Семен, или.

Приблизившись, Дутлов рассмотрел при свете фонаря, который нес кучер, Егора Михайловича и низенького чиновника в фуражке с кокардой и в шинели: это был становой.

— Вот и старик с нами пойдет,— сказал Егор Михайлович, увидав его.

Старика покоробило; но делать было нечего.

— А ты, Ефимка, малый молодой, беги-ка на чердак, где повесился, лестницу поправить, чтоб их благо родню пройти.

Ефимка, ни за что не хотевший подойти к флигелю, побежал к нему, стуча лаптями, как бревнами.

Становой выскочил огня и закурил трубку. Он жил в двух верстах и был только что жестоко распечен исправником за пьянство и потому теперь был в припадке усердия: приехав в десять часов вечера, он хотел немедленно осмотреть удавленного. Егор Михайлович спросил Дут-

лова, зачем он здесь. Дорогой Дутлов рассказал приказчину о найденных деньгах и о том, что барыня сделала. Дутлов сказал, что он пришел позволения Егора Михайлыча спросить. Приказчик, к ужасу Дутлова, потребовал конвент и посмотрел его. Становой тоже взял конвент в руки и коротко и сухо спросил о подробности.

«Ну, пропали деньги», — подумал Дутлов и стал уже напугиваться. Но становой отдал ему деньги.

— Вот счастье сиволопому! — сказал он.

— Ему на руку,— сказал Егор Михайлович,— он только племянника в ставку связ; теперь выкупит.

— А! — сказал становой и пошел вперед.

— Выкупить, что ль, Илюшку-то? — сказал Егор Михайлович.

— Как его выкупить-то? Денег хватит ли? А можь, и не время.

— Как знаешь,— сказал приказчик, и оба пошли за становым.

Они подошли к флигелю, в сенях которого вонючие караульщики ждали с фонарем. Дутлов шел за ними. Караульщики имели виноватый вид, который мог отнестись разве только к произведенному ими запаху, потому что они ничто дурного не сделали. Все молчали.

— Где? — спросил становой.

— Здесь,— шепотом сказал Егор Михайлович.— Ефимка,— прибавил он,— ты малый молодой, пошел вперед с фонарем!

Ефимка, уж поправив наверху половицу, казалась, потерял весь страх. Шагая через две и три ступени, он в веселым лицом пошел вперед, только отглядываясь и омыцая фонарем дорогу становому. За становым шел Егор Михайлович. Когда они скрылись, Дутлов, поставив ун одну ногу на ступеньку, вздохнул и остановился. Прошли минуты две, шаги их затихли на чердаке; видно, они подошли к телу.

— Дядя! тебя зовут! — крикнул Ефимка в дыру.

Дутлов полез. Становой и Егор Михайлович видны были при свете фонаря только верхнею своею частью на балкой; за ними стоял еще кто-то спиной. Это был Подликей. Дутлов перелез через балку и, крестясь, остановился.

— Поверни-ка его, ребята,— сказал становой.

Никто не тронулся.

— Ефимка, ты малый молодой, — сказал Егор Михайлович.

Малый молодой перешагнул через бабку и, переворачивая Ильяча, стал подде, самым веселым взглядом поглядывая то на Ильяча, то на начальство, как показывающий альбиноску или Юлию Пастрану глядит то на публику, то на свою показываемую штучку и готовый исполнить все желания зрителей.

— Еще поверни.

Ильяч еще повернулся, замахаля слегка руками и поволоком ногой по песку.

— Берись, снимай.

— Отрубить прикажете, Василий Борисович? — сказал Егор Михайлович. — Топор подайте, братцы.

Караульщикам и Дутлову надо было приказать раз два, чтоб они приступили. Малый же молодой обращался с Ильячом, как с бараньей тушей. Наконец отрубил веревку, сняли тело и покрыли. Становой сказал, что завтра придет лекарь, и отпустил народ.

XV

Дутлов, шевеля губами, пошел к дому. Сначала было ему жутко, но по мере того как он приближался к деревне, чувство это проходило, а чувство радости больше и больше проникало ему в душу. На деревне слышались песни и пьяные голоса. Дутлов никогда не пил и теперь пошел прямо домой. Уж было поздно, как он вошел в избу. Старуха его спала. Старший сын и внучки спали на печке, второй сын в чулане. Одна Илюшкина баба не спала и в грядной, неправадной рубашке, простовологая, сидела на лавке и выгла. Она не вышла отворить дверь, а только пуще стала выть и приговаривать, как только он вошел в избу. По мнению старухи, она причитала очень складно и хорошо, несмотря на то, что, по молодости своей, не могла еще иметь практики.

Старуха встала и собирала ужинать мужку. Дутлов прогнал Илюшкину бабу от стола. «Буде, буде!» — сказал он. Аксиныя встала и, прилепши на лавку, не переставала выть. Старуха молча набрала на стол и потом убрала. Старик тоже не сказал ни одного слова. Помогившись богу, он рыгнул, умыл руки и, захватив с гвозди счета, пошел в чулан. Там он сначала пошептал со ста-

рухой, потом старуха вышла, а он стал щелкать счетами, наконец стукнул крышкой сундука и полег в подполье. Дутло возился он в чулане и в подполье. Когда он вошел, и баба уже было темно, лучина не горела. Старуха, днем обыкновенно тихая и неслышная, уже завалилась на полкати и хрипела на всю избу. Шумливая Илюшкина баба тоже спала и неслышно дышала. Она спала на лавке не раздевшись, как была, и ничего не подостлав под голову. Дутлов стал молиться, потом посмотрел на Илюшкину бабу, покачал головой, потушил лучину, еще рыгнул, полег на печку и лег рядом с мальчиком-внуком. В темноте он покидал сверху лавки и лег на спину, глядя на перемет над печкой, чуть видневшийся над его головой, и прислушиваясь к тараканам, шуршавшим по стене, ко вздохам, хрипенью, чесанью ноги об ногу и к шумам скотины на дворе. Ему долго не спалось; взошел месяц, светлее стало в избе, ему видно стало в углу Аксиныю и что-то, чего он разобрать не мог: армяк ли сын забыл, или калушкин бабы поставили, или стоит кто-то. Задремав он или нет, но только он стал опять глядываться... Видно, тот мрачный дух, который навел Ильяча на страшное дело и которого близость чувствовали дворовые в эту ночь, — видно, этот дух достал крышом и до деревьев, до избы Дутлова, где лежали те деньги, которые он употребил на нагубу Ильяча. По крайней мере, Дутлов чувствовал *его* тут, и Дутлову было не по себе. Ни спать, ни встать. Увидев что-то, чего не мог он определить, он вспомнил Илюху с связанными руками, вспомнил лицо Аксиныи и ее складное причитанье, вспомнил Ильяча с качающимися кистями рук. Вдруг старуху показалось, что кто-то прошел мимо окна. «Что это, или уж староста повецать идет?» — подумал он. «Как это он отпер? — подумал старик, слыша шаги в сенях. — Или старуха не задожила, как выходила в сенях?» Собака завывала на задворке, а он шел по сеням, как потом рассказывал старик, как будто искал двери, прошел мимо, стал опять ошупывать по стене, споткнулся на калушку, и она заремега. И опять он стал ошупывать, точно скобку искал. Вот взглянул за скобку. У старика дронь пробежала по телу. Вот дернул за скобку и вошел в человеческом образе. Дутлов знал уже, что это был он. Он хотел сотворить крест, но не мог. Он подошел к столу, на котором лежала скатерть, дернул ее, бросил на пол и

полез на печь. Старик узнал, что *он* был в Ильичовом образе. *Он* оскалился, руки болтались. *Он* влез на печь, навалился прямо на старика и начал душить.

— Мои деньги,— выговорил Ильич.

— Отпусти, не буду,— хотел и не мог сказать Семен. Ильич душил его всю тяжестью каменной горы, напирая ему на грудь. Дутлов знал, что, ежели он прочтет молитву, *он* отпустит его, и знал, какую надо прочесть молитву, но молитва эта не выговаривалась. Внук спал рядом с ним. Мальчик закричал пронзительно и заплакал: дед придавил его к стене. Крик ребенка освободил уста старика. «Да воскреснет бог»,— проговорил Дутлов. *Он* отпустил немного. «И расточается ярази...» — шамкал Дутлов. *Он* сошел с печи. Дутлов слышал, как стукнула *он* обеими ногами о пол. Дутлов всё читал молитвы, которые были ему известны, читал все подряд. *Он* пошел к двери, миновал стол и так стукнул дверью, что изба задрожала. Все спали, однако, кроме деда и внука. Дед читал молитвы и дрожал всем телом, внук плакал, засыпая, и жался к деду. Все опять затихло. Дед лежал не двигаясь. Петух прокричал за стеной под ухом Дутлова. *Он* слышал, как куры зашевелились, как молодой петушок попробовал закричать вслед за старым и не сумел. Что-то зашевелилось по ногам старика. Это была кошка: она прыгнула на мягкие лапки с печи наземь и стала мяукать у двери. Дед встал, поднял окно; на улице было темно, грязно; передок стоял тут же под окном. *Он* босиком, крестясь, вышел на двор к дошадям; и тут было видно, что *гозали* приходил. Кобыла, стоявшая под навесом у обреза, запуталась ногой в повод, просыпала мякину и, подняв ногу, закрутив голову, окинула хозяйина. Жеребенок завалился в навоз. Дед поднял его на ноги, распутал кобылу, заложил корму и пошел в избу. Старуха поднялась и зажгла лучину. «Буди ребят,— сказал он,— в город поеду»,— и, зажгши восковую свечку от образов, полез с ней в подполье. Уж не у одного Дутлова, а у всех соседей зажглись огни, когда он вышел отсюда. Ребята встали и уже собирались. Бабы входили и выходили с ведрами и шайками молока. Игнат заприг телегу. Второй сын мазал друтку. Молодая уже не выла, но, убранный и повязавшись платком, сидела в избе на давке, ожидая времени ехать в город проститься с мужем.

Старик казался в особенности строг. Никому он не позволил ни одного слова, надев новый кафтан, подпоясал к Егору Михайловичу.

— Ты у меня конайся! — крикнул он на Игната, вертешнего колеса на подпятной и смазанной оси. — Сейчас приду. Чтобы готово было!

Приказчик, только что встав, пил чай и сам собиравался в город ставить рекрут.

— Что ты? — спросил он.

— Я, Егор Михайлыч, малого выкупить хочу. Уж сделайте милость. Вы намерен говорить, что в городе охотника знаете. Научите. Наше дело темное.

— Что ж, передумал?

— Передумал, Егор Михайлыч: жалко, братнин сын. Какой ни на есть, все жалко. Греха от них много, от дедов от этих. Уж сделайте милость, научи,— говорил он, кланяясь в пояс.

Егор Михайлович, как и всегда в таких случаях, глубококомысленно и молча чмокал долго губами и, обдумав дело, написал две записки и расказал, что и как надобно делать в городе.

Когда Дутлов вернулся домой, молодая уже уехала с Игнатом, и чагала брюхастая кобылка, совсем заприканная, стояла под воротами. *Он* выломил хворостину на забора; запахнувшись, уселся в ялице и потянул дошидь. Дутлов гнал кобылу так шибко, что у ней сразу пропало все брюхо, и Дутлов уже не глядел на нее, чтобы не разжалобиться. Его мучила мысль, что он опоздает как-нибудь к ставке, что Илюха пойдет в солдаты и чертвы деньги останутся у него на руках.

Не стану подробно описывать всех похаживаний Дутлова в это утро; скажу только, что ему особенно пострастились. У хозяйина, которому Егор Михайлович дал липнику, был совсем готовый охотник, проживший уже двадцать три целковых и уже одобренный в палате. Хозяйин хотел взять за него четвереста, а покупщик, мешанин, ходивший уже третью неделю, все просил уступить за триста. Дутлов кончил дело с дух слов. «Триста с четвертью возьмешь?» — сказал он, протягивая руку, но с таким выражением, что сейчас же было видно, что он готов еще добавивать. Хозяйин отгипивал руку и продолжал просить четверста. «Не возьмешь с четверт-

ной?» — повторил Дутлов, схватывая левою рукою правую руку хозяина и утробная хлопнуть по ней своею правою. «Не возьмешь? Ну, бог с тобой!» — вдруг проговорил он, ударив по руке хозяина и с размаху повернувшись от него всем телом. «Видно, так и были! Бери с полсотней. Выправный фитанец. Бери малого-то. А теперь на задатку. Две красненьких будет, что ль?»

И Дутлов распонялся и доставал деньги.

Хозяин хотя и не отнимал руки, но все еще как будто бы не совсем соглашался, и, не принимая задатку, выговаривал магарычи и утощение охотнику.

— Не грехи, — повторил Дутлов, суя ему деньги, — умирять будем, — повторил он таким кротким поучительным и уверенным тоном, что хозяин сказал:

— Нечего делать, — еще раз ударил по руке и стал молиться богу. — Дай бог час, — сказал он.

Разбудили охотника, который спал еще со вчерашнего перепоя, для чего-то осмотрели его и пошли все в правление. Охотник был весел, требовал опохмелиться рому, на который дал ему денег Дутлов, и заробел только в ту минуту, когда они стали входить в сени присутствия. Долго стояли тут в сенях старик хозяин в синей синбирке и охотник в коротеньком полушубке, с поднятыми бровями и вытаращенными глазами; долго они тут перешептывались, куда-то просились, кого-то искали, зачем-то перед всяким писцом снимали шапки и кланялись и глубокомысленно выслушивали решение, вынесенное знакомым хозяину писцом. Уже всякая надежда окончить дело нынче была оставлена, и охотник начинал было опять становиться веселее и развязнее, как Дутлов увидал Егора Михайловича, тотчас же выплился в него и начал просить и кланяться. Егор Михайлович помог так хорошо, что часу в третьем охотника, к великому его неудовольствию и удивлению, ввели в присутствие, поставили в ставку и с общию почему-то веселостью, начав от сторожей до председателей, раздели, обрили, одели и выпустили за двери, и через пять минут Дутлов отсчитал деньги, получил квитанцию и, протискиваясь с хозяином и охотником, пошел на квартиру к купцу, где стояли рекруты из Покровского. Илья с молодой женой сидели в углу купцовою кухни, и как только вошел старик, они перестали говорить и устались на него с покорным и недоброжелательным выражением. Как всегда,

старик помогился богу, распоясаясь, достал какую-то бумагу и позвал в избу старшего сына Игната и Илюшину мать, которая была на дворе.

— Ты не грехи, Илюха, — сказал он, подходя к племяннику. — Вечор ты мне такое слово сказал... Разве я тебя не жалею? Я помню, как мне тебя брат приказывал. Кабы была моя сила, разве я тебя бы отдал? Бог дал святости, я не покажусь. Вот она, бумага-то, — сказал он, выйдя квитанцию на стол и бережно расправляя ее кринами, неразгабачившимися пальцами.

В избу вошли со двора все покровские мужики, купоны работники и даже посторонний народ. Все догадывались, в чем дело; но никто не прерывал торжественной речи старика.

— Вот она, бумажка-то! Четыреста целковых отдал. Не кори дядю.

Илюха встал, но молчал, не зная, что сказать. Губы его вздрогивали от волнения; старуха мать подошла было к нему, всхлипывая, и хотела броситься ему на шею; но старик медленно и повелительно отвел ее рукою и продолжал говорить:

— Ты мне вчера одно слово сказал, — повторил еще раз старик, — ты меня этим словом как ножом в сердце надрнул. Твой отец мне тебя, умиравши, приказывал, ты мне вместо сына родного был, а коли я тебя чем обидел, все мы в грехе живем. Так ли, православные? — обратились он к стоявшим вокруг мужикам. — Вот и матушка твоя родная тут и хозяйка твоя молодая, вот вам фитанец. Бог с ними, деньгами! А меня простите, Христа ради.

И он, заворотив полу армяка, медленно опустился на колени и поклонился в ноги Илюшке и его хозяйке. Напрасно удерживали его молодые: не пражде, как догрозившись головою до земли, он встал и, отряхнувшись, шел на двок. Илюшкина мать и молодаякя вышли от радости; в голове слышалась голоса одобрения. «По правде, по-божьему, так-то», — говорил один. «Что деньги? За деньги малого не купишь», — говорил другой. «Радость-то наша», — говорил третий, — справедливый человек, одно слово». Только мужики, назначенные в рекруты, ничего не говорили и неслышно вышли на двор.

Через два часа две телеги Дутловых выезжали из предместья города. В первой, запряженной чалого кобы-

лой с подведенным животом и потною шеей, сидел старик и Игнат. В задке тряслись связки котелок и кагачи. Во второй телеге, которою никто не правил, степенно и счастливо сидели могодайка с севкравью, обвязанные платочками. Могодайка держала под занавеской штрофчик. Илюшка, скорчившись, задом к лошади, с раскрасневшимся лицом, трясся на передке, закусывая кагачом и не переставая раговаривать. И голова, и гром телег по мостовой, и пофыркивание лошадей — все сливалось в один веселый звук. Лошади, помахивая хвостами, всё прибавляли рыси, чуя направление к дому. Прохожие и проезжие невольно оглядывались на веселую семью.

На самом выезде из города Дутловы стали обгонять партию рекрутов. Группа рекрутов стояла кружком около питейного дома. Один рекрут, с тем неестественным выражением, которое дает человеку бритый лоб, сдвинув на затылок серую фуражку, бойко трепал в балагайку; другой, без шанки, со штэфом водки в одной руке, плысал в середине кружка. Игнат остановил лошадь и слез, чтобы закрутить тяж. Все Дутловы стали смотреть с любопытством, одобрением и веселостию на плывавшего человека. Рекрут, казалось, не видал никого, но чувствовал, что дивнилася на него публика все увеличивается, и это придавало ему силы и ловкости. Рекрут плысал бойко. Брови его были нахмурены, румяное лицо его был неподвижно; рот остановился на улыбке, уже давно потерявшей выражение. Казалось, все силы души его были направлены на то, чтобы как можно быстрее становить одну ногу за другой то на каблук, то на носок. Иногда он вдруг останавливался, подмигивал балагайчику, и тот еще бойчее начинал дребезжать всеми струнами и даже постукивать по крышке костышками пальцев. Рекрут останавливался, но и оставаясь неподвижным, он все, казалось, плысал. Вдруг он начал медленно двигаться, потряхивая плечами, и вдруг завывался кверху, с разлету садился на корточках и с диким видом пускался вприсядку. Мальчишки смеялись, женщины покачивали головою, мужичины одобрительно улыбались. Старый унтер-офицер спокойно стоял подле плывущего с видом, говорившим: «Вам это в диковинку, а нам уже все это коротко знакомо». Балагаечник, видимо, устал, лениво отлянул, сделал какой-то фальшивый аккорд и вдруг стукнул пальцами о крышку, и пляска кончилась.

— Эй! Алеха! — сказал балагаечник плывавшему, указывая на Дутлова. — Вон крестный-то!

— Где! Друг ты мой любезный! — закричал Алеха, тот самый рекрут, которого купил Дутлов, и, усталыми ногами падап наперед и подымая над головою штроф водки, подвинулся к телеге.

— Мишка! Стакан! — закричал он. — Хозяин! Друг ты мой любезный! Вот радость-то право!.. — вскричал он, напиваясь пьяною головою в телегу, и начал угощать мужиков и баб водкою. Мужики выпили, бабы отказались. — Родные вы мои, чем мне вас одарить? — воскликнул Алеха, обнимая старух.

Торговка с закусками стояла в толпе. Алеха увидал ее, выхватил у ней лоток и весь высыпал в телегу.

— Небось, заплачу-у-у, черт! — завопил он плавающим голосом и тут же, вытаскив из шаровар кисет с деньгами, бросил его Мишке.

Он стоял, облокотившись на телегу, и влажными глазами смотрел на сидевших в ней.

— Матушка-то которая? — спросил он. — Ты, что ль? И ей пожервую.

Он задумался на мгновение и погез в карман, достал новый сложенный платок, положенце, которым он был подпоясан под шинелью, торопливо снял с шеи красивый платок, скомкал все и сунул в колени старухе.

— На тебе, жертвую, — сказал он голосом, который становился все тише и тише.

— Зачем? Спасибо, родный! Вишь, простый малый такой, — говорила старуха, обращаясь к старику Дутлову, подождеднему к их телеге.

Алеха совсем замолк и, осовевый, как будто засыпая, поинкал все ниже и ниже головой.

— За вас иду, за вас погибаю! — проговорил он. — За то вас и дарую.

— А чай, тоже матушка есть, — сказал кто-то из толпы. — Простый малый какой! Беда!

Алеха поднял голову.

— Матушка есть, — сказал он. — Батюшка родимый есть. Все меня отрешились. Слушай ты, старая, — прибил он, хватая Илюшкину старуху за руку. — Я тебя одарил. Послушай ты меня, ради Христа. Ступай ты в село Водное, спроси ты там старуху Николону, она сама моя матушка родимая, чуешь, и скажи ты старухе

этой самой, Никоновой старухе, с краю третья изба, ко-
лодезь новый... скажи ты ей, что Агеха, сын твой... зна-
чит... Музыкани! Валяй! — крикнул он.

И он опять стал пливать, приговаривая, и швырнул
об землю штоф с оставшеюся водкой.

Игнат взлез на телегу и хотел тронуть.

— Прощай, дай бог тебе! — проговорила старуха,
запахивая шубу.

Агеха вдарил остановилась.

— Поезжайте вы к Дьяволу, — закричал он, утробно
стиснутыми кулаками. — Чтоб твоей матери...

— Ох, господи! — проговорила, крестясь, Илюшкина
мать.

Игнат тронул кобылу, и телеги снова застучали.
Алексей-рекрут стоял посредине дороги и, стиснув ку-
лаки, с выражением ярости на лице, ругал мужиков что
было мочи.

— Что стагил? Пошел! Дьяволы, людоеды! — кричал
он. — Не уйдешь моей руки! Черти! Лапотники!..

С этим словом голос его оборвался, и он, как стоял,
со всех ног ударился оземь.

Скоро Дуговы выехали в поле и, оглядываясь, уже
не видали толпы рекрут. Проехав верст пять шагом,
Игнат слез с отцовской телеги, на которой заснул ста-
рик, и пошел рядом с Илюшкиной.

Двоем выехали они штофчик, взятый из города. Не-
много погоды Илья заплел песни, бабы подтянули ему.
Игнат весело покривлял на лошади в дяд песни. Быстро
навстречу промчалась веселая перекладная. Ямщик бойко
крикнул на лошадей, поранившись с двумя веселыми
телегами; почталон отпрянул и подмигнул на красивые
лица мужиков и баб, с веселою песней триспихся в те-
деге.

1863



ХОЛСТОМЕР

История лошади

ГЛАВА I

Посвящается памяти
М. А. Сталовой!

Все выше и выше поднималось небо, шире
расплывалась заря, белее становилось ма-
товое серебро росы, безжизненнее становил-
ся серп месяца, звучнее — лес, люди начи-
нали подниматься, и на барском конном
дворе чаще и чаще слышалось фырканье,

¹ Сюжет этот был задуман М. А. Стаховичем, автором «Нощо-

возня по соломе и даже сердитое взгляливое ржанье столпившихся и повздоривших за что-то лошадей.

— Но-о, успешь! прогододались! — сказал старый табунщик, отворяя скрипящие ворота. — Куда! — крикнул он, замахиываясь на кобылку, которая сунулась было в ворота.

Табунщик Нестер был одет в казакки, подпоясанный ремнем с набором, кнут у него был захлестнут через плечо, и хлеб в полотence был за поясом. В руках он нес седло и уздечку.

Лошади нисколько не испугались и не оскорбились наשמеливым тоном табунщика, они сделали вид, что им все равно, и неторопливо отошли от ворот, только одна старая караковай гривастая кобыла приложила ухо и быстро повернулась задом. При этом случае молодая кобылка, стоявшая сзади и до которой это вовсе не касалось, взвизгнула и поддала задом первой попавшейся лошади.

— Но-о! — еще громче и грознее закричал табунщик и направился в угол двора.

Из всех лошадей, находившихся на пярке (их было около сотни), меньше всех нетерпения показывал петий мерин, стоявший одиноко в углу под навесом и, прищурив глаза, лизавший дубовую соху сараи. Незавестно, какой вкус находил в этом петий мерин, но выражение его было серьезно и задумчиво, когда он это делал.

— Балуй! — опять тем же тоном обратился к нему табунщик, подходя к нему и глядя на навоз подде него седло и залоснившийся потник.

Петий мерин перестал лизать и, не шевельясь, долго смотрел на Нестера. Он не зазмеялся, не рассердился, не нахмурился, а понес только всем животом и тязею, тязею вздохнул и отвернулся. Табунщик обнял его шею и надел уздечку.

— Что вздыхаешь? — сказал Нестер.

Мерин взмахнул хвостом, как будто говорил: «Так ничего, Нестер». Нестер положил на него потник и седло, причем мерин приложил уши, вырвакая, должно быть, свое неудовольствие, но его только выбрали за это дрянью и стали стегивать подпруги. При этом мерин на-

двинулся, но ему всунули палец в рот и ударили коленом и живот, так что он должен был выпустить дух. Несмотря на то, когда зубом подтыгивали трок, он еще раз приложил уши и даже оглянулся. Хотя он знал, что это не поможет, он все-таки считал нужным выразить, что ему это неприятно и всегда будет показывать это. Когда он был оседлан, он оставил оидлывшую правую ногу и стал жевать удила, тоже по каким-то особенным соображениям, потому что пора ему было знать, что в удилах не может быть никакого вьуса.

Нестер по короткому стремени въез на мерина, размотал кнут, выпростал из-под колена казакки, уселся на седле особенной, кучерской, охотничьей, табунщицкой посадкой и дернул за поводья. Мерин поднял голову, извивая готовность идти, куда прикажут, но не тронулся с места. Он знал, что, прежде чем ехать, многое еще нужно кричать, сидя на нем, приказывать другому табунщику Ваське и лошадям. Действительно, Нестер стал кричать: «Васька! а Васька! Маток выпустил, что ль? Куда ты, лешой! Но! Аль спишь. Отворяй, пушай напорю матки пройду!» — и т. д.

Ворота заскрипели, Васька, сердитый и заспанный, держа лошадей в поводу, стоял у верев и продулся лошадей. Лошади одна за одной, осторожно ступая по соломе и обнюхивая ее, стали проходить: молодая кобылка, стригунья, сосучники и тяжелые матки, острожно, по одной, в воротах проноси свои утробы. Молодые кобылки теснились иногда по двое, по трое, глядя друг другу голыми через спины, и торопились ногами в воротах, за что великий раз получали бранные слова от табунщиков. Сосучники бросались к ногам иногда чужих маток и звонко рычали, отзавываясь на короткое голопанье маток.

Молодая кобылка-шалунья, как только выбралась за ворота, загнула вниз и набок голову, занесла задом и лизнула; но все-таки не посмела забежать вперед серой старрой, османной гречкой Жуддыбы, которая тихим, тязеюлым шагом, с боку на бок переваливая брюхо, степенно шла, как всегда, вперед всех лошадей.

За несколько минут столь оживленный полный варок печально опустел; грустно торчали столбы под пустыми напесами, и виднелась одна кимята, унавоженная солома. Как ни привычна была эта картина опустения петому мерину, она, должно быть, грустно поддействовала на не-

го. Он медленно, как бы кланяясь, опустил и поднял голову, вздохнул, насколько ему позволил ступный трок, и, ковыляя своими попутными нерасходившимися ногами, побрег за табуном, унося на своей костлявой спине старого Нестера.

«Знаю: теперь, как выедем на Доролу, он станет высекать огонь и закурит свою деревянную трубочку в медной оправе и с цепочкой.— Думаю мерин.— Я рад этому, потому что рано поутру, с росой, мне приятен этот запах и напоминает много приятного; досадно только, что с трубочкой в зубах старик всегда раскуражится, что-то вообразит о себе и сидит боком, непременно боком; а мне больно с этой стороны. Впрочем, бог с ним, мне не в новостях страдать для удовольствия других. Я даже стал уже находить какое-то лошадиное удовольствие в этом. Пускай его хорохорится, бедняк. Ведь только и храбриться ему одному, пока его никто не видит, пускай сидит боком»,— рассуждал мерин и, осторожно ступая покоробленными ногами, шел посередине дороги.

ГЛАВА II

Пригнав табуна к реке, около которой должны были пастись лошади, Нестер слез и расседлал. Табун между тем уже медленно стал разбираться по не сбитому еще лугу, покрытому росой и паром, поднимавшимся одинаково от луга и от реки, опивавшей его.

Сняв уздечку с пегого мерина, Нестер почесал его подшей, в ответ на что мерин, в знак благодарности и удовольствия, закрыл глаза. «Любит, старый пест!»— проговорил Нестер. Мерин же нисколько не любил этого чesанья и только из деликатности притворялся, что оно ему приятно, он помогал годовой в знак согласия. Но вдруг, совершенно неожиданно и без всякой причины, Нестер, предполагая, может быть, что слишком большая фамиллярность может дать ложные о своем значении мысли пегому мерину, Нестер без всякого приготовления оттолкнул от себя голову мерина и, замахнувшись уздой, очень больно ударил упряжкой узды мерина по сухой ноге и, ничего не говоря, пошел на буторок к пню, около которого он сжигал обыкновенно.

Поступок этот хотя и огорчил пегого мерина, он не

показал никакого вида и, медленно помахивая вылезшим хвостом и приносясь к чему-то и только для расфенили пощипывая траву, пошел к реке. Не обращая никакого внимания на то, что выделяли вокруг него обранные утром молодые кобылки, стригунки и соосунчики, и зная, что здоровее всего, особенно в его лета, прежде напиться хорошенько натопака, а потом уже есть, он выбрал где поудобнее и просторнее берег и, моча коныты и щетку ног, всунул храм в воду и стал сосать воду боками и от удовольствия помахивать наполненным неким хвостом с оголенной реницею.

Бурая кобылка, забывая, всегда дразнившая старика и делавшая ему всякие неприятности, и тут по воде подошла к нему, как будто по своей надобности, но только с тем, чтобы намотить ему воду перед носом. Но ноги уже напился и, как будто не замечая умысла бурой кобылки, спокойно вытаскил одну за другой свои унывшие ноги, отряхнул голову и, отойдя в сторонку от молодежи, принялся есть. На различные манеры отставали ноги и не топая лишней травой, он, почти не разгибаясь, ел ровно три часа. Наевшись так, что брюхо у него повисло, как мешок, на худых крутых ребрах, он установился ровно на всех четырех больших ногах так, чтобы было как можно менее больно, особенно правой передней ноге, которая была слабее всех, и заснул.

Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и галкая и величественная вместе. Старость пегого мерина была именно такого рода.

Мерин был роста большого— не менее двух аршин трех вершков. Мазью он был вороно-перий. Таким он был, но теперь вороные пятна стали грязно-бурого цвета. Покрина его составлялась из трех пятен: одно на голове е кривой, сбоку носа, лысной и до половины шеи. Длинная и засоренная репьями грива была где белая, где буроватая. Другое пятно шло вдоль правого бока и до половины живота; третье пятно на крупе, захватывая верхнюю часть хвоста и до половины локтя. Остаток хвоста был белесоватый, пестрый. Большая костлявая голова с губочками выдвинутыми над глазами и отвисшей, разорванной когда-то черной губой тяжело и низко висела на выгнутой от худобы, как будто деревянной шее.

Из-за отвисшей губы виден был прикушенный на сторуку черноватый язык и желтые остатки съеденных нижних зубов. Уши, из которых одно было разрезано, опущались низко по бокам и изредка только лениво поводились, чтобы спугивать лишних мух. Один клочок еще длинный от челки висел сзади за ухом, открытый лоб был углублен и шершав, на просторных салазках мешками висела кожа. На шее и голове жили связались узлами, вздрагивающими и дрожащими при каждом прикосновении мухи. Выражение лица было строго-терпеливое, глупокомысленное и страдальческое. Передние ноги его были дугой согнуты в коленях, на обоих копытах были наплывы, и на одной, на которой пекнина доходила до половины ноги, около колена была в кулак большая шишка. Задние ноги были свежее; но стертые на дыжках, видимо давно, и шерсть уже не зарастала на этих местах. Все ноги казались несообразно длинны по худобе стана. Ребра, хотя и крутые, были так открыты и обтуплены, что шкура, казалась, присохла к дощичкам между ними. Холка и спина были испещрены старыми побоями, и сзади была еще свежая опухшая и гноившаяся болячка; черная репица хвоста с обозначившимися на ней позвонками торчала длинная и почти голая. На буром крупе, около хвоста, была заросшая белыми волосами, в дадонь, рана, вроде укуса, другая рана-рубец видна была в передней доплатке. Задние колени и хвост были нечисты от постоянного расстройства желудка. Шерсть по всему телу, хотя и короткая, стояла торчком. Но, несмотря на отвратительную старость этой лошади, невольно задумывался, взглянув на нее, а знаток сразу бы сказал, что это была в свое время замечательно хорошая лошадь.

Знаток сказал бы даже, что была только одна порода в России, которая могла дать такую широкую кость, такие громадные мослаки, такие коняты, такую тонкую кость кости ноги, такой постанов шеи, главное, такую кость головы, глаз — большой, черный и светлый, и такие породистые комки жил около головы и шеи, тонкую шкуру и волос. Действительно, было что-то величественное в фигуре этой лошади и в страдном соединении в ней оттапливающих признаков дряхлости, усиленной пестротой шерсти, и приемов и выражения самоуверенности и спокойствия сознательной красоты и силы.

Как живая развалина, он стоял одиноко посередки

ростного дуга, а недалеко от него слышался топот, фарианье, молодое ржанье, взвизгиванье рассыпавшегося табуна.

ГЛАВА III

Солнце уже выбрагось выше леса и ярко блестело на траве и извивах реки. Роса обсыхла и собиралась каплями, кое-где, около болотца и над лесом, как дымок, расходился последний утренний пар. Тучки кудрявились, но ветру еще не было. За рекой щетинкой стояла зеленая, свергивавшаяся в трубку рожь, и пахло онойкой зеленою и цветом. Кучушка кучовала с прикрикиваньем из леса, и Нестер, развалившись на спину, считал, сколько лет ему еще жить. Жаворопки поднимались над рожью и дугом. Запоздалый заяц попался между табуна и, выскочив на простор, сел у куста и прищипывался. Васька задремал, уткнув голову в траву, кобылки еще просторнее, обойдя его, рассыпались по полю. Старые, пофыркивая, проглядывали по росе светлый следок и всё выбирали такое место, где бы никто не мешал им, но уж не ели, а только закусьивали вкусами травками. Весь табун незаметно подвигался в одном направлении. И опять старая Жулдыба, степенно выступив впереди других, показывала возможность идти дальше. Молодая, в первый раз ожеребившаяся, вороная Мучка беспрестанно гототага и, подняв хвост, фыркала на своего лиловенького сосуничка, который, дрожжа коленями, ковылял около ней. Каракочая холостая Ласточка, как атласная, гладкая и блестящая шерсть, опустив голову так, что черная шелковистая челка закрывала ей лоб и глаза, играла с травой — ципнет и бросит и стукнет мокрой от росы ногой с пушистой щеткой. Один из стирших сосуничков, должно быть воображая себе какую-нибудь игру, уже двадцать шесть раз, подняв панашем коротенький кудрявый хвостик, обскакал крупом своей матки, которая спокойно цингала траву, успев уже прикинуть к характеру своего сына, и только изредка носилась на него большим черным глазом. Один из самых маленьких сосунов, черный, головастый, с удлиненой торчащей между ушами челкой и хвостиком, свернутым еще на ту сторону, на которую он был загнут в брухе матери, уставив уши и тупые глаза, не двигаясь с места,

пристально смотрел на сосуна, который скакал и питился, неизвестно, завидя или осуждая, зачем он это делает. Которые сосут, подтагивая носом, которые, неизвестно почему, несмотря на зовы матерей, бегут маленькой, неговякой рысцой прямо в противоположную сторону, как будто отыскивая что-то, и потом, неизвестно для чего, останавливаются и ржут отчаянно-пронзительным голосом; которые лежат боком вываляку, которые учатся есть траву, которые чешутся задней ногой за ухом. Две еще жеребые кобылы ходят отдельно и, медленно передвигая ноги, все еще едят. Видно, что их положенно уважаемо другими, и никто из молодежи не решается подходить и мешать. Ежели и вздумает кака-нибудь шалуныя подойти близко к ним, то одного движенья уха и хвоста достаточно, чтобы показать им всю неприличность их поведения.

Стригульки, годовалые кобылки притворяются уж большими и степенными и редко подпрыгивают и ездят с веселыми компаниями. Они чинно едят траву, выгибая свои лебединые стриженные шейки, и, как будто у них тоже есть хвосты, помахивают своими венчиками. Так же, как большие, некоторые ложатся, катаясь или чешут друг друга. Самая веселая компания составляетя из двухлеток-трехлеток и холостых кобыл. Они ходят почти все вместе и отдельно веселой девичьей гурьбой. Между ними слышится топот, завизгиванья, ржанье, брыканье. Они сходятся, кладут головы друг другу через плечи, обнюхиваются, прыгают и иногда, всхрипнув и подняв трупой хвост, подумывая, подгурдопотою гордо и кокетливо пробегают перед товарками. Первой красавицей и затейницей между всей этой молодежи была шалуныя бурая кобылка. Что она затеяла, то делала и другие; куда она шла, туда за ней шла и вся гурьба красавиц. Шалуныя была в особенно игривом расположенье в это утро. Веселый стих нашел на нее так, как он находил и на людей. Еще на волнопе, подшутив над стариком, она побежала вдоль по воде, притворившись, что испугалась чего-то, хранила и во все ноги понеслась в поле, так что Васыка должен был скакать за ней и за другими, увязавшимися за ней. Потом, поев немного, она начала вылезаться, потом дразнить старух тем, что заходила вперед их, потом отбила одного сосуника и начала бегать за ним, как будто желая укусить его. Мать

испугалась и бросила есть, сосуничек кричал жалким голосом, но шалуныя ничем даже не тронула его, а только понукала его и доставила зрелище товаркам, которые в сочувствии смотрели на ее проделки. Потом она затеяла вскружить голову чагой лошадке, на которой далеко за рекой по ржам проезжал мужичок с сохой. Она остановилась, гордо, несколько набок, подняла голову, всхрикнулась и заржала сладким, нежным и протяжным голосом. И шалость, и чувство, и некоторая грусть вырвались в этом ржанье. В нем было и желанье, и обещанье любви, и грусть по ней.

Вон дергач, в густом тростнике, перебегая с места на место, страстно зовет к себе свою подругу, вон и кукушка и перепел поют любовь, и цветы по ветру переваляют свою душистую пыль друг другу.

«И я и молодая, и хороша, и сильна,— говорило ржанье шалуныя,— а мне не дано было до сей поры испытывать сладость этого чувства, не только не дано испытать, но ни один любовник, ни один еще не выдал меня».

И многозначнее ржанье грустно и молодо отозвандось низом и подем и издалека донеслось до чагой лошадки. Она подняла уши и остановилась. Мужик ударил по лаптем, но чагая лошадка была очарована серебряным звуком далекого ржанья и заржала тоже. Мужик расердился, дернул ее вожжами и ударил так лаптем по брону, что она не успела закончить своего ржанья и пошла дальше. Но чагой лошадке стало сладко и грустно, и из далеких ржей долго еще долетали до табуна звуки начатого страстного ржанья и сердитого голоса мужика. Ежели от одного звука этого голоса чагая лошадка могла опаздывать так, что забыла свою должность, что бы было с ней, ежели бы она видела всю красоту шалуныю, как она, насторожив уши, растопырив ноздри, втягивая в себя воздух и куда-то порываясь и дрожа всем своим молодым и красивым телом, звала ее.

Но шалуныя долго не задумывалась над своими впечатлениями. Когда голос чагового замолк, она насмешливо поржала еще и, опустив голову, стала кончать нотой землю, а потом пошла будить и дразнить пегую мерина. Пегий мерин был всегладшим мучеником и шутком этой счастливой молодежи. Он страдал от этой молодежи больше, чем от людей. Ни тем, ни другим он не делал зла. Людям он был нужен, но за что же мучали его молодые лошади?

Он был стар, они были молодые; он был худ, они были сыты; он был скучен, они были веселы. Стало быть, он был совсем чуждой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. Лошади жадеют только самих себя и изредка только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить. Но ведь не виноват же был пегий мерин в том, что он был стар и голец и уродлив?... Как-дось бы, что нет. Но по-лошадному он был виноват, и правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы, те, у которых была все вперед, те, у которых от ненужного напряженья дрожка каждый мускул и колом поднимался хвост вверх. Может быть, что и сам пегий мерин понимал это и в спокойные минуты соглашался, что он виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему надо платить за эту жизнь; но он все-таки был лошадь и не мог удерживаться часто от чувств оскорбленья, грусти и негодованья, глядя на всю эту молодость, казавшуюся ему за то самое, чему все они будут поддежать в конце жизни. Причиной безжалостности лошадей было тоже и аристократическое чувство. Каждый из них веда свою родословную по отцу или по матери от знаменитого Сметанки, пегий же был неизвестно какого рода; пегий был пришлец, купленный три года тому назад за восемьдесят рублей ассигнациями на ярманке.

Бурая кобылка, как будто прогуливаясь, подошла к самому носу пегого мерина и толкнула его. Он уж знал, что это такое, и, не открывая глаз, приложил уши и оскалился. Кобылка повернулась задом и сделала вид, что хочет ударить его. Он открыл глаза и отошел в другую сторону. Спать ему уже не хотелось, и он начал есть. Снова шагунья, сопутствуемая своими подружками, подошла к мерину. Двухлетняя лысая кобылка, очень глупая, всегда подражавшая и во всем следовавшая за бурой, подошла с ней вместе и, как всегда поступают подружки-тещи, начала пересаливать то самое, что делала зачинщица. Бурая кобылка обыкновенно подходила как будто по своему делу и проходила мимо самого носа мерина, не глядя на него, так что он решительно не знал, сёрддиться или нет, и это было действительно смешно. Она сделала это и теперь, но лысая, шедшая за ней и особенно

развеселившаяся, уже прямо грудью ударила мерина. Он снова оскалил зубы, нависнул и с прытью, которую нельзя было ожидать от него, бросился за ней и укусил ее в ляжку. Лысенка ударила всем задом и тяжело ударила старика по худым голым ребрам. Старик захрипел даже, хотел броситься еще, но потом раздумал и, тяжело вздохнув, отошел в сторону. Должно быть, вся молодость табуна приняла за личное оскорбление дерзость, которую позволил себе пегий мерин в отношении лысой кобылки, и весь остальной день ему решительно не давали кормиться и ни на минуту не давали покоя, так что табунык несколько раз унимал их и не мог понять, что с ними случилось. Мерин так был обижен, что сам подошел к Нестеру, когда старик собрался гнать назад табуна, и почувствовал себя счастливей и покойнее, когда его оседлали и сели на него.

Бог знает, о чем думал старик мерин, унося на своей спине старика Нестера. С горячьей ли думал он о неостинчивой и жестокой молодости, или, с свойственной старикам презрительной и молчаливой гордостью, прощад своих обидчиков, только он ничем не проявил своих размышлений до самого дома.

В этот вечер к Нестеру приехали кумовья, и, прогнали табуна мимо дворовых изб, он заметил телегу с лошадью, привязанную к его крыльцу. Загнав табуна, он так поторопился, что, не сняв седла, пустил на двор мерина и, крикнув Ваське, чтоб он расседлал табуного, вышел ворота и пошел к кумовьям. Вследствие ли оскорбления, нанесенного лысой кобылке, Сметанкиной праинючке, «коростовой дрянью», купленной на конной и не знающей отца и матери, и оскорбленного поэтому аристократического чувства всего варка, или вследствие странного фантастического для лошадей зрелища, только на ярке произошло в эту ночь что-то необыкновенное. Все лошади, молодые и старые, с оскаленными зубами бегали на меринном, гоняя его по двору, раздавались звуки копыт об его худые бока и тяжелое крихтение. Мерин не мог более переносить этого, не мог более набегать ударов. Он отпрыгнул посередине двора, на лице его выразилось отчаянное слабое озлобление бессильной старости, потом отчаяние; он приложил уши, и вдруг что-то такое сделал, отчего все лошади вдруг затихли. Подошла самая

старая кобыла Вязоуриха, понюхала мерина и вздохнула. Вздохнул и мерин.

ГЛАВА V

Посередине освещенного луной двора стояла высокая худая фигура мерина с высоким седлом, с торчащей шишкой дуги. Лошади неподвижно и в глубоком молчании стояли вокруг него, как будто они что-то новое, необыкновенное узнали от него. И точно, новое и неожиданный они узнали от него.

Вот что они узнали от него.

Ночь 1-я

— Да, я сын Любезного первого и Бабы. Имя мое по родословной Мужик первый. Я Мужик первый по родословной, я Холстомер по-уличному, прозванный так точною за длинный и размашистый ход, равного которому не было в России. По проихожждению нет в мире лошади выше меня по крови. Я никогда бы не сказал вам этого. К чему? Вы бы никогда не узнали меня. Как не узнавала меня Вязоуриха, бывшая со мной вместе в Хреновом и теперь только признавшая меня. Вы бы и теперь не поверили мне, ежели бы не было свидетельства этой Вязоурихи. Я бы никогда не сказал вам этого. Мне не нужно лошадиное сожаление. Но вы хотели этого. Да, я тот Холстомер, которого отыскивают и не находят охотники, тот Холстомер, которого знал сам граф и сбыл с завода за то, что я обжегал его любимица Лебеда.

Когда я родился, я не знал, что такое значит *неси*, я думал, что я лошадь. Первое замечание о моей шерсти, помню, глубоко поразило меня и мою мать. Я родился, должно быть, ночью, к утру я, уже облизанный матерью, стоял на ногах. Помню, что мне все чего-то хотелось и все мне казалось чрезвычайно удивительно и вместе чрезвычайно просто. Денники у нас были в длинном теплом коридоре, с решетчатыми дверьми, сквозь которые все видно было. Мать подставляла мне соски, а я был так еще

126

неинтересен, что тыкал носом то ей под передние ноги, то под комолу. Вдруг мать оглянулась на решетчатую дверь и, перенесши через меня ногу, посторонилась. Дневной конюх смотрел к нам в денник через решетку.

— Ишь ты, Баба-то ожеребилась,— сказал он и стал отворять задвижку; он возжел по свежей постилке и облизал меня руками.— Глянь-ка, Тарас,— крикнул он,— какой какой, ровно сорока.

Я рванулся от него и спотыкнулся на колени.

— Вишь ты, чертенок,— проговорил он.

Мать обеспокоилась, но не стала защищать меня и, только тижело-тяжело вздохнув, отошла немного в сторону. Пришли конюха и стали смотреть меня. Один пожел облизать конюхему. Все смеялись, глядя на мои нежны, и давали мне разные странные названия. Не только я, но и мать не понимала значения этих слов. До сих пор между нами и всеми моими родными не было ни одного такого. Мы не думали, чтоб в этом было что-нибудь дурное. Сложнее же и силу мою и тогда все хвалили.

— Вишь, какой шустрый,— говорил конюх,— не удержишь.

Через несколько времени пришел конюший и стал удивляться на мой цвет, он даже казался огорченным.

— И в кого такая уродина,— сказал он,— генерал мой теперь не оставит в заводе. Эх, Баба, посадила ты ожеребила, а то вовсе петоро!

Мать мой ничего не отвечала и, как всегда в подобных случаях, опять вздохнула.

— И в какого черта он уродился, точно мужик,— продолжал он,— в заводе нельзя оставить, срам, а хорош, очень хорош,— говорил и он, говорили и все, глядя на меня. Через несколько дней пришел и сам генерал посмотреть на меня, и опять все почему-то ужасался и обрили меня и мою мать за цвет моей шерсти. «А хороши, очень хороши»,— повторил всякий, кто только меня видел.

До весны мы жили в маточной все порознь, какдый при своей матери, только изредка, когда снег на крышах нарков стал уже таять от солнца, нас с матерями стали пускать на широкий двор, усланный свежей соломой. Тут в первый раз я узнал всех своих родных, близких

127

и дальних. Тут из разных дверей я видел, как выходили с своими сосунками все знаменитые кобылы того времени. Тут была старая Голанка, Мушка — Сметанкина дочь, Краснуха, верховая Доброхотиха, все знаменитости того времени, все собиравлись тут с своими сосунками, покачивали по солнышку, катались по свежей соломе и обнюхивали друг друга, как и простые лошади. Вид этого варка, наполненного красавицами того времени, я не могу забыть до сих пор. Вам странно думать и верить, что и я был молод и резв, но это так было. Тут была эта самая Вязоуриха, тогда еще годовалым стригунчиком — милый, веселый и резвой лошадкой; но, не в обиду будь ей сказано, несмотря на то, что она редкостью по крови теперь считается между вами, тогда она была из худших лошадей того пригода. Она сама вам подтвердит это.

Пестрота моя, так не нравившаяся людям, чрезвычайно понравилась всем лошадям; все окружили меня, любовались и заигрывали со мною. Я начал уже забывать слова людей о моей пестроте и чувствовал себя счастливым. Но скоро я узнал первое горе в моей жизни, и причиной его была мать. Когда уже начало таять, воробы чирикали под навесами и в воздухе сильнее начала чувствоваться весна, мать моя стала перемещаться в обращении со мною. Весь нрав ее изменился; то она вдруг без всякой причины начинала играть, бегать по двору, что совершенно не шло к ее почтенному возрасту; то задумывалась и начинала ржать; то кусала и брыкалась в своих сестер-кобыл; то начинала обнюхивать меня и недовольно фыркать; то, выходя на солнце, клала свою голову чрез плечо своей двоюродной сестре Купчихе и долго задумчиво чесала ей спину и отталкивала меня от сосков. Один раз пришел конюшій, велел надеть на нее недоуздок, — и ее повели из денника. Она заржала, я откликнулся ей и бросился за нею; но она и не оглянулась на меня. Конюх Тарас схватил меня в охапку, в то время как затворяли дверь за выведенной матерью, я рванулся, сбил конюха в солому, — но дверь была закрыта, и я только слышал все удалявшиеся ржанье матери. И в ржании этом я уже не слышал призыва, а слышал другое выражение. На ее голос далеко отозвались могущественный голос, как я после узнал, Доброго первого, который с двумя конюхами по сторонам шел на свидан-

ие с моею матерью. Я не помню, как вышел Тарас из моего денника; мне было слишком грустно. Я чувствовал, что навсегда потерял любовь своей матери. И все оттого, что я пел, думал я, вспоминая слова людей о своей шерсти, и такое зло меня взяло, что я стал биться об стены денника головой и коленами — и бился до тех пор, пока не вспотел и не остановился в изнеможении.

Через несколько времени мать вернулась ко мне. Я слышал, как она рысцой и непринятым ходом побегала к нашему деннику по коридору. Ей отворили дверь, я не узнал ее, как она помолодела и похорошела. Она обнюхала меня, фыркнула и начала готовить. По всему выражению ее я видел, что она меня не любила. Она рассказывала мне про красоту Доброго и про свою любовь к нему. Свидания эти продолжались, и между мною и матерью отношения становились холоднее и холоднее.

Скоро нас выпустили на траву. С этой поры я узнал новые радости, которые мне заменили потерю любви моей матери. У меня были подруги и товарищи, мы вместе учились есть траву, ржать так же, как и большие, и, подлая хвосты, скакать кругами вокруг своих матерей. Это было счастливое время. Мне все прощалося, все меня все, что бы я ни сделал. Это продолжалось недолго. Тут скоро случилось со мной ужасное. — Мерин вздохнул тяжело-тяжело и пошел прочь от лошадей.

Заря уже давно занялась. Заскрипели ворота, вошел Пестер. Лошади разошлись. Табушники оправили седло на мерине и выгнал табуш.

ГЛАВА VI

Ночь 2-я

Как только лошади были затганы, они опять столпились вокруг пегого.

— В августе месяце нас разлучили с матерью, — продолжал пегий, — и я не чувствовал особенного горя. Я видел, что мать моя носила уже меньшого моего брата, знаменитого Усана, и я уже не был тем, чем был прежде. Я не ревновал, но я чувствовал, что становился холодней к ней. Кроме того, я знал, что, оставив мать, я поступаю

в общее отделение жеребят, где мы стояли по двое и по трое,— и каждый день всей гурьбой молодежки выходили на воздух. Я стоял в одном деннике с Милым. Милый был верховой, и впоследствии на нем ездил император, и его изображали на картинках и в статуях. Тогда он еще был простой сосунок, с глянцевитой нежной шерстью, лебединой шейкой и, как стружки, ровными и тонкими ногами. Он был всегда весел, добродушен и любознателен; всегда был готов играть, лизаться и подлущить над лошадько или человеком. Мы с ним невольно подружились, живя вместе, и дружба эта продолжалась во все время нашей молодости. Он был весел и легкомыслен. Он тогда уже начинал любить, заигрывал с кобылками и смеялся над моей невинностью. И, на мое несчастье, я из самолюбия стал подражать ему; и очень скоро увлекся любовью. И эта ранняя склонность моя была причиной величайшей перемены моей судьбы. Случилось так, что я увлекся.

Вязопуриха была старше меня одним годом, мы с нею были особенно дружны; но под конец осени я заметил, что она начала дичиться меня... Но я не стану рассказывать всей этой несчастной истории моей первой любви, она сама помнит мое безумное увлечение, окончившееся для меня самой важной переменной в моей жизни. Табушники бросились гонять ее и бить меня. Вечером меня затнали в особый денник; я ржал целую ночь, как будто предчувствуя события завтрашнего дня.

Наутро пришли в коридор моего денника генерал, конюший, конюха и табушники, и начался страшный крик. Генерал кричал на конюшего, конюший оправдывался, что он не велел меня пускать, а что это самовольно сделали конюха. Генерал сказал, что он всех перепорет, а жеребчиков нехотя держат. Конюший обещался, что все исполнит. Они затихли и ушли. Я ничего не понимал, но я видел, что что-то такое замыслилось обо мне.

На другой день после этого я уже навеки перестал ржать, я стал тем, что я теперь. Весь свет изменился в моих глазах. Ничто мне не стало мило, я углубился в себя и стал размышлять. Сначала мне все было по-прежнему. Я перестал даже пить, есть и ходить, а уж об игре

и думать нечего. Иногда мне приходило в голову взбрыкнуть, поскakatь, поржать; но сейчас же представлялся страшный вопрос: зачем? к чему? И последние силы пропадали.

Один раз меня проваживали вечером, в то время как табушники с поля. Я издалека еще увидел облак пыли и неслышными знакомыми очертаниями всех наших маток. И услышал веселое гоготанье и топот. Я остановился, посмотрел на то, что веревка недоуздки, за который меня привлекли конюх, редела мне затылок, и стал смотреть на приближающийся табуш, как смотрят на всегда потерянное и невозвратимое счастье. Они приближались, и я разглядел по одной — все мне знакомые, красивые, величавые, здоровые и сытые фигуры. Кое-кто из них тоже отделился на меня. Я не чувствовал боль от дерганья недоуздки конюха. Я забылся и невольно, по старой привычке, заржал и побежал рысью; но ржание мое отозвалось грустно, смешно и нелепо. В табуше не засмеялись,— но я заметил, как многие из них из приличия отнернулись от меня. Им, видимо, и гадко, и жалко, и сожестно, а главное — смешно было на меня. Им смешно было на мою тонкую невыразительную шею, большую голову (я похудел в это время), на мои длинные, неуклюжие ноги и на глупый алжур рысцо, который я, по старой привычке, предпринял вокруг конюха. Никто не отозвался на мое ржание, все отвернулось от меня. И вдруг все понял, понял, насколько я навсегда стал далек от всех их, и я не помню, как пришел домой за конюхом.

И уже и прежде показывал склонность к серьезности и глубокомыслию, теперь же во мне сделался решительный переворот. Мои нежнина, возбуждавшая такое странное презрение в людях, мое странное неожиданное несчастье и еще какое-то особенное положение мое на линоде, которое я чувствовал, но никак еще не мог обрешить себе, заставили меня углубиться в себя. Я задумывался над несправедливостью людей, осуждавших меня на то, что я пегий, я задумывался о непостоянстве материнской и вообще женской любви и зависимости ее от физических условий, и главное, я задумывался над своими теми странной породы животными, с которыми мы так тесно связаны и которых мы называем людьми,— теми свойствами, из которых вытекала особенность моего

положения на заводе, которую я чувствовал, но не мог понять. Значение этой особенности и свойств людских, на которых она была основана, открылось мне по следующему случаю.

Это было зимою во время праздников. Целый день мне не давали корму и не поили меня. Как я после узнал, что происходило потому, что конюх был пьян. В этот же день конюший взошел ко мне, посмотрел, что нет корму, и начал ругать самыми дурными словами конюха, которого здесь не было, потом ушел. На другой день конюх с другим товарищем вошел в наш денник задавать нам сена, и заметил, что он особенно был бледен и печален; в особенности в выражении длинной спины его было что-то значительное и вызывающее сострадание. Он сердито бросил сено за решетку; я сунулся было головой чрез его плечо; но он кулаком так больно ударил меня по храпу, что я отскочил. Он еще ударил меня саногом по животу.

— Кабы не этот коростовый, — сказал он, — ничего бы не было.

— А что? — спросил другой конюх.

— Небось графских не ходит проведывать, а своего жеребенка по два раза в день навешивает.

— Разве отдали ему него-то? — спросил Друтой.

— Продали, подарили ли, псё их ведаёт. Графских хоть всех голодом помори — ничего, а вот как смел его жеребенку корму не дать. Ложись, — говорит, — и ну бузовать. Христианства нет. Скотину жалчей человека, креста, видно, на нем нет, сам считал, варвар. Генерал так не парывал, всю спину исполосовал, видно, христианской души нет.

То, что они говорили о сечении и о христианстве, я хорошо понял, — но для меня совершенно было темно тогда, что такое значили слова: *своего, его* жеребенка, из которых я видел, что люди предположали какую-то связь между мною и конюшим. В чем состояла эта связь, и никак не мог понять тогда. Только гораздо уже после, когда меня отделили от других лошадей, я понял, что это значило. Тогда же я никак не мог понять, что такое значило то, что *меня* называли собственностью человека. Слова: *мой* лошади, относимые ко мне, живой лошади, казались мне так же странно, как слова: *мой* земля, *мой* воздух, *мой* вода.

Но слова эти имели на меня огромное влияние. Я не переставал думать об этом и только долго после самых разнообразных отношений с людьми понял наконец значение, которое приписывается людям этим странным словом. Значение их такое: люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковые слова, считающиеся очень важными между ними, суть слова: *мой, моя, мое*, которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил — *мое*. И тот, кто про наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит *мое*, тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю; но это так. Я долго прежде старался объяснить себе это какою-нибудь прямою выгодою; но это оказалось несправедливым.

Многие из тех людей, которые меня, например, называли своей лошадию, не ездили на мне, но ездили на мне совершенно другие. Кормили меня тоже не они, а совершенно другие. Делали мне добро опять-таки не они — те, которые называли меня своей лошадию, а кушера, коновалы и вообще сторонние люди. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие *мое* не имеет никакого другого основания, как низкий и животный людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности. Человек говорит: «дом мой», и никогда не жинет в нем, а только заботится о постройке и подержании дома. Купец говорит: «моя лавка». «Моя лавка еукон», например, — и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые земледо называют своею, а никогда не выдвигают этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда не выдвигают этих людей; и все отношения их к этим людям состоят в том, что они делают им зло. Есть люди, которые женщин называют своими женщинами или женами, а женщины эти живут с другими мужчинами. И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше вещей *своими*.

Я убежден теперь, что в этом-то и состоит существенное различие людей от нас. И потому, не говоря уже о других наших преимуществах перед людьми, мы уже по одному этому смело можем сказать, что стоим в лестнице живых существ выше, чем люди: действительность людей — по крайней мере, тех, с которыми я был в сношениях, руководима словами, наша же — делом. И вот это право говорить обо мне моя лошадь получила конюший и от этого выскек конюха. Это открытие сильно поразило меня и вместе с теми мыслями и суждениями, которые вызвали в людях моя некая масть, и с задумчивостью, вызванною во мне изменною моею матери, заставило меня следовать тем серьезным и глубокомысленным меряном, которым я есмь.

Я был трижды несчастлив: я был пегий, я был мерин, и люди вообразили себе обо мне, что я принадлежал не богу и себе, как это свойственно всему живому, а что я принадлежал конюшему.

Последствий того, что они вообразили себе это обо мне, было много. Первое из них уж было то, что меня держали отдаленно, кормили лучше, чаще гоняли на корде и раньше запрягли. Меня запрягли в первый раз по третьему году. Я помню, как в первый раз сам конюший, который вообразил, что я ему принадлежу, с толпою конюхов стали запрягать меня, ожидая от меня буйства или противодействия. Они скринчили мне губу. Они обвили меня веревками, заводя в оглобли; они надели мне на спину широкий ременный крест и привязали его к оглоблям, чтоб я не бил задом; а я ожидал только случая показать свою охоту и любовь к труду.

Они удивлялись, что я пошел, как старая лошадь. Меня стали проезжать, и я стал упражняться в бегалье рысью. С каждым днем я делал больше и больше успехи, так что через три месяца сам генерал и многие другие хвалили мой ход. Но странное дело, — именно потому, что они вообразили себе, что я не свой, а конюшего, ход мой получал для них совсем другое значение.

Жеребцов, моих братьев, проезжали на бегу, вымывали их пронос, выходилили смотреть на них, ездили в золоченых дрожках, накидывали на них дорогие попоны. Я ездил в простых дрожках конюшего по его делам в Чесминку и другие хутора. Все это происходило оттого,

что я был пегий, а главное, потому, что я был, по их мнению, не графский, а собственность конюшего.

Заметьте, если будем живы, я расскажу вам, какое главное последствие имело для меня это право собственности, которое вообразил себе конюший.

Несъ этот день лошади потигольно обрацались с Холстомером. Но обращение Нестера было так же грубо, Чалый жеребеночек мужика, уже подходи к табуну, ширжал, и бурый кобылка опить кокетничала.

ГЛАВА VII

Ночь 3-я

Народился месяц, и узенький серп его освещал фигуру Холстомера, стоявшего посередине двора. Лошади толпились около него.

— Главное удивительное последствие для меня того, что я был не графский, не божий, а конюшего, — провозился пегий, — было то, что составляет главную причину нашу, — резвый ход, сделало причиной моего падения. Проезжали на кругу Лебедя, а конюший из Чесменки подехал на мне и стал у круга. Лебедь прошел мимо нас. Он хорошо ехал, но он все-таки шедолгал, не было в нем той спорости, которую я выработал в себе, того, чтобы мгновенно при прикосновении одной ноги отделилась другая и не тратилось бы ни малейшего усилия правдо, а всякое усилие двигателя бы вперед. Лебедь прошел мимо нас. Я потянулся в круг, конюший не держал меня. «А что, померять моего Петаша?» — крикнул он, и когда Лебедь поравнялся другой раз, он пустил повод. У того уж была набрана скорость, и потому я отстал на первом заезде, но во второй я стал набирать на него, стал близиться к Дрожкам, стал равняться, обходить и обшел. Попытали другой раз — то же самое. Я был резвее. И это привело всех в ужас. Решили, чтоб скорее продать меня подальше, чтобы и слуху не было. «А то упадет граф — и беда!» Так говорили они. И меня продали барышнику в коренной. У барышника я пробыл недолго. Меня купил гусар, приезжавший за ремонтом. Все это было так несправедливо, так жестоко, что я был рад, когда меня вывели из Хреновой и навсегда разлучили со всем, что мне было родно и мило. Мне было слишком

тяжело между ними. Им предстояли любовь, почести, свобода, мне — труд, унижения, унижения, труд, и до конца моей жизни! За что? За то, что я был певий и что от этого я должен был сделаться чьею-то лошадейю.

Дальше в этот вечер Холстомер не мог рассказывать, на варке случилась событие, переполошившее всех лошадей. Купчиха, жеребая запоздавшая кобыла, случившаяся сначала расказ, вдруг повернулась и медленно отошла под сарай и там начала кричать так громко, что все лошади обратили на нее внимание, потому она легла, потом опять встала, опять легла. Старые матки поняли, что с ней, но молодожь пришла в волнение и, оставив мерина, окружила кобылу. К утру был новый жеребенок, качавшийся на ножках. Нестер кликнул конюшного, и кобылу с жеребенком отвели в денник, а лошадей потнаги без нее.

ГЛАВА VIII

Ночь 4-я

Вечером, когда ворота затворили и все затихло, певий продолжил так:

— Много наблюдений над людьми и лошадьми успел я сделать во время всех моих переходов из рук в руки. Дольше всего я был у двух хозяев: у князя, гусарского офицера, потом у старушки, жившей у Николая Явленного.

У гусарского офицера я провел лучшее время моей жизни.

Хотя он был причиной моей гибели, хотя он ничего и никого никогда не любил, я любил его и люблю его именно за это. Мне нравилось в нем именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил. Вы понимаете это наше высокое лошадиное чувство. Его холодность, его жестокость, моя зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. Убей, зачеми меня, думал я, бывало, в наши хорошие времена, я тем буду счастливее.

Он купил меня у барышника, которому за восемьсот рублей продал меня конюший. Он купил меня за то, что ни у кого не было пегих лошадей. Это было мое лучшее время. У него была любовница. Я знал это потому, что каждый день возил его к ней и ее, и иногда возил их

месте. Любовница его была красавица, и он был красавец, и кучер у него был красавец. И я всех их любил за это. И мне было хорошо жить. Жизнь моя проходила так: с утра приходил конюх чистить меня, не сам кучер, и конюх. Конюх был молодой молодчик, взятый из мундывал навоз, снимал попоны и начинал ерзать щеткой по телу и скребницей класть беговатые ряды плоти на избитый шишами канатник пола. Я шутливо покусывал его за рукав, я постукивал ногой. Потом подводили одного из других к чану холодной воды, и малый любовался на гладкие своего труда пежинь, на ногу, прямую, как стрелу, с широким копытом, и на досыпавший круп и спину, хоть спать ложись. За высокие решетки заглядывали есно, вслапали овес в дубовые ясли. Приходил Феофан, старший кучер.

Хозяин и кучер были похожи. И тот и другой ничего не боялись и никого не любили, кроме себя, и за это все любили их. Феофан ходил в красной рубахе и плисовых штанах и поддевке. Я любил, когда он, бывало, в праздник, напомаженный, в поддевке зайдет в конюшню и крикнет: «Ну, животина, забыл!» — и толкнет рукояткой пллок меня по ляжке, но никогда не больно, а только для шутки. Я тогда же понимал шутку и, прикладывая ухо, целкал зубами.

Был у нас вороной жеребец из пары. Меня по ночам лапиргали и с ним. Полкан этот не понимал шутки, а был просто зол, как черт. Я с ним рядом стоял, через стойло, и, бывало, серезно грызся. Феофан не боялся его. Бывало, подойдет прямо, крикнет, кажется убьет, — нет, мимо, и Феофан наденет оброть. Раз мы с ним в паре понесли вниз по Кузнецкому. Ни хозяин, ни кучер не испугались, оба смеялись, кричали на народ и сдерживали и поворачивали, так никого и не задували.

В их службе я потерял лучшие свои качества и пощину жизни. Тут меня и опояли и рабдили на ноги. Но несмотря на то, это было лучшее время моей жизни. И двенадцать приходили, впритали, мазали копыты, смачивали челку в гриву и вводили в оглобли.

Сани были камышовые плетеные бархатные, сбруя с маленькими серебряными пряжечками, вожжи шелковые и одно время — фице. Запряжка была такая, что, когда все поводи, ремешки были прилажены и застег-

нуги, нельзя было разобрать, где кончается запряжка и начинается лошадь. Запрягут в сарае на развязке. Выдет Феофан с задом шире плеч, в красном кушачке под мышку, оглядит запряжку, сидит, запряжен кафтан, выставит ногу и ступня, пошутит что-нибудь всегда, прихватит кнут, которым почти никогда не стегнет меня, только для порядка, и скажет: «Пушай!» И, играя какдым шатом, я трюгаю из ворот, и кухарка, вышедшая выгнать меня, останавливается на пороге, и мужики, привезшие на двор дрова, таращат глаза. Выдет, проедет и станет. Выдут лавки, подьедут кучера, и пойдут разговаривать. Все жгут, часа три иногда стоим у подъезда, изредка проезжаем, занорачиваем и опять становимся.

Наконец зашумят в дверях, выбежит во фраке седой Тихон с брошкой: «Попадай!» Тогда не было этой глупой манеры говорить: «вперед», как будто я не знаю, что едут не назад, а вперед. Чмокает Феофан. Подьедет, и выходит торопливо-небрежно, как будто ничего удивительного нет ни в этих санях, ни в лошади, ни в Феофане, который изогнет спину и вытянет руки так, как их, кажется, держать долго нельзя, выдет князь в кивере и шинели с бобровым седым воротником, закрытым румяным, чернобровое красивое лицо, которое бы никогда закрывать не надо, выдет, побрякивая саблями, шпорами и медными задниками калош, ступая по ковру, как будто торопясь и не обращая внимания на меня и на Феофана, то, на что смотрят и чем любуются все, кроме его. Чмокает Феофан, я взгляну в повода, и честно, шагом подьедом, станем; я попошусь на князя, замахну кровной головой и тонкой челкой. Князь в духе, иногда пошутит с Феофаном, Феофан ответит, чуть обогривая красивую голову, и, не спуская рук, делает чуть заметное, понятное для меня движение вожжами, и раз-раз, все шире и шире, содрогаясь каждым мускулом и кидая снег с грязью под передок, я еду. Тогда тоже не было нынешней глупой манеры кричать: «О!» — как будто у кучера болит что-нибудь, а непонятное: «Пади берись!» — «Пади берись!» — покрикивает Феофан, и народ сторонится, и останавливается, и шею кривит, оглядываясь на красавца мерина, красавца кучера и красавца барина.

Любил я перепугать рысака. Когда, бывало, мы издадека завидим с Феофаном упряжь, достойную нашего

ушица, и мы, летя, как вихрь, медленно начинаем наклонять ближе и ближе, уж я кидая грязь в спинку сани, равняюсь с седоком и над головой фыркаю ему, только сяди себя все удаляющийся его звук. А князь, и Феофан, и я — мы все молчим и делаем вид, что мы просто едем по своему делу, что мы и не замечаем тех, которые понападают нам на пути на плохих лошадях. Любил я перепугать, но любил я так же встретиться с хорошим рысакком: один миг, звук, взгляд, и мы уж разьехались и опять одиноко летим, каждый в свою сторону.

Закричали ворота, и послышался голос Нестера и Пасьяки.

Почь 5-я

Погода начала изменяться. Было пасмурно, с утра и росы не было, но тепло, и комары липли. Как только табуи затнали, лошади собрались вокруг него, и он так закончил свою историю:

— Счастливая князь моя кончилась скоро. Я прожил там только два года. В конце второй зимы случилась са-мое радостное для меня событие и вслед за ним самое большое мое несчастье. Это было на масленице, я повез князя на бег. На бегу ехали Агласный и Блчочек. Не знаю, что он делал там в беседе, но знаю, что он вышел и вел Феофану въехать в круг. Помню, меня ввели в круг, поставили и поставили Агласного. Агласный ехал с поддужным, я, как был, в городских санках. В завороте я его никуда; и хохот и рев восторга приветствовали меня.

Когда меня провакивали, за мной ходила толпа. И человек пять предлагали князю тысячи. Он только смеялся, показывая свои белые зубы.

— Нет, — говорил он, — то не лошадь, я друг, горы полота не возьму. До свиданья, господа, — расстегнул подол, сел.

— На Стожнику. — Это была квартира его любовницы.

Мы полетели. Это был наш последний счастливый день. Мы приехали к ней. Он называл ее своею. А она полюбила другого и уехала с ним. Он узнал это у нее на картине. Было пять часов, и он, не отпрятав меня, поехал за ней. Чего никогда не было: меня стегали кнутом и пускали скакать. В первый раз я едлага собой, и

мне совестно стало, и я хотел поправиться; но вдруг я услышал, князь кричал не своим голосом: «Валий!» И свистнул кнут и резнул меня, и я посккакал, ударяя ногой в железю перекка. Мы догнаги ее за двадцать пять верст. Я довез его, но дрожал всю ночь и не мог ничего есть. Наутро мне дали воды. Я выпил и навек перестал быть той лошадыю, какой я был. Я бодел, меня мучали и калечили — лечили, как это называют люди. Сошли копыты, сделались наливны, и ноги согнулись, груди не стало, и появилась вялость и слабость во всем. Меня продали барышнику. Он меня кормил морковью и еще чем-то и сделал из меня что-то совсем непохожее на меня, но такое, что могло обмануть незнающего. Ни силы, ни езды во мне уже не было. Кроме того, барышник мучал меня тем, что, как только приходили покупатели, он входил в мой денник и начинал большим кнутом стегать и пугать меня, так что доводил до бешенства. Потом затирал рубцы от кнута и выводил. У барышника купила меня старушка. Ездила она все к Николе Явленному и секла кучера. Кучер плакал в моем стойле. И тут я узнал, что слезы имеют приятный соленый вкус. Потом старушка умерла. Приказчик ее взял меня в деревню и продал краснорядцу, потом я обьеелся пшеницы и еще хуже заболел. Меня продали мужику. Там я пахал, почти ничего не ел, и мне подрезали ногу сошниками. Я опять бодел. Цыган выменял меня. Он мучал меня ужасно и, наконец, продал здешнему приказчику. И вот я здесь. Все молчали. Стал накрапывать дождь.

ГЛАВА IX

Возвращаясь домой в следующий вечер, табуя наткнулся на хозяйина с гостем. Жулдыба, подхоя к дому, покосилась на две мужские фигуры: один был молодой хозяйин в соломенной шляпе, другой высокнй, толстый, обрызганный военный. Старуха покосилась на людей и, признав, прошла после него; остальныне — молодежь — переполошились, замаялись, особенно когда хозяйин с гостем нарочно вошли в середину лошадей, что-то показывая друг другу и разговаривая.

— Вот эту я у Боейкова купил — серую в яблоках, — говорил хозяйин.

— А это молодая вороная бегоножка чья? — хорошо, — говорил гость. Они перебрали много лошадей, забодли и останавливая. Заметили и бурую кобылку.

— Это от верховых хреновских осталась у меня порода, — сказал хозяйин.

Они не могли рассмотреть всех лошадей на ходу. Хозяин закричал Нестера, и старик, торопливо, постукивая каблучками бока пегого, рысцой побегал вперед. Пегий помылил, припадая на одну ногу, но бежал так, что видно было, он ни в каком случае не стал бы роптать, даже ежели бы ему велели бежать так, насколько хватит силы, на край света. Он даже готов был бежать навскачь и даже покусался на это с правой ноги.

— Вот лучше этой кобылы — я смею могу сказать — нет лошади в России, — сказал хозяйин, указывая на одну из кобыл. Гость похвалил. Хозяин вэволюванно заходил, амбетал, показывая и рассказывал историю и породу каждой лошади. Гостю, очевидно, было скучно слушать кобылина, и он придумывал вопросы, чтобы было похоже, что и он интересуется этим.

— Да, да, — говорил он рассеенно.

— Ты взгляни, — говорил хозяйин, не отвечая, — ноги выглены... Дорого досталась, да уж у меня третьяк от нее, и едет.

— Хорошо едет? — сказал гость.

Так перебрали почти всех лошадей, и показывать больше нечего было. И они замолчали.

— Ну что ж, пойдём?

— Пойдем. — Они пошли в ворота. Гость рад был, что кончилось показыванье и что пойдут домой, где можно поест, попить, покурить, и видимо повеселел. Проходя мимо Нестера, который, сидя на пегом, ожидал еще приказаний, гость хлопнул большой жирной рукой по крупу пегого.

— Вот расписной-то! — сказал он. — Такой-то у меня был пегий, помнишь, я тебе рассказывал.

Хозяин услышал, что говорят не об его лошадях, и не слушал, а, оглядываясь, продолжал смотреть на табуны.

Вдруг над самым ухом его послышалось глупое, слабое, старческое ржание. Это заржал пегий, не кончил и, как будто сконфузился, оборвал. Ни гость, ни хозяйин не обратили внимания на это ржанье и прошли домой.

Холстомер узнал в оброчатшем старике своего любимого хозяина, бывшего блестящего богача-красавца Серпуховского.

ГЛАВА X

Дождь продолжал моросить. На варке было пасмурно, а в барском доме было совсем другое. У хозяйина был накрыт роскошный вечерний чай в роскошной гостиной. За чаем сидели хозяйин, хозяйка и приезжий гость.

Хозяйка беремная, что очень заметно было по ее поднявшемуся животу, прямой, выпнутой позе, по полноте и в особенности по глазам, внутри кротко и важно смотревшим большим глазом, сидела за самоваром.

Хозяин держал в руках ящик особенных десятилетних сигар, каких ни у кого не было, по его словам, и обирался похвастать ими перед гостем. Хозяин был красавец лет двадцати пяти, свежий, холеный, расчесанный. Он дома был одет в свежую широкую, толстую пару, сделанную в Лондоне. На цепочке у него были крупные дорожные брегюки. Запонки рубашки были большие, тоже массивные, золотые, с бирюзой. Борода была à la Наполеон III, и мышиные хвостики были напوماкены и торчали так, как только могли это произвести в Париже. На хозяйке было платье шелковой кисеи с большими пестрыми букетами, на голове большие золотые, какие-то особенные шпильки в густых русых, хоть и не вполне своих, но прекрасных волосах. На руках было много браслетов и колец, и всё дорожное. Самовар был серебряный, сервиз тоненький. Лакей, великодушный в своем фраке и белом жилете и галстучке, как статуя, стоял у двери, ожидая приказаний. Мебель была гнутая, изогнутая и яркая; обои темные, большими цветами. Около стола звенела серебряным ошейником лерретка, необычайно тонкая, которую выговариваемым обоняно трудным английским именем, плохо выговариваемым обоняно, не знавшими по-аглински. В углу, в цветах, стояло фортепьяно *inguste*¹. От всего веяло новизной, роскошью и редкостью. Все было очень хорошо, но на всем был

¹ с инкрустацией (фр.).

особенный отпечаток излишка, богатства и отсутствия истинных интересов.

Хозяин был рысчатый охотник, крепкий сангвиник, один из тех, которые никогда не перестают ездить в свободных шубах, бросают дорожные букеты актрисам, пьют вино самого Дорогого, с самой новой маркой, в самой дорогой гостинице, дают призы своего имени и содержат самую дорожную.

Приезжий, Никита Серпуховский, был человек лет за сорок, высокий, толстый, плешивый, с большими усами и бакенбардами. Он должен был быть очень красив. Теперь он опустился, видимо, физически, и морально, и денежно.

На нем было столько долгов, что он должен был слезать, чтобы его не посадили в яму. Он теперь ехал в губернский город начальником коннозаводства. Ему выхлопотали это его важные родные. Он был одет в военный пиджак и синие штаны. Китель и штаны были такие, каких бы никто себе не сделал, кроме богача, белее тоже, чем были тоже английские. Сапоги были на каких-то чулках, в палец толщины, подолывах.

Никита Серпуховский промотал в жизни состояние в два миллиона и остался еще должен сто двадцать тысяч. От такого куска всегда остается размах жизни, дающий кредит и возможность почти роскошно прожить еще лет десять. Лет десять уже проходили, и размах кончался, и Никите становилось грустно жить. Он начал уже поправлять, то есть хмелеть от вина, чего прежде с ним не бывало. Пить же, собственно, он никогда не начинал и не поначал. Более же всего заметно было его падение в бесконечные взглядов (глаза его начинали бегать) и нетвердости интонаций и движений. Это бесконечное поражение том, что оно, очевидно, недавно пришло к нему, потому что видно было, что он долго привык всю жизнь никого и ничего не бояться и что теперь, недавно только, он должен был тяжело страданиями до этого страха, столь несвойственного его натуре. Хозяин и хозяйка замечали это, перелидывались так, что, видимо, понимая друг друга, откладывали только до посещения подробное обсуждение этого предмета и переносили бедного Никиту и даже ухаживали за ним. Вид счастья молодого хозяина унизил Никиту и заставлял его, вспоминая свое безвозвратное прошлое, болезненно завидовать.

— Что, вам ничего сигары, Мари? — сказал он, обращаясь к даме тем особенным, неудовлимым и приобретаемым только опытом тоном — вежливым, приятельским, но не вполне уважительным, которым говорит люди, знающие свет, с содержанками, в отличие от жев. Не то чтобы он хотел оскорбить ее, напротив, теперь он, скорее, хотел поддаться к ней и ее хозяйну, хотя ни за что сам себе не признался бы в этом. Но он уж привык говорить так с такими женщинами. Он знал, что она сама бы удивилась, даже оскорбилась бы, ежели бы он с ней обходился, как с дамой. Притом надо было удерживать за собой известный оттенок почтительного тона для настоящей жены своего равного. Он обращался с такими дамами всегда уважительно, но не потому, чтобы он разделял так называемые убеждения, которые проповедаются в журналах (он никогда не читал этой дряни) о уважении к личности каждого человека, о ничтожности брака и т. д., а потому, что так поступают все порядочные люди, а он был порядочный человек, хотя и упавший. Он взял сигару. Но хозяин неловко взял горсть сигар и предложил гостю.

— Нет, ты увидишь, как хороши. Возьми. Никита отглотил рукой сигары, и в глазах его мелькнуло чуть заметно оскорбление и стыд.

— Спасибо. — Он достал сигарочницу. — Попробуй моих.

Хозяйка была чуткая. Она заметила это и поспешила заговорить с ним:

— Я очень люблю сигары. Я бы сама курила, если бы не все курили вокруг меня.

И она улыбаясь своей красивой, доброй улыбкой, Он улыбнулся в ответ ей нетвердо. Двух зубов у него не было.

— Нет, ты возьми эту, — продолжал нечуткий хозяин. — Другие, те послабее, Фриц, bringen Sie noch eine Kasten, — сказал он, — dort zwei!

Немец-лакей принес другой ящик.

— Ты какие больше любишь? Крепкие? Эти очень хороши. Ты возьми все, — продолжал он совет. Он, видимо, был рад, что было перед кем похвастаться своими редкостями, и ничего не замечал. Серпуховской закурил и поспешил продолжать начатый разговор.

¹ принесите еще одну пачку, там две (искаж. нем.).

— Так во сколько тебе придется Атласный? — сказал он.

— Дорог придется, не меньше пяти тысяч, но, по крайней мере, уж я обеспечен. Какие дети, я тебе скажу!

— Едут? — спросил Серпуховской.

— Хорошо едут. Нынче сын его взял три приза: в Туле, Москве и в Петербурге бежал с воейковским Вороним. Каналья наездник сбил четыре сбоя, а то бы за фингом оставил.

— Сыр он немного. Годляндцины много, вот что я тебе скажу, — сказал Серпуховской.

— Ну а матки-то на что? Я тебе покажу завтра. Добрыню я дал три тысячи. Ласкову — две тысячи.

И опить хозяин начал перечислять свое богатство. Хозяйка видела, что Серпуховскому это тяжело и что он притворно слушает.

— Будете еще чай пить? — спросила она.

— Не буду, — сказал хозяин и продолжал рассказывать. Она встала, хозяин остановил ее, обнял и поцеловал.

Серпуховской начал было улыбаться, глядя на них и думая, ненатуральной улыбкой, но когда хозяин встал и, обняв ее, вышел с ней до портьера — лицо Никиты вдруг изменилось, он тяжело вздохнул, и на обрюзгшем лице его вдруг выразилось отчаяние. Даже злоба была видна на нем.

ГЛАВА XI

Хозяин вернулся и, улыбаясь, сел против Никиты. Они помолчали.

— Да, ты говорил, у Воейкова купил, — сказал Серпуховской, как будто небрежно.

— Да — Атласного, ведь я говорил. Мне все хотелось кобыл у Дубовицкого купить. Да дрянь осталась.

— Он пригнулся, — сказал Серпуховской и вдруг остановился и оглянулся кругом. Он вспомнил, что должен этому самому проторевшему двадцать тысяч. И что если говорить про кого «проторел», то уж, верно, про него говорят это. Он замолчал.

Оба опить долго молчали. Хозяин в голове перебирал,

чем бы похвастаться перед гостем. Серпуховской придумывал, чем бы показать, что он не считает себя проторенным. Но у обоих мысли ходили туго, несмотря на то, что они старались подбодрить себя сигарами. «Что ж, когда выпить?» — думал Серпуховской. «Неприменно надо выпить, а то с ним с тоски умрешь», — думал хозяин.

— Так как же ты долго здесь пробуешь? — сказал Серпуховской.

— Да еще с месяц. Что ж, поужинаем, что ль? Фриц, готово?

Они вышли в столовую. В столовой под лампой стоял стол, уставленный свечами и самыми необыкновенными вещами: сифоны, кувочки на пробках, вино необыкновенное в графинах, необыкновенные закуски, водки. Они выпили, съели, еще выпили, еще съели, и разговор завязался. Серпуховской раскраснелся и стал говорить, неробей.

Они говорили про женщин. У кого какая: цыганка, танцовщица, француженка.

— Ну что ж, ты оставил Матье? — спросил хозяин. Это была содержанка, которая разорила Серпуховского.

— Не я, а она. Ах, брат, как вспомнишь, что просидел в своей жизни! Теперь я рад, как заведутся тысяча рублей, рад, право, как уеду от всех. В Москве не могу. Ах, что говорить!

Хозяину было скучно слушать Серпуховского. Ему хотелось говорить про себя — хвастаться. А Серпуховскому хотелось говорить про себя — про свое блестящее прошлое. Хозяин налил ему вина и ждал, когда он кончит, чтобы рассказать ему про себя, как у него теперь устроен завод так, как ни у кого не было прежде. И что его Мари не только из-за денег, но сердцем любит его.

— Я тебе хотел сказать, что в моем заводе... — начал было он. Но Серпуховской перебил его.

— Было время, могу сказать, — начал он, — что я любил и умел пожить. Ты вот говоришь про еду, ну скажи, какая у тебя самая резвая лошадь?

Хозяин обрадовался случаю рассказать еще про завод, и он начал было; но Серпуховской опять перебил его.

— Да, да, — сказал он. — Ведь это у вас, у заводчика, только для тщеславия, а не для удовольствия и для жизни. А у меня не так было. Вот я тебе говорил нынче, что у меня была ездовая лошадь, перга, такие же пергины,

нам под твоим табунышком. Ох, лошадь же была! Ты не мог знать: это было в сорок втором году, я только приехал в Москву; поехал к барышнику и вижу — пергий мерин. Ладов хороших. Мне понравился. Цена? Тысяча рублей. Мне понравился, я взял и стал ездить. Не было у меня, да и у тебя нет и не будет такой лошади. Лучше и не знал лошади ни ездой, ни силой, ни красотой. Ты мальчишка был тогда, ты не мог знать, но ты слышал, я думаю. Вся Москва знала его.

— Да, я слышал, — неохотно сказал хозяин, — но я хотел тебе сказать про своих...

— Так ты слышал. Я купил его так, без породы, без отчества; потом уж я узнал. Мы с Воейковым добрались. Это был сын Любезного первого, Холстомер. Холсты мервет. Его за пергину отдали с Хреновского завода попопешу, а тот выхлопотил и продал барышнику. Таких уж лошадей нет, дружок! Ах, время было. Ах ты, молодец! — пропел он из цыганской песни. Он начинал хмелеть. — Эх, хорошее было время. Мне было двадцать пять лет, у меня было восемьдесят тысяч серебром дохода тогда, ни одного седого волоса, все зубы как жемчуг. Из что ни возьмись, все удаётся; и все кончилось.

— Ну, тогда не было той ревности, — сказал хозяин, пользуясь перерывом. — Я тебе скажу, что мои первые лошади стали ходить без...

— Твои лошади! Да тогда резвее были.

— Как резвее?

— Резвее. Я как теперь помню, выехал я раз в Москве на бег на нем. Моих лошадей не было. Я не любил рысистых, у меня были кровные, Генерал, Шоле, Матомет. На немом я ездил. Кучер у меня был славный малый, и любил его. Тоже спился. Так приехал я. — Серпуховской, когда, — говорит, — ты завелешь рысистых? — Мусликов-то ваших, черт их возьми, у меня извозничий пергий всех ваших обожит. — Да вот не обоегает. — Пары тысячи рублей. — Ударился. Пустили. На пять секунд обонял, тысячу рублей выиграл пари. Да это что. Я на кровных, на тройке, сто верст в три часа сделал. Вся Москва знает.

И Серпуховской начал врать так складно и так непривычно, что хозяин не мог встать ни одного слова и с улыбка лицом сидел против него, только для развлечения подливая себе и ему вино в стаканы.

Стало уж светать. А они все сидели. Хозяину было мучительно скучно. Он встал.

— Спать — так спать, — сказал Серпуховской, вставая и шатаясь, и, отдуваясь, пошел в отведенную комнату.

Хозяин лежал с любовницей.

— Нет, он невозможен. Написли и врет не переставая.

— И за мной ухаживает.

— Я боюсь, будет просить денег.

Серпуховской лежал нераздетый на постели и отдувался.

«Какжется, я много врал, — подумал он. — Ну все равно. Вино хорошо, но свинья он большая. Купеческое что-то. И я свинья большая, — сказал он сам себе и захохотал. — То я содержал, то меня содержат. Да, Винклерша содержит — я у ней деньги беру. Так ему и надо, так ему и надо! Однако раздеться, сапоги не снимешь». — Эй! Эй! — крикнул он, но человек, приставленный к нему, ушел давно спать.

Он сел, снял китель, жигет и штаны стоптал с себя кое-как, но сапог долго не мог стащить, брюхо мягкое мешаго. Кое-как стащил один, другой — бился, бился, запыхался и устал. И так, с ногой в голенище, повалился и захрапел, наполнив всю комнату запахом табаку, вина и грязной старости.

ГЛАВА XII

Ежели Холстомер что еще вспоминал в эту ночь, то его развлек Васька. Кинул на него попону и посккал, до утра он держал его у двери кабака с мужицкой лошадыю. Они лизались. Утром он пошел в табун и все чесался.

«Что-то больно чешется», — думал он.

Прошло пять дней. Позвали коновала. Он с радостью сказал:

— Короста. Позвольте цыганам продать.

— Зачем? Зарежьте, только чтоб нынче его не было. Утро тихое, ясное. Табун пошел в поле. Холстомер остался. Пришел странный человек, худой, черный, грязный, в забрызганном чем-то черным кафтане. Это был драч. Он взял, не поглядев на него, повод оброты, надетой на Холстомера, и повел. Холстомер пошел спокойно,

не отглядываясь, как всегда волоча ноги и цепляя задними по соломе. Выйдя за ворота, он потянулся к колодцу, но драч дернул и сказал: «Не к чему».

Драч и Васька, шедший сади, пришли в лоцинку за ничинным сараем и, как будто что-то особенное было на этом самом обыкновенном месте, остановились, и драч, передав Ваське повод, снял кафтан, засучил рукава, достал из голенища нож и брусок, стал точить о брусок. Мерин потянулся к поводу, хотел от скуки пожевать его, но далеко было, он вздохнул и закрыл глаза. Губа его понисла, открылись съеденные желтые зубы, и он стал задумывать под звуки течения ножа. Только подрагивала его большая с напильвом отставленная нога. Друг он почувствовал, что его взяли под сазаки и поднимают кверху голову. Он открыл глаза. Две собаки были перед ним. Одна нохала по направлению к драчу, другая сидела, глядя на мерина, как будто ожидая чего-то именно от него. Мерин взглянул на них и стал тереть скулою о руку, которая держала его.

«Лечить, верно, хотит, — подумал он. — Пускай!»

И точно, он почувствовал, что что-то сделали с его торцом. Ему стало больно, он вздрогнул, ботнул ногой, но удержался и стал ждать, что будет дальше. Дальше сделалось то, что что-то жидкое полилось большой струей ему на шею и грудь. Он вздохнул во все бока. И ему стало легче гораздо. Облегчилась вся тяжесть его жизни. Он закрыл глаза и стал склонять голову — никто не держал ее. Потом стала склоняться шея, потом ноги вздрожали, зашаталось все тело. Он не столько испугался, сколько удивился. Все так ново стало. Он удивился, рванулся вперед, вверх. Но вместо этого ноги, сдвинувшись с места, заплелись, он стал вагиться набок и, несли переступить, завалился вперед и на левый бок. Драч подождал, пока прекратились судороги, отогнал собак, подвинувшихся ближе, и потом, взяв за ноги и воротник мерина на спину и велев Ваське держать за ногу, начал свежевать.

— Тоже лошадь была, — сказал Васька.

— Кабы посмеее, хороша бы кожа была, — сказал драч.

Табун проходил вечером горой, и тем, которые шли в левую сторону, видно было что-то красное внизу, около

чего возлились хлопотливо собаки и перелетали вороньи и коршуны. Одна собака, упершись лапами в ступу, мотая головой, отрывала с треском то, что зацепила. Бурая кобылка остановилась, вытянула голову и шею и долго втягивала в себя воздух. Насилу могли отогнать ее.

На заре в овраге старого леса, в заросшем низу на полянке, радостно выгля головастые волченята. Их было пять: четыре почти равные, а один маленький, с головой больше туловища. Худая дивившая волчица, вологая подное брюхо с отвесными сосками по земле, вышла из кустов и села против волченят. Волченята полукругом стали против нее. Она подошла к самому маленькому и, опустив колено и перегнув морду книзу, сделала несколько судорожных движений и, открыв зубастый зев, натужилась и выхаркнула большой кусок конины. Волченята побольше сунулись к ней, но она угрожающе двинулась к ним и предостерегла все маленькому. Маленький, как бы певаясь, рыча ухватил конину под себя и стал жрать. Так же выхаркнула волчица другому, и третьему, и всем пятерым, и тогда легла против них, отходя.

Через неделю выжились у кирпичного сарая только большой череп и два мослака, остальное все было растаскано. На лето мужик, собравший кости, унес и эти мослаки и череп и пустил их в дегю.

Ходившее по свету, евшее и пившее мертвое тело Серпуховского убрали в землю гораздо позже. Ни кожа, ни мясо, ни кости его нигде не приоткрылись. А как уже двадцать лет всем в великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю была только лишним затруднением для людей. Никому уж он давно был не нужен, всем уж давно он был в тигость, но все-таки мертвые, хоронившие мертвых, нашли нужным одеть это, тотчас же загнившее, худое тело в хороший мундир, в хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб, с новыми кисточками на четырех углах, потом положить этот новый гроб в другой, свинцовый, и свезти его в Москву и там расконать давнишние людские кости и именно туда спрятать это гниющее, кишящее червями тело в новом мундире и вычищенных сапогах и засыпать все землей.

1885



ХАДЖИ-МУРАТ

возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь.

В Есть прелестный подбор цветов этого времени года: красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; наглае маргаритки; молочно-белые с ярко-желтой серединой «любишь-не-любишь» с своей преледой привной вонью; желтая

суренка с своим медовым запахом; высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики; полаячине горошки; желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скабозы; с чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом подорожник; васильки, ярко-синие на солнце и в молодости и голубые и краснеющие вечером и под старость; и нежные, с миндальным запахом, тотчас же вянушие, цветы повилки.

Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется «татаринном» и который старательно окапывают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоты на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав выпившего в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветонок. Но это было очень трудно: мало того что стебель колся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, — он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я наконец оторвал цветок, стебель уже был весь в лопотках, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он по своей грубости и алиноватости не подошел к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош на своем месте, и бросил его. «Какая, однако, энергия и сила жизни, — подумал я, вспоминая те усилии, с которыми я отрывал цветок. — Как он усиленно защищал и дорого продавал свою жизнь!».

Дорога к дому шла паровым, только что вспаханым черноземным полем. Я шел назыволок по пыльной черной земной дорожке. Вспаханное поле было помещицье, очень большое, так что с обеих сторон дороги и вперед в гору ничего не было видно, кроме черного, ровно взборозженного, еще не скороженного пара. Пахота была хороша, и нигде по полю не выднелось ни одного растения, ни одной травки, — все было черно. «Экое разрушительное, жестокое существо человек, сколько уничтожил разнообразных живых существ, растений для поддержания своей жизни», — думал я, невольно отскивая чего-нибудь живого среди этого мертвого черного поля. Вперед меня, вправо от дороги, выднелся какой-то кустик. Когда

и подошел ближе, я узнал в кустике такого же «татарина», которого цветок и напрасно сорвал и бросил.

Куст «татарина» состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как отрубленная рука, торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу; другой, хотя и вымазанный черной земной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после подлился и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братьев крутом его.

«Экая энергия! — подумал я. — Все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается!».

И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая.

1

Это было в конце 1851-го года.

В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал и курившийся душистым князьчим дымом чеченский немирный аул Махкет.

Только что затихло напряженное пение муэдзина, и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом князьчюного дыма, отчетливо слышны были из-за мычания коров и баяния овец, разбивавшихся по тесно, как соты, слепленным друг с другом саклим аула, гортанные звуки спорящих мужских голосов и женские и детские голоса снизу от фонтана.

Хаджи-Мурат этот был знаменитый своими подвигами паша Шамиля, не выезжавший иначе, как с своим значком в сопровождении десятков мюридов, Джигитовавших вокруг него. Теперь, закутанный в башлык и бурку, неподковой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным, осторожно выглядываясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей.

Въехав в середину аула, Хаджи-Мурат поехал не по

улице, вешей к площади, а повернул влево, в узенький проулочек. Подъехал ко второй в проулочке, врытой в полугоре сакле, он остановился, оглядываясь. Под навесом перед саклей никого не было, на крыше же за свежемазанной глиняной трубой лежал человек, укрытый тулупом. Хаджи-Мурат тронул лежащего на крыше человека слегка рукояткой плетки и цокнул языком. Из-под тулупа поднялся старик в ночной шапке и досыпаясь, рваном бешмете. Глаза старика, без ресниц, были красны и влажны, и он, чтобы разлепить их, мигал ими. Хаджи-Мурат проговорил обычное: «Селым алейкум», — и открыл лицо.

— Алейкум селым, — улыбаясь беззубым ртом, проговорил старик, унавав Хаджи-Мурата, и, подвигавшись на свои худые ноги, стал попадать ими в стоявшие подле трубы туфли с деревянными каблуками. Обувшись, он не торопясь надел в рукава нагольный сморщенный тулуп и погас задом вниз по лестнице, приставленной к крыше. И одеваясь и слезая, старик покачивал головой на тонкой сморщенной, загорелой шее и не переставая шамкал беззубым ртом. Сойдя на землю, он гостеприимно взял за повод лошади Хаджи-Мурата и правое стремя. Но быстро слезший с своей лошади довкич, сильный мюрид Хаджи-Мурата, отстраняя старика, заменил его.

Хаджи-Мурат слез с лошади и, слегка прихрамывая, вошел под навес. Навстречу ему из двери быстро вышел лет пятнадцати мальчик и удивленно уставился черными, как снеглы смородинка, блестящими глазами на приехавших.

— Бети в мечеть, зови отца, — приказал ему старик и, опередив Хаджи-Мурата, отворил ему легкую скрипящую дверь в саклю. В то время как Хаджи-Мурат входил, из внутренней двери вышла немолодая, тонкая, худая женщина, в красном бешмете на желтой рубахе и синих шароварах, неся подушки.

— Приход твой к счастью, — сказала она и, перегнувшись вправо, стала раскладывать подушки у передней стены для сидения гости.

— Сяновья твои да чтобы живы были, — ответил Хаджи-Мурат, сняв с себя бурку, винтовку и шапку, и отдал их старику.

Старик осторожно повесил на гвозди винтовку и шапку подле висевшего оружия хозяина, между двумя боль-

шими тазами, блестящими на гладко вымазанной и чистой выбеленной стене.

Хаджи-Мурат, оправив на себе пистолет за спиной, подошел к разложенным женщиной подушкам и, запахивая черкеску, сел на них. Старик сел против него на свои голые пятки и, закрыв глаза, поднял руки ладонями вперед. Хаджи-Мурат следил то же. Потом они оба, прочти молитву, огладили себе руками лица, соединив их и конце бороды.

— Не хабар? — спросил Хаджи-Мурат старика, то есть: «Что нового?»

— Хабар нок — «нет нового», — отвечал старик, глядя не в лицо, а на грудь Хаджи-Мурата своими красными безжизненными глазами. — Я на печельнике живу, нынче только пришел сына проведать. Он знает.

Хаджи-Мурат понял, что старик не хочет говорить того, что знает и что нужно было знать Хаджи-Мурату, и, слегка кивнув головой, не стал больше спрашивать.

— Хорошо нового ничего нет, — заговорил старик. — Только и нового, что все зайцы совещаются, как им орлов протнать. А орлы все рвут то одного, то другого. На прошлой неделе русские собаки у мячиных сено сожгли, задерлись их лицо, — злобно прохрипел старик. Вошел мюрид Хаджи-Мурата и, мягко ступая башиними шагами своих сильных ног по земляному полу, так же как Хаджи-Мурат, снял бурку, винтовку и шапку и, оставив на себе только кинжал и пистолет, сам повесил их на те же гвозди, на которых висело оружие Хаджи-Мурата.

— Он кто? — спросил старик у Хаджи-Мурата, указывая на вошедшего.

— Мюрид мой. Элдар имя ему, — сказал Хаджи-Мурат.

— Хорошо, — сказал старик и указал Элдару место на койлке, подле Хаджи-Мурата.

Элдар сел, скрестив ноги, и молча уставился своими красными бараньими глазами на лицо разговаривавшего старика. Старик рассказывал, как ихние моголцы на прошлой неделе поймали дух солдат: одного убили, а другого послали в Ведено к Шамилю. Хаджи-Мурат рассеянно слушал, потгладывая на дверь и прислушиваясь к наружным звукам. Под навесом перед саклей послышались шаги, дверь скрипнула, и вошел хозяин.

Хозяин сакли, Садо, был человек лет сорока, с маленькой бородашкой, длинным носом и такими же черными, хотя и не столь блестящими глазами, как у пятнадцатилетнего мальчишка, его сына, который бежал за ним и вместе с отцом вошел в саклю и сел у двери. Сняв у двери деревянные башмаки, хозяин сдвинул на затылок давно не бритой, зарастающей черным волосом головы старую, истертую папаху и тотчас же сел против Хаджи-Мурата на корточки.

Так же как и старик, он, закрыв глаза, поднял руки ладонями вверх, прочел молитву, отер руками лицо и только тогда начал говорить. Он сказал, что от Шамиля был приказ задержать Хаджи-Мурата, живого или мертвого, что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится ослушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным.

— У меня в доме, — сказал Садо, — моему куняку, пока я жив, никто ничего не делает. А вот в поле как? Думать надо.

Хаджи-Мурат внимательно слушал и одобрительно кивал головой. Когда Садо кончил, он сказал:

— Хорошо. Теперь надо послать к русским человека с письмом. Мой мюрид пойдет, только проводника надо.

— Брата Бату пошло, — сказал Садо. — Позови Бату, — обратилась он к сыну.

Мальчик, как на пружинах, вскочил на резвые ноги и быстро, махая руками, вышел из сакли. Минут через десять он вернулся с черно-загорелым, жилистым, коротконогим чеченцем в разгезающемся желтой череске с оборванными бахромой рукавами и спущенных черных ноговицах. Хаджи-Мурат поздоровался с вьюн пришедшим и тотчас же, также не теряя лишних слов, коротко сказал:

— Можешь свести моего мюрида к русским?

— Можно, — быстро, весело заговорил Бата. — Все можно. Против меня ни один чеченец не сумеет пройти. А то другой пойдет, все пообещает, да ничего не делает. А я могу.

— Ладно, — сказал Хаджи-Мурат. — За труды получишь три, — сказал он, выставляя три пальца.

Бата кивнул головой в знак того, что он понял, но прибавил, что ему дороги не деньги, а он из чести готов

служить Хаджи-Мурату. Все в горах знают Хаджи-Мурата, как он русских свиней бил...

— Хорошо, — сказал Хаджи-Мурат. — Веревка хороша длинная, а речь короткая.

— Ну, молчать буду, — сказал Бата.

— Где Аргун заворачивает, против кручи, поляна в лесу, два стога стоят. Знаешь?

— Знаю.

— Там мои три конные меня ждут, — сказал Хаджи-Мурат.

— Аял! — кивая головой, говорил Бата.

— Спросишь Хан-Магому, Хан-Магома знает, что делать и что говорить. Его свести к русскому начальнику, к Воронцову, князю. Можешь?

— Сведу.

— Свести и назад привести. Можешь?

— Можно.

— Сведешь, вернешься в лес. И я там буду.

— Все сделаю, — сказал Бата, поднялся и, приложив руки к груди, вышел.

— Еще человека в Гехи послать надо, — сказал Хаджи-Мурат хозяину, когда Бата вышел. — В Гехах надо вот что, — начал было он, взявшись за один из хозяйрей черески, но тотчас же опустил руку и замолчал, увидав входящих в саклю двух женщин.

Одна была жена Садо, та самая немолодая, худая женщина, которая укладывала подушки. Другая была совсем молодая девочка в красных шароварах и зеленом бешмете, с закрывавшей всю грудь занавеской из серебряных монет. На конце ее не длинной, но толстой, жесткой черной косы, лежавшей между плеч худой спины, был привешен серебряный рубль; такие же черные, смородиновые глаза, как у отца и брата, весело блестя в молдом, старавшемся быть строгим лице. Она не смотрела на гостей, но видно было, что чувствовала их присутствие.

Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были чай, пилыгиши, блины в масле, сыр, чурек — тонко раскатанный хлеб — и мед. Девочка несла таз, кумган и полотенце.

Садо и Хаджи-Мурат — оба молчали во все время, пока женщины, тихо двигаясь в своих красных беспо-

Да! (нос.)

дошвенных чувяках, устанавливали принесенное перед гостями. Эддар же, устремив свои бараны глаза на скрепленные ноги, был неподвижен, как статуя, во все то время, пока женщины были в сакле. Только когда женщины вышли и совершенно затихли за дверью их мягкие шаги, Эддар облегченно вздохнул, а Хаджи-Мурат достал один из хозырей черески, вынул из него пулю, затыкаяющую его, и из-под пули свернутую трубочкой записку.

— Сыну отдать, — сказал он, показывая записку.

— Куда ответ? — спросил Садо.

— Тебе, а ты мне доставишь.

— Будет сделано, — сказал Садо и передал записку в хозырь своей черески. Потом, взяв в руки кумган, он придвинул к Хаджи-Мурату таз. Хаджи-Мурат засучил рукава бешмета на мускулистых, белых выше кистей руках и подставил их под струю холодной прозрачной воды, которую лил из кумгана Садо. Вытерев руки чистым суровым полотенцем, Хаджи-Мурат подвинулся к еде. То же сделал и Эддар. Пока гости ели, Садо сидел против них и несколько раз благодарил за посещение. Сидевший у двери мальчик, не спуская своих блестящих черных глаз с Хаджи-Мурата, улыбаясь, как бы подтверждая своей улыбкой слова отца.

Несмотря на то, что Хаджи-Мурат более суток ничего не ел, он съел только немного хлеба, сыра и, достав из-под кинжала ножичек, набрал меду и намазал его на хлеб.

— Наш мед хороший. Нынешний год из всех годов меда много и хорош, — сказал старик, видимо довольный тем, что Хаджи-Мурат ел его мед.

— Спасибо, — сказал Хаджи-Мурат и отстранился от еды.

Эддару хотелось еще есть, но он так же, как его мюриды, отодвинулся от стола и подал Хаджи-Мурату таз и кумган.

Садо знал, что, принимая Хаджи-Мурата, он рисковал жизнью, так как после ссоры Шамил с Хаджи-Муратом было объявлено всем жителям Чечни, под угрозой казни, не принимать Хаджи-Мурата. Он знал, что жители аула всякую минуту могли узнать про присутствие Хаджи-Мурата в его доме и могли потребовать его выдачи. Но это не только не смущало, но радовало Садо. Садо считал своим долгом защищать гости — куняка, хотя бы

это стоило ему жизни, и он радовался на себя, гордился собой за то, что поступает так, как должно.

— Пока ты в моем доме и голова моя на плечах, никто тебе ничего не сделает, — повторил он Хаджи-Мурату.

Хаджи-Мурат внимательно посмотрел в его блестящие глаза и, поняв, что это была правда, несколько торжественно сказал:

— Да получишь ты радость и жизнь.

Садо молча прижал руку к груди в знак благодарности за доброе слово.

Закрыв ставни сакли и затопив сушь в камине, Садо и особенно веселом и возбужденном состоянии вышел из кунацкой и вошел в то отделение сакли, где жила все его семейство. Женщины еще не спали и говорили об опасных гостях, которые ночевали у них в кунацкой.

II

В эту самую ночь из передовой крепости Воздвиженской, в пятнадцать верстах от аула, в котором ночевал Хаджи-Мурат, вышли из укрепления за Чахиринские пороги три солдата с унтер-офицером. Солдаты были в полушубках и паннахах, с скатанными шинелями через плечо и больших сапогах выше колена, как тогда ходили кавказские солдаты. Солдаты с ружьями на плечах шли сначала по дороге, потом, пройдя шагов пятьсот, свернули с нее и, шурша сапогами по сухим листьям, прошли шагов двадцать вправо и остановились у сложенной чинары, черныи ствол которой виднелся и в темноте. К этой чинаре выслыдался обыкновенно секрет.

Яркие звезды, которые как бы бежали по макушкам дерев, пока солдаты шли лесом, теперь остановились, прямо блести между оголенных ветвей дерев.

— Спасибо — сухо, — сказал унтер-офицер Панов, снимая с плеча длинное с штыком ружье, и брякнув им, прислонил его к стволу дерева. Три солдата сделали то же.

— А ведь и есть — потерял, — сердито проворчал Панов, — либо забыл, либо выскочил дорогой.

— Что нищень-то? — спросил один из солдат бойдрым, веселым голосом.

— Трубку, черт ее знает куда запропала!

— Чубук-то цел? — спросил бойдрый голос.

— Чубук — вот он.

— А в землю прямо?

— Ну, где там.

— Это мы наладим живо.

Курить в секрете запрещалось, но секрет этот был почти не секрет, а скорее передовой караул, который выслался затем, чтобы горы не могли незаметно подвезти, лениво, и Панов не считал нужным лишить себя курения и потому согласился на предложение веселого солдата. Веселый солдат достал из кармана ножик и стал копать землю. Выкопав ямку, он обгладил ее, пригладил к ней чубук, потом наложил табак в ямку, приказал к ней чубука была готова. Серничок загорелся, осветив на мгновение скуластое лицо лекашного на брюхе солдата. В чубуке засветилось, и Панов почувал приятный запах загоревшейся махорки.

— Нагадил? — сказал он, поднимаясь на ноги.

— А то как же.

— Эка молодчина Авдеев! Прокурат малый. Ну-ка?

Авдеев отвалился набок, давая место Панову и выпуская дым изо рта.

Накурившись, между солдатами завязался разговор.

— А сказывали, ротный-то опять в ящик залез. Про-

— Отдаст, — сказал Панов.

— Известно, офицер Хороший, — подтвердил Авдеев. Хороший, хороший, — мрачно продолжал начавший разговор, — а по моему совету, надо роте поговорить с ним: коли взял, так скажи, сколько, когда отдашь.

— Как рота раскудит, — сказал Панов, отрываясь от трубки.

— Известное дело, мир — большой человек, — подтвердил Авдеев.

— Надо, вишь, овса купить да сапоги к весне справить, денежки нужны, а как он их забрал... — настаивал недовольный.

— Говорю, как рота хочет, — повторил Панов. — Не в первый раз: возьмет и отдаст.

В те времена на Кавказе каждая рота заведовала сама через своих выборных всем хозяйством. Она получала деньги от казны по шесть рублей пьтдыесит копеек на человека и сама себя продовольствовала: сакала капусту,

160

косила сено, держала свои повозки, щеголяла сытыми ротными лошадьми. Деньги же ротные находились в ящике, ключи от которого были у ротного командира, и случалось часто, что ротный командир брал взаимы из ротного ящика. Так было и теперь, и про это-то и говорили солдаты. Мрачный солдат Никитин хотел потребовать отчет от ротного, а Панов и Авдеев считали, что этого не нужно было.

После Панова покурил и Никитин и, подстегив под себя шинель, сел, прислонясь к дереву. Солдаты затихли. Только слышно было, как ветер шевелил высоко над горами макушки деревьев. Вдруг из-за этого перестоящего тихого шеста послышался вой, визг, плач, хохот шакалов.

— Вишь, проклятые, как заливаются, — сказал Авдеев.

— Это они с тебя смеются, что у тебя рожка набок, — сказал тонкий хохлатый голос четвертого солдата.

Опять все затихло, только ветер шевелил сушь деревьев, открывая, то закрывая звезды.

— А что, Антоныч, — вдруг спросил веселый Авдеев Панов, — бывает тебе когда случино?

— Какая же сука? — неохотно отвечал Панов.

— А мне другой раз так-то случино, так случино, что, клянись, и сам не знаю, что бы над собою сделал.

— Вишь ты! — сказал Панов.

— Я тогда денгит-то пропид, ведь это все от скуки.

Накатило, накатило на меня. Думаю: дай пьин нарежусь.

— А бывает, с вина еще хуже.

— И это было. Да куда денешься?

— Да с чего ж случается-то?

— Я-то? Да по дому случаяю.

— Что ж — богато жили?
— Не то что богато, а жили справно. Хорошо жили. И Авдеев стал рассказывать то, что он уже много раз рассказывал тому же Панову.

— Вездь я охотой за брата пошел, — рассказывал Авдеев. — У него ребята сам-пит! А меня только женили. Матушка просить стала. Думаю: что мне! Авось помнит мое добро. Сходил к барину. Барин у нас хороший, говорит: «Молодец! ступай». Так и пошел за брата.

— Что ж, это хорошо, — сказал Панов.

— А вот веришь ли, Антоныч, теперь случаяю.

портьерами, за ломберным столом, освещенным четырьмя свечами, сидели хозяева с гостями и играли в карты. Один из играющих был сам хозяин, длиннолицый белокурый полковник с флигель-адъютантскими везелками и аксельбантами, Воронцов; партнером его был кандидат Петербургского университета, недавно выписанный княгиней Воронцовой учитель для ее маленького сына от первого мужа, лохматый юноша угрюмого вида. Против них играли два офицера: один — широколицый, румяный, перешедший из гвардии, ротный командир Полторацкий, и, очень прямо сидевший, с холодным выражением красивого лица, полковой адъютант. Сама княгиня Марья Васильевна, крупная, большешагая, чернوبرовая красавица, сидела подле Полторацкого, касаясь его ног своим кринолином и заглядывая ему в карты. И в ее словах, и в ее взглядах, и улыбке, и во всех движениях ее тела, и в духах, которыми от нее пахло, было то, что доводило Полторацкого до забвения всего, кроме сознания ее близости, и он делал ошибку за ошибкой, все более и более раздражая своего партнера.

— Нет, это невозможно! Опять просодил туза! — весь покраснев, проговорил адъютант, когда Полторацкий скинул туза.

Полторацкий, точно проснувшись, не понимая, глядел своими добрыми, широко расставленными черными глазами на недовольного адъютанта.

— Ну простите его! — улыбаясь, сказала Марья Васильевна. — Видите, я вам говорила, — обратилась она к Полторацкому.

— Да вы совсем не то говорили, — улыбаясь, сказал Полторацкий.

— Разве не то? — сказала она и так же улыбнулась. И эта ответная улыбка так страшно вызолновала и обрадовала Полторацкого, что он багрово покраснел и, схватив карты, стал мешать их.

— Не тебе мешать, — строго сказал адъютант и стал своей белой, с перстнем, рукой сдвигать карты, так, как будто он только хотел поскорее избавиться от них.

В гостиную вошел камердинер князя и доложил, что князь требует дежурный.

— Извините, господа, — сказал Воронцов, с английским акцентом говоря по-русски. — Ты за меня, Матге, сидишь.

— Согласны? — спросила княгиня, быстро и легко вставая во весь свой высокий рост, шурша шелком и улыбаясь своей сияющей улыбкой счастливой женщины.

— Я всегда на все согласен, — сказал адъютант, очень довольный тем, что против него играет теперь совершенно не умеющая играть княгиня. Полторацкий же только развел руками, улыбаясь.

Роббер кончился, когда князь вернулся в гостиную. Он пришел особенно веселый и возбужденный.

— Знаете, что я вам предложу?

— Ну?

— Выпьемте шампанского.

— На это я всегда готов, — сказал Полторацкий.

— Что же, это очень приятно, — сказал адъютант.

— Василий! подайте, — сказал князь.

— Зачем тебя звали? — спросила Марья Васильевна.

— Был дежурный и еще один человек.

— Кто? Что? — поспешно спросила Марья Васильевна.

— Не могу сказать, — покаив плечами, сказал Воронцов.

— Не можешь сказать, — повторила Марья Васильевна. — Это мы увидим.

Принесли шампанского. Гости вышли по стакану и, окончив игру и разотчясь, стали прощаться.

— Ваша рота завтра назначена в лес? — спросил князь Полторацкого.

— Моя. А что?

— Так мы завтра увидимся с вами, — сказал князь, светля улыбаясь.

— Очень рад, — сказал Полторацкий, хорошенько не понимая того, что ему говорил Воронцов, и озабоченный только тем, как он сейчас похмет большую белую руку Марьи Васильевны.

Марья Васильевна, как всегда, не только крепко полагалась, но и сильно тряхнула руку Полторацкого. И, еще раз напомнив ему его ошибку, когда он пошел с буден, она улыбнулась ему, как показалося Полторацкому, предострой, ласковой и значительной улыбкой.

Полторацкий шел домой в том восторженном настроении, которое могут понимать только люди, как он, выросшие и воспитанные в свете, когда они, после месяцев

уединенной военной жизни, вновь встречают женщину из своего прежнего круга. Да еще такую женщину, как княгиня Воронцова.

Подойди к домику, в котором он жил с товарищем, он толкнул входную дверь, но дверь была заперта. Он стукнул. Дверь не отпиралась. Ему стало досадно, и он стал барабанить в запертую дверь ногой и шапкой. За дверью послышались шаги, и Вавило, крепостной дворовый челонок Полторацкого, откинул крючок.

— С чего вздумал запереть?!

— Да разве можно, Алексей Владимир...

— Опять пьян! Вот я тебе покажу, как можно...

Полторацкий хотел ударить Вавилу, но раздумал.

— Ну, черт с тобой. Свечу зажги.

— Сею минутою.

Вавило был действительно выпивши, а выпил он потому, что был на именинах у капитанармуса. Вернувшись домой, он задумался о своей жизни в сравнении с жизнью Ивана Макаенча, капитанармуса. Иван Макаенч имел доходы, был женат и надеялся через год выйти в чину. Вавило же был мальчиком взят в верх, то есть в услужение господам, и вот уже ему было сорок с лишком лет, а он не женился и жил походной жизнью при своем безалаберном барине. Барин был хороший, драгся мало, но какая же это была жизнь! «Обещал дать волюшку, когда вернется с Кавказа. Да куда же мне идти с волюшкой. Собачья жизнь!» — думал Вавило. И ему так захотелось спать, что он боясь, чтобы кто-нибудь не вошел и не унес что-нибудь, закинул крючок и заснул.

Полторацкий вошел в комнату, где он спал вместе с товарищем Тихоновым.

— Ну что, проигрался? — сказал проснувшийся Тихонов.

— Ан нет, семнадцать рублей выиграл, и клинко бутылочку распил.

— И на Марью Васильевну смотрел?

— И на Марью Васильевну смотрел, — повторил Полторацкий.

— Скоро уж вставать, — сказал Тихонов, — и в шесть надо уж встучать.

— Вавило, — крикнул Полторацкий, — смотри, хорошенько буди меня завтра в пять.

— Как же вас будить, когда вы деретесь.

— Я говорю, чтоб разбудить. Слышал?

— Слышаю.

Вавило ушел, унося сапоги и платье.

А Полторацкий лег в постель и, улыбаясь, закурил папироску и потушил свечу. Он в темноте видел перед собой улыбающееся лицо Марьи Васильевны.

У Воронцовых тоже не сейчас заснули. Когда гости ушли, Марья Васильевна подошла к мужу и, остановившись перед ним, строго сказала:

— Eh bien, vous allez me dire ce que c'est?

— Mais, ma chère...

— Pas de «ma chère»! C'est un émissaire, n'est-ce pas?

— Quand même je ne puis pas vous le dire.

— Vous ne pouvez pas? Alors c'est moi qui vais vous le dire!

— Vous?!

— Хаджи-Мурат? да? — сказала княгиня, слышавшая уже несколько дней о переговорах с Хаджи-Муратом и предполагавшая, что у ее мужа был сам Хаджи-Мурат. Воронцов не мог отрицать, но разочаровал жену в том, что был не сам Хаджи-Мурат, а только лазутчик, обвинивший, что Хаджи-Мурат завтра выедет к нему в то место, где назначена рубка леса.

Среди однообразия жизни в крепости молодые Воронцовы — муж и жена — были очень рады этому событию. Переговарив о том, как приятно будет это известие его отцу, муж с женой в третьем часу легли спать.

IV

После тех трех бессонных ночей, которые он провел, убежав от высланных против него мюридов Шамиля, Хаджи-Мурат заснул тотчас же, как только Садо вышел из санки, пожелав ему спокойной ночи. Он спал не разде-

— Ну, ты скажешь мне, в чем дело?

— Но, дорогой...

— При чем тут «дорогой»? Это, конечно, лазутчик?

— Тем не менее я не могу тебе сказать.

— Не можешь? Ну, так я тебе скажу!

— Ты? (фр.)

вадь, облокотившись на руку, утонувшую локтем в подложенные ему хозяином пуховые красные подушки. Недалеко от него, у стены, спал Элдар. Элдар лежал на спине, раскинув широко свои сильные, молодые члены, так что высокая грудь его с черными хохрями на белой черкеке была выше откинувшейся свежебритой, синей головы, свалившейся с подушки. Оттопыренная, как у детей, с чуть покрывавшим ее пушком верхняя губа его точно прихлебывала, сжимаясь и распускаясь. Он спал так же, как и Хаджи-Мурат: одетый, с пистолетом за поясом и кинжалом. В камине сакли доторали сучья, и в печурке чуть светился ночник.

В середине ночи скрипнула дверь в кунцаккой, и Хаджи-Мурат тотчас же поднялся и взялся за пистолет. В комнату, мягко ступая по земляному полу, вошел Садо. — Что надо? — спросил Хаджи-Мурат бодро, как будто никогда не спал.

— Думать надо, — сказал Садо, усаживаясь на корточках перед Хаджи-Муратом. — Женщина с крыши видела, как ты ехал, — сказал он, — и рассказала мужку, а теперь весь аул знает. Сейчас прибегала к жене соседка, сказала, что старики собрались у мечети и хотят остановить тебя.

— Ехать надо, — сказал Хаджи-Мурат.

— Конни готовы, — сказал Садо и быстро вышел из сакли.

— Элдар, — прошептал Хаджи-Мурат, и Элдар, услышав свое имя и, главное, голос своего мюршида, вскочил на сильные ноги, оправдыв папаху. Хаджи-Мурат надел оружие и бурку. Элдар следовал то же. И оба молча вышли из сакли под навес. Черноглазый мальчик подвел лошадей. На стук копыт по убитой дороге улицы чьи-то головы высунулась из двери соседней сакли, и, стуча деревянными башмаками, пробежал какой-то человек в гору к мечети.

Месяца не было, но звезды ярко светили в черном небе, и в темноте видны были очертания крыш саклей и больше других задние мечети с минаретом в верхней части аула. От мечети доносились гул голосов.

Хаджи-Мурат, быстро прихватив ружье, вложил ногу в узкое стремя и, беззвучно, незаметно перекинув тело, неслышно сел на высокую подушку седла.

— Бог да воздаст вам! — сказал он, обращаясь к хо-

лину, отыскивая привычным движением правой ноги другое стремя, и чуть-чуть тронул мальчика, державшего лошадь, плечью, в знак того, чтобы он посторонился. Мальчик посторонился, и лошадь, как будто сама зная, что ей надо делать, бодрым шагом тронулась из проулка на главную дорогу. Элдар ехал сзади; Садо, в шубе, быстро размахивая руками, почти бежал за ними, перебегая то на одну, то на другую сторону узкой улицы. У выезда, через дорогу, показались движущаяся гень, потом — другие.

— Стой! Кто едет? Остановись! — крикнул голос, и несколько людей загордели дорогу.

Вместо того чтобы остановиться, Хаджи-Мурат выхватил пистолет из-за пояса и, прибавив хода, направил лошадь прямо на заграждавших дорогу людей. Стоявшие на дороге люди разошлись, и Хаджи-Мурат, не отглядывая, большой иноходью пустился вниз по дороге. Элдар большой рысью ехал за ним. Позади их щелкнули два пистолета, просвистели две пули, не задевшие ни его, ни Элдара. Хаджи-Мурат продолжал ехать тем же ходом. Отъехав шагов триста, он остановил слетка запыхавшуюся лошадь и стал прислушиваться. Впереди, внизу, шумела быстрая вода. Сзади слышны были перекликающиеся пелухи в ауле. Из-за этих звуков послышался приближающийся лошадиный топот и говор позади Хаджи-Мурата. Хаджи-Мурат тронул лошадь и поехал тем же ронным проездом.

Ехавшие сзади скакали и скоро догнали Хаджи-Мурата. Их было человек двадцать верховых. Это были жители аула, решившие задержать Хаджи-Мурата или, по крайней мере, для очистки себя перед Шамидем, следовать им, что они хотят задержать его. Когда они приблизились настолько, что стали видны в темноте, Хаджи-Мурат остановился, бросив поводья, и, привычным движением левой руки отстегнув чехол винтовки, правой рукой вынул ее. Элдар следовал то же.

— Что надо? — крикнул Хаджи-Мурат. — Взять хоните? Ну, бери! — И он поднял винтовку. Жители аула остановились.

Хаджи-Мурат, держа винтовку в руке, стал спускаться в долину. Конные, не приближаясь, ехали за ним. Когда Хаджи-Мурат переехал на другую сторону долины, ехавшие за ним верховые закричали ему, чтобы он

выслушал то, что они хотят сказать. В ответ на это Хаджи-Мурат выстрелил из винтовки и пустил свою лошадь вскачь. Когда он остановил ее, погоны за ним уже не слышно было; не слышно было и петухов, а только яснее слышалось в лесу журчание воды и изредка плач филина. Черная стена леса была совсем близко. Это был тот самый лес, в котором дожидался его его мюриды. Подъехав к лесу, Хаджи-Мурат остановился и, забрав много воздуха в легкие, засвистал и потом затих, прислушиваясь. Через минуту такой же свист послышался из леса. Хаджи-Мурат свернул с дороги и поехал в лес. Проехав шагов сто, Хаджи-Мурат увидел сквозь стволы деревьев костер, тени людей, сидевших у огня, и до половины освещенную огнем стреноженную лошадь в седле.

Один из сидевших у костра людей быстро встал и пошел к Хаджи-Мурату, взявшись за повод и за стремя. Это был аварец Ханефи, названный брат Хаджи-Мурата, заведующий его хозяйством.

— Огонь потушить, — сказал Хаджи-Мурат, слезав с лошади. Люди стали раскидывать костер и топтать горевшие сучья.

— Был здесь Бата? — спросил Хаджи-Мурат, подходя к растегаенной бурке.

— Был, давно ушли с Хан-Магомой.

— По какой дороге пошли?

— По этой, — отвечал Ханефи, указывая на противоположную сторону той, по которой приехал Хаджи-Мурат.

— Ладно, — сказал Хаджи-Мурат и, сняв винтовку, стал зарядить ее. — Побережься надо, глядись за мной, — сказал он, обращаясь к человеку, тушившему огонь.

Это был чеченец Гамазго. Гамазго подошел к бурке, взял лежащую на ней в чехле винтовку и молча пошел на край поляны, к тому месту, из которого подъехал Хаджи-Мурат. Эндар, слезши с лошади, взял лошадь Хаджи-Мурата и, высоко подгибая обем головы, привязал их к деревьям, потом, так же как Гамазго, с винтовкой за плечами стал на другой край поляны. Костер был потушен, и лес не казался уже таким черным, как прежде, и на небе хотя и слабо, но светились звезды.

Поглядев на звезды, на Стожары, подивившись уже на половину неба, Хаджи-Мурат рассчитал, что было далеко за полночь и что давно уже была пора ночной мо-

литвы. Он спросил у Ханефи кумган, всегда возимый с собой в сумках, и, надев бурку, пошел к воде.

Разувшись и совершив омовение, Хаджи-Мурат стал босыми ногами на бурку, потом сел на икры и, сначала потянув пальцами уши и закрыв глаза, произнес, обращаясь на восток, обычные молитвы.

Окончив молитву, он вернулся на свое место, где были неровные сумы, и, сев на бурку, облокотил руки на колена и, опустив голову, задумался.

Хаджи-Мурат всегда верил в свое счастье. Затевав что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче, — и все удавалось ему. Так это было, за редкими исключениями, но все продолжение его бурной военной жизни. Так, он надеялся, что будет и теперь. Он представлял себе, как он с войском, которое даст ему Воронцов, пойдет на Шамилля и захватит его в плен, и отомстит ему, и как русский царь наградит его, и он опять будет управлять не только Аварией, но и всей Чечней, которая покорится ему. С этими мыслями он не заметил, как заснул.

Он видел во сне, как он с своими молотцами, с песнью и криком «Хаджи-Мурат идет», летит на Шамилля и захватывает его с его женами, и слышит, как плачут и рыдают его жены. Он проснулся. Песни «Дя илихях», и крики: «Хаджи-Мурат идет», и плач жен Шамилля — это были вой, плач и хохот шакалов, который разбудил его. Хаджи-Мурат поднял голову, взглянул на светлеющее уже сквозь стволы деревьев небо на востоке и спросил у сидевшего поодаль от него мюрида о Хан-Магоме. Узнав, что Хан-Магома еще не возвращается, Хаджи-Мурат опустил голову и тотчас же опять задремал.

Разбудил его веселый голос Хана-Магомы, возвращавшегося с Батюю из своего посольства. Хан-Магома тотчас же пошел к Хаджи-Мурату и стал рассказывать, как солдаты встретили их и проводили к самому князю, как он говорил с самим князем, как князь радовался и обещал утром встретить их там, где русские будут рубить лес, за Мичком, на Шалинской поляне. Бата перебивал речь своего соговарница, вставляя свои подробности.

Хаджи-Мурат спросил Воронцова на предложение Хаджи-Мурата выйти к русским. И Хан-Магома и Бата в один голос говорили, что князь обещал принять Хаджи-Мурата как гостя и сделать так, чтобы ему хорошо было.

Хаджи-Мурат спросил еще про дорогу, и когда Хан-Магома заверил его, что он хорошо знает дорогу и прямо приведет туда, Хаджи-Мурат достал деньги и отдал Бате обещанные три рубля; своим же велел достать из переметных сум свое с золотой насечкой оружие и папаху с чалмою, самим же мюридам почиститься, чтобы приехать к русским в хорошем виде. Пока чистили оружие, седла, сбрую и коней, звезды померкли, стало совсем светло, и потянул предрассветный ветерок.

У

Рано утром, еще в темноте, две роты с топорами, под командой Полторацкого, вышли за десять верст за Чахтинские ворота и, рассыпав цепь стрелков, как только стало светать, принялись за рубку леса. К восьми часам туман, сливавшийся с душистым дымом шипящих и трещавших на кострах сырых сучьев, начал подниматься вверх, и рубящие лес, прежде за пять шагов не выдавшие, а только слышавшие друг друга, стали видеть и костры, и заваденную деревьями дорогу, шедшую через лес; солнце то показывалось светлым пятном в тумане, то опять скрывалось. На полинке, поодаль от дороги, сидели на барабанах: Полторацкий с своим субалтерном офицером Тихоновым, два офицера 3-й роты и бывший кавалергард, разжалованный за дуэль, товарищ Полторацкого по Нахескому корпусу, барон Фрезе. Вокруг барабанов валялись бумажки от закусок, окурки и пустые бутылки. Офицеры выпили водки, закусили и пили портер. Барабанщик откупоривал восьмую бутылку. Полторацкий, несмотря на то, что не выснался, был в том особенном настроении подъема душевных сил и доброго, беззаботного веселья, в котором он чувствовал себя всегда среди своих солдат и товарищей там, где могла быть опасность.

Между офицерами шел оживленный разговор о последней новости, смерти генерала Сленцова. В этой смерти никто не видел того важнейшего в этой жизни момента — окончания ее и возвращения к тому источнику, из которого она вышла, а виделось только молодечество лихого офицера, бросившегося с пашкой на горцев и отчаянно рубившего их.

Хотя все, в особенности побывавшие в делах офицеры,

знали и могли знать, что на войне тогда на Кавказе, да и никогда нигде не бывает той рубки врукопашную пашками, которая всегда предполагается и описывается (и если и бывает такая рукопашная пашками и штыками, то рубит и колют всегда только бегущих), эта функция рукопашной признавалась офицерами и придала им ту спокойную гордость и веселость, с которой они, одни в молодечих, другие, напротив, в самых скромных позах, сидели на барабанах, курили, пили и шутили, не забываясь о смерти, которая, так же как и Сленцова, могла всякую минуту постигнуть каждого из них. И действительно, как бы в подтверждение их ожидания в середине их разговора влево от дороги послышался бодрющий, красивый звук винтовочного, резко целкнувшего выстрела, и пулька, весело поспыстывая, пролегла где-то в туманном воздухе и целкнулась в дерево. Несколько грузно-громких выстрелов солдатских ружей ответили на неприятельский выстрел.

— Эге! — крикнул веселым голосом Полторацкий, — молль это в цепи! Ну, брат Костя, — обратился он к Фрезе, — твое счастье. Иди к роту. Мы сейчас такое устроим фронтоне, что прелесть! И представляете слегаем.

Разжалованный барон вскочил на ноги и быстрым шагом пошел в область дыма, где была его рота. Полторацкому подоли его маленького каракового кабардинца, он сел на него и, выстроив роту, повел ее к цепи по направлению выстрелов. Цепь стояла на опушке леса перед спускающейся головой балкой. Ветер тянул на лес, и не только спуск балки, но и та сторона ее были ясно видны.

Когда Полторацкий подъехал к цепи, солнце выглянуло из-за тумана, и на противоположной стороне балки, у другого начинавшегося там мелкого леса, сажень за сто, виднелась несколько всадников. Чеченцы эти были те, которые преследовали Хаджи-Мурата и хотели видеть его приезд к русским. Один из них выстрелил по цепи. Несколько солдат из цепи ответили ему. Чеченцы отъехали назад, и стрельба прекратилась. Но когда Полторацкий подошел с ротой, он велел стрелять, и только что была передана команда, по всей линии цепи послышался непрерывный веселый, бодрющий грек ружей, сопровождаемый красиво расходящимися дымками. Солдаты, радуясь развлечению, торопились зарядить и выпускать паряд за зарядом. Чеченцы, очевидно, почувствовали за-

дор и, выскакивая вперед, один за другим выпустили несколько выстрелов по солдатам. Один из их выстрелов ранил солдата. Солдат этот был тот самый Авдеев, который был в секрете. Когда товарищи подошли к нему, он лежал кверху спиной, держа обеими руками рану в живот, и равномерно покачивался.

— Только стал ружье заряжать, слышу — чикнудо, — говорил солдат, бывший с ним в паре. — Смотрю, а он ружье выпустил.

Авдеев был из роты Полторацкого. Увидев собравшуюся кучку солдат, Полторацкий подбежал к ним.

— Что, брат, полагю? — спросил он. — Куда?

Авдеев не отвечал.

— Только стал заряжать, ваше благородие, — заговорил солдат, бывший в паре с Авдеевым, — слышу — чикнудо, смотрю — он ружье выпустил.

— Те-те, — пощелкал языком Полторацкий. — Что же, больно, Авдеев?

— Не больно, а мити не дает. Винца бы, ваше благородие.

Водка, то есть спирт, который пили солдаты на Кавказе, напелся, и Панов, строго нахмурившись, поднес Авдееву крышку спирта. Авдеев начал пить, но тотчас же отстранил крышку рукой.

— Не примаает душа, — сказал он. — Пей сам.

Панов допил спирт. Авдеев опять попытался поднаться и опить сел. Расстегнули шинель и положили на нее Авдеева.

— Ваше благородие, полковник едет, — сказал фельдфебель Полторацкому.

— Ну ладно, распорядись ты, — сказал Полторацкий и, взяв чашу пивья, поехал большой рысью навстречу Воронцову.

Воронцов ехал на своем английском, кровном рыжем жеребце, сонлутствуемый адыгтянгом полка, казакм и чеченцем-переводчиком.

— Что это у нас? — спросил он Полторацкого.

— Да вот выехала партия, нашла на цепь, — отвечал ему Полторацкий.

— Ну-ну, и всё вы затеяли.

— Да не я, князь, — улыбаясь, сказал Полторацкий, — сами дезли.

— Я слышал, солдата ранили?

— Да, очень жалъ. Солдат хороший.

— Тяжело?

— Какется, тяжело, — в живот.

— А я, вы знаете, куда еду? — спросил Воронцов.

— Не знаю.

— Неужели не догадываетесь?

— Нет.

— Хаджи-Мурат вышел и сейчас встретит нас.

— Не может быть!

— Вчера лазутчик от него был, — сказал Воронцов, в трудом сдерживая улыбку радости. — Сейчас должен ждать меня на Шалинской поляне; так вы расслыште стрелков до поляны и потом приезжайте ко мне.

— Слушаю, — сказал Полторацкий, приложив руку и напале, и поехал к своей роте. Сам он свел цепь на правую сторону, с левой же стороны велел это сделать фельдфебелю. Раненого между тем четыре солдата унесли в крепость.

Полторацкий уже возвращался к Воронцову, когда увидал сзади себя догоняющих его верховых. Полторацкий остановился и подождал их.

Вперед всех ехал на палаше и в отделанном золотом оружии человек вышительного вида. Человек этот был Хаджи-Мурат. Он подвезал к Полторацкому и сказал ему что-то по-татарски. Полторацкий, подняв брови, развел руками и знак того, что не понимает, и улыбка эта поразила Полторацкого улыбкой на улыбку, и улыбка эта поразила Полторацкого своим детским добродушием. Полторацкий никак не ожидал видеть таким этого страшного горца. Он ожидал мрачного, сухого, чуждого человека, а перед ним был самый простой человек, улыбающийся такой доброй улыбкой, что он казался не чужжим, а давно знакомым приятелем. Только одно было в нем особенное: его были его широко расставленные глаза, которые внимательно, пронизательно и спокойно смотрели в глаза другим людям.

Слуга Хаджи-Мурата состояла из четырех человек. Был в этой свите тот Хан-Магома, который нынче ночью ходил к Воронцову. Это был румяный, с черными, безнок, яркими глазами, круглолицый человек, сиюнциий выинералостным выражением. Был еще коренастый во-досатый человек с сросшимися бровями. Этот был тавли-

нец Ханефи, заведующий всем имуществом Хаджи-Мурата. Он вел с собой заводную лошадь с туго наполненными переметными сумками. Особенно же выделялись на свиты два человека: один — молодой, тонкий, как женщина, в поносе и широкий в плечах, с чуть пробивающейся русской бородакой, красавец с бараньими глазами, — это был Эгдар, и другой, кривой на один глаз, без брони и без ресниц, с рыжей подстриженной бородой и широким носом и лицом, — чеченец Гамазго.

Полторацкий указал Хаджи-Мурату на показавшегося по дороге Воронцова. Хаджи-Мурат направился к нему и, подъехав вилоть, приложил правую руку к груди и сказал что-то по-татарски и остановился. Чеченец-переводчик перевел:

— Отдаюсь, говорит, на волю русского царя, хочу, говорит, послужить ему. Давно хотел, говорит. Шамил не пускал.

Выслушав переводчика, Воронцов протянул руку и замшевой перчатке Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат вложил на эту руку, секунду помедлил, но потом крепко сжал ее и еще сказал что-то, глядя то на переводчика, то на Воронцова.

— Он, говорит, ни к кому не хотел выходить, а только к тебе, потому ты сын сардаря. Тебя уважал крепко. Воронцов кивнул головой в знак того, что благодарит. Хаджи-Мурат еще сказал что-то, указывая на свою свиту.

— Он говорит, что люди эти, его мюриды, будут так же, как и он, служить русским.

Воронцов оглянулся на них, кивнул и им головой. Веселый, черноглазый, без век, Хан-Магома, также кивая головой, что-то, должно быть, смешное проговорил Воронцову, потому что волосатый аварец оскалил улыбку ярко-белые зубы. Рыжий же Гамазго только блеснул на мгновение одним своим красным глазом на Воронцова и опять уставился на уши своей лошади.

Когда Воронцов и Хаджи-Мурат, сопутствуемые свитой, проехали назад к крепости, солдаты, снятые с цепи и собравшиеся кучкой, сделали свои замечания:

— Сколько душ загубил, проклятый, теперь, поди, как его уболаговорить будут, — сказал один.

— А то как же. Первый камандер у Шмеги был. Топерь, небось...

— А могодчина, что говорит, джигит.

— А рыжий-то, рыжий, — как зверь, косятся.

— Ух, собака, должно быть.

Все особенно заметили рыжего.

Там, где шла рубка, солдаты, бывшие ближе к дороге, выбегали смотреть. Офицер крикнул на них, но Воронцов остановил его.

— Пускай посмотрят своего старого знакомого. Ты видишь, кто это? — спросил Воронцов у ближе стоявшего солдата, медленно выговаривая слова с своим английским акцентом.

— Никак нет, ваше сиятельство.

— Хаджи-Мурат, — слышал?

— Как не слышать, ваше сиятельство, блин его много раз.

— Ну, да и от него доставаюсь.

— Так точно, ваше сиятельство, — отвечал солдат, довольный тем, что удалось поговорить с начальником. Хаджи-Мурат понимал, что говорят про него, и весело улыбнулась в его глазах. Воронцов в самом веселом расположении духа вернулся в крепость.

VI

Воронцов был очень доволен тем, что ему, именно ему, удалось выманить и принять главного, могутствовнейшего, второго после Шамиля, врата России. Одно было неприятно: командующий войсками в Воздвиженской был генерал Меллер-Закомельский, и, по-настоящему, надо было через него вести все дело. Воронцов же сделал все сам, не донося ему, так что могла выйти неприятность. И эта мысль отравляла немного удовольствие Воронцова.

Подъехав к своему дому, Воронцов поручил полковнику адъютанту мюридов Хаджи-Мурата, а сам ввел его к себе в дом.

Княгиня Марья Васильевна, нарядная, улыбающаяся, вместе с сыном, шестилетним красавцем, кудрявым мальчиком, встретила Хаджи-Мурата в гостиной, и Хаджи-Мурат, приложив свои руки к груди, несколько торжественно сказал через переводчика, который вошел с ним, что он считает себя куняком князя, так как он принял

его к себе, а что вся семья куняка так же священна для куняка, как и он сам. И наружность и манеры Хаджи-Мурата понравились Марье Васильевне. То же, что он вспыхнул, покраснел, когда она подала ему свою большую белую рубку, еще более расположило ее в его пользу. Она предложила ему сесть и, спросив его, пьет ли он кофеи, велела подать. Хаджи-Мурат, однако, отказался от кофеи, когда ему подали его. Он немного понимал по-русски, но не мог говорить, и когда не понимал, улыбаясь, и улыбка его понравилась Марье Васильевне так же, как и Полторацкому. Кудрявый же, востроглазый сынок Марьи Васильевны, которого мать называла Булькой, стоял подле матери, не спускал глаз с Хаджи-Мурата, про которого он слышал, как про необыкновенного воина.

Оставив Хаджи-Мурата у жены, Воронцов пошел в канцелярию, чтобы сделать распоряжение об извещении начальства о выходе Хаджи-Мурата. Написав донесение начальнику левого фланга, генералу Козловскому, в Грозную, и письмо отцу, Воронцов поспешил домой, боясь недовольства жены за то, что навязал ей чужого, страшного человека, с которым надо было обходиться так, чтобы и не обидеть и не слишком пригласать. Но страх его был напрасен. Хаджи-Мурат сидел на кресле, держа на колене Бульку, пасынка Воронцова, и, склонив голову, внимательно слушал то, что ему говорил переводчик, передавая слова смеющейся Марьи Васильевны. Марья Васильевна говорила ему, что если он будет отдавать всякому куняку ту свою вещь, которую куняк этот похвалит, то ему скоро придется ходить, как Адаму...

Хаджи-Мурат при входе князя снял с колен удивленного и обиженого этим Бульку и встал, тотчас же переменив игривое выражение лица на строгое и серьезное. Он сел только тогда, когда сел Воронцов. Продолжая разговор, он ответил на слова Марьи Васильевны тем, что такой их закон, что все, что понравилось куняку, то надо отдавать куняку.

— Твой сын — куняк, — сказал он по-русски, глядя по курчавым волосам Бульку, влезшего ему опять на колено.

— Он престетен, твой разбойник, — по-французски сказала Марья Васильевна мужу. — Булька стал любиться его кинжалом — он подарил его ему.

Булька показал кинжал отчиму.

— C'est un objet de prix¹, — сказала Марья Васильевна.

— Il faudrait trouver l'occasion de lui faire cadeau², — сказал Воронцов.

Хаджи-Мурат сидел, опустив глаза, и, глядя мальчишка по курчавой голове, приговаривал:

— Джигит, джигит.

— Прекрасный кинжал, прекрасный, — сказал Воронцов, вынув до половины отточенный булатный кинжал с дорожкой посередине. — Благодарствуй.

— Спроси его, чем я могу услужить ему, — сказал Воронцов переводчику.

Переводчик передал, и Хаджи-Мурат тотчас же отвечал, что ему ничего не нужно, но что он просит, чтобы его теперь отвели в место, где бы он мог помолиться. Воронцов позвал камердинера и велел ему исполнить желание Хаджи-Мурата.

Как только Хаджи-Мурат остался один в отведенной ему комнате, лицо его изменилось: исчезло выражение уважительности и то ласковости, то торжественности, и выступило выражение озабоченности.

Прием, сделанный ему Воронцовым, был гораздо лучше того, что он ожидал. Но чем лучше был этот прием, тем меньше доверял Хаджи-Мурат Воронцову и его офицерам. Он боялся всего: и того, что его схватят, заперут и сошлют в Сибирь или просто убьют, и потому был осторожен.

Он спросил у пришедшего Элдара, где поместили мюридов, где лошади и не отобрали ли у них оружие. Элдар донес, что лошади в княжеской конюшне, людой поместили в сарае, оружие оставили при них и переводчик утачивает их едою и чаем.

Хаджи-Мурат, недоумевая, покачал головой и, раздевшись, стал на молитву. Окончив ее, он велел принести себе серебряный кинжал и, одевшись и подпоясавшись, сел с ногами на тахту, дожидаясь того, что будет.

В пятом часу его позвали обедать к князю.

За обедом Хаджи-Мурат ничего не ел, кроме плова, которого он взял себе на тарелку из того самого места, из которого взял себе Марья Васильевна.

— Он боится, чтобы мы не отравили его, — сказала

¹ Это ценная вещь (фр.).

² Надо будет найти случай отдарить его (фр.).

ильевна мужу. — Он взял, где я взяла. — И тотчас к Хаджи-Мурату через переводчика, да, когда он теперь опять будет молиться, Хаджат поднял пять пальцев и показал на солнце. Стало быть, скоро.

Боронцов вынул брегет и прижал пружинку, — часы пробили четыре и одну четверть. Хаджи-Мурата, очевидно, удивил этот звон, и он попросил позвонить еще и посмотреть часы.

— Voilà l'occasion. Donnez-lui la montre! — сказала Марья Васильевна мужу.

Боронцов тотчас предложил часы Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат приложил руку к груди и взял часы. Несмотря сколько раз он нажимал пружинку, слушал и одобрительно покачивал головой.

После обеда князю доложили об адъютанте Мелгера-Закомельского.

Адъютант передал князю, что генерал, узнав об выходе Хаджи-Мурата, очень недоволен тем, что ему не было доложено об этом, и что он требует, чтобы Хаджи-Мурат сейчас же был доставлен к нему. Боронцов сказал, что приказание генерала будет исполнено, и, через переводчика передав Хаджи-Мурату требование генерала, попросил его идти вместе с ним к Мелгеру.

Марья Васильевна, узнав о том, зачем приходил адъютант, тотчас же поняла, что между ее мужем и генералом может произойти неприятность, и, несмотря на все отговоры мужа, собралась вместе с ним и Хаджи-Муратом к генералу.

— Vous feriez beaucoup mieux de rester; c'est mon affaire, mais pas la vôtre.

— Vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller voir madame la générale?

— Можно бы в другое время.

— А я хочу теперь.

Делать было нечего. Боронцов согласился, и они пошли все трое.

Когда они вошли, Мелгер с мрачной угрюмостью проводил Марью Васильевну к жене, адъютанту же велел

¹ Вот случай. Подари ему часы (фр.).

² — Ты сделала бы гораздо лучше, если бы осталась; это мое дело, а не твое.

— Ты не можешь препятствовать мне навестить генеральницу (фр.).

приводить Хаджи-Мурата в приемную и не выпускать никуда до его приказа.

— Прошу, — сказал он Боронцову, отворяя дверь в кабинет и пропуская в нее князя вперед себя.

Войдя в кабинет, он остановился перед князем и, не просив его сесть, сказал:

— Я здесь воинский начальник, и потому все переговоры с неприятелем должны быть ведены через меня. Почему вы не донесли мне о выходе Хаджи-Мурата?

— Ко мне пришел лазутчик и объявил желание Хаджи-Мурата отдаться мне, — отвечал Боронцов, бледней от волнения, ожидая грубой выходки разгневанного генерала и вместе с тем заражаясь его гневом.

— Я спрашиваю, почему не донесли мне?

— Я намеревался сделать это, барон, но...

— Я вам не барон, а ваше превосходительство.

И тут вдруг проявлялось долго сдерживаемое раздражение барона. Он высказал все, что давно накипело у него в душе.

— Я не затем двадцать семь лет служу своему государю, чтобы люди, со вчерашнего дня начавшие служить, подбавлять своими родственными связями, у меня под носом спорякались тем, что их не касается.

— Ваше превосходительство! Я прошу вас не говорить того, что несправедливо, — перебил его Боронцов.

— Я говорю правду и не позволю... — еще раздраженнее заговорил генерал.

В это время, шурина юбками, вошла Марья Васильевна и за ней невысокая скромная дама, жена Мелгера-Закомельского.

— Ну, полноте, барон, Симон не хотел вам сделать неприятности, — заговорила Марья Васильевна.

— Я, княгиня, не про то говорю...

— Ну, знаете, лучше оставим это. Знаете: худой тонр лучше доброй ссоры. Что я говорю... — Она замолчала.

И сердитый генерал покорился оборотливой улылке красавицы. Под усами его мелькнула улыбка. — Я признаю, что я был неправ, — сказал Боронцов, — но...

— Ну, и я поторчался, — сказал Мелгер и подал руку князю.

Мир был установлен, и решено было на время оста-

вить Хаджи-Мурата у Меллера, а потом отослать к начальнику левого фланга.

Хаджи-Мурат сидел рядом в комнате и, хотя не понимал того, что говорили, понял то, что ему нужно было повторить: что они спорили о нем, и что его выход от Шамии есть дело огромной важности для русских, и что поэтому, если только его не сошлют и не убьют, ему много можно будет требовать от них. Кроме того, понял он и то, что Меллер-Закомельский, хотя и начальник, не имеет того значения, которое имеет Воронцов, его подчиненный, и что важен Воронцов, а не важен Меллер-Закомельский; и поэтому, когда Меллер-Закомельский позвал к себе Хаджи-Мурата и стал распрашивать его, Хаджи-Мурат держал себя гордо и торжественно, говорил, что вышел из гор, чтобы служить белому царю, и что он обо всем даст отчет только его сардарю, то есть главнокомандующему, князю Воронцову, в Тифлисе.

VII

Раненого Авдеева снесли в госпиталь, помещавшийся в небольшом крытом тесом доме на выезде из крепости, и положили в общую палату на одну из пустых койки. В палате было четверо больных: один — метавшийся в жару тифозный, другой — бледный, с синевой под глазами, лихорадочный, докidayшийся наркосизма и неперестанно зевавший, и еще два раненных в набеге три недели тому назад — один в кисть руки (этот был на ногах), другой в плечо (этот сидел на койке). Все, кроме тифозного, окружили принесенного и распрашивали принесших.

— Другой раз палат, как горохом осыпают, и — ничего, а тут всего раз палок выстрелили, — рассказывал один из принесших.

— Кому что назначено!

— Ох, — громко крикнул, сдерживая боль, Авдеев, когда его стали класть на койку. Когда же его положили, он нахмурился и не стонал больше, но только не переставая шевелить ступнями. Он держал рану руками и неподвижно смотрел перед собой.

Пришел доктор и велел перевернуть раненого, чтобы посмотреть, не вышла ли пуля сади.

— Это что ж? — спросил доктор, указывая на переприцанную белые рубцы на спине и задку.

— Это старик, ваше высокоблагородие, — крихтя, повторил Авдеев.

Это были следы его наказания за пропитые деньги. Авдеева опять перевернули, и доктор долго ковырял лондом в животе и нащупал пулю, но не мог достать ее. Пероразав рану и заклеив ее липким пластырем, доктор ушел. Во все время ковыряния раны и перевязывания ее Авдеев лежал с стиснутыми зубами и закрытыми глазами. Когда же доктор ушел, он открыл глаза и удивленно оглянулся вокруг себя. Глаза его были направлены на больных и фельдшера, но он как будто не видел их, и видел что-то другое, очень удивлившее его.

Пришли товарищи Авдеева — Панов и Серетин. Авдеев все так же лежал, удивленно глядя перед собой. Он долго не мог ухватить товарищей, несмотря на то, что глаза его смотрели прямо на них.

— Ты Петра, чего домой приказать не хочешь ли? — спросил Панов.

Авдеев не отвечал, хотя и смотрел в лицо Панову. — Я говорю, домой приказать не хочешь ли чего? — повторил спросил Панов, трогая его за холодную широкую левую руку.

Авдеев как будто очнулся.

— А Антоныч пришел!

— Да вот пришел. Не приказал ли чего домой? Серетин напишет.

— Серетин, — сказал Авдеев, с трудом переводя глаза на Серетина, — напишешь?.. Так вот отпиши: «Сын, мой, или Петруха долго жить приказал». Завистовал брату. И тебе поныне сказывал. А теперь, значит, сам рад. Не завиди живей. Дай бог ему, в рад. Так и пропиши.

Сказав это, он долго молчал, устанавливаясь глазами на Панова.

— Ну, а трубку нашел? — вдруг спросил он.

Панов покачал головой и не отвечал.

— Трубку, трубку, говорю, нашел? — повторил Авдеев.

— В сумке была.

— То-то. Ну, а теперь свечку мне дайте, я сейчас помирить буду, — сказал Авдеев.

В это время пришел Полторацкий проведать своего поддента.

— Что, брат, глухо? — сказал он.

Авдеев закрыл глаза и отрицательно покачал головой. Скучающее лицо его было бледно и строго. Он ничего не ответил и только опять повторил, обращаясь к Панову:

— Свечку дай. Помирать буду.

Ему дали свечу в руку, но пальцы не сгибались, и он вложил ее между пальцев и придерживал. Потгортацкий ушел, и пять минут после его ухода фельдшер приложил ухо к сердцу Авдеева и сказал, что он кончился.

Смерть Авдеева в реляции, которая была послана в Тифлис, описывалась следующим образом: «23 ноября две роты Куринского полка выступили из крепости для рубки леса. В середине дня значительное скопище горцев внезапно атаковало рубщиков. Цепь начала отступать, и в это время вторая рота ударила в штыки и опрокинула горцев. В деле легко ранены два рядовых и убит один. Горцы же потеряли около ста человек убитыми и ранеными».

VIII

В тот самый день, когда Петруха Авдеев кончался в Воздвиженском госпитале, его старик отец, жена брати, за которого он пошел в солдаты, и дочь старшего брата, девка-невеста, молотили овес на морозном току. Накануне вывалил глубокий снег, и к утру сильно заморозило. Старик проснулся еще с третьими петухами и, увидев в замерзшем окне яркий свет месяца, слез с печи, обулся, надел шапку, шапку и пошел на гумно. Проработав там часа два, старик вернулся в избу и разбудил сына и баб. Когда бабы и девка пришли на гумно, ток был расчищен, деревянная лопата стояла воткнутой в белый сыпучий снег и рядом с нею метла прутьями вверх, и овсяные снопы были разостланы в два ряда, вдоль с воловьей, длинной веревкой по чистому току. Разобрали цепи и стали молотить, равномерно давая тремя ударами. Старик крепко бил тяжелым цепом, разбивая солому, девка ровным ударом била сверху, сноха отворачивала.

Месяц зашел, и началось светать; и уже кончали веревку, когда старший сын, Аким, в полушубке и шапке вышел к работающим.

— Ты чего лодырничаетшь? — крикнул на него отец, останавливаясь молотить и опираясь на цеп.

— Лошадей убирать надо же.

— Лошадей убирать, — передразнил отец. — Старуха уберет. Бери цеп. Больно жирен стал. Пьяница!

— Ты, что ли, меня поил? — пробурчал сын.

— Чего? — нахмурившись и пропуская удар, грозно спросил старик.

Сын молча взял цеп, и работа пошла в четыре цепя: трап, та-на-тап, трап, та-на-тап... Трап! — ударил после трех раз тяжелый цеп старика.

— Загринков-то, глянь, как у барина доброго. Вот у меня так портки не держатся, — протворил старик, пропуская свой удар и только, чтобы не потерять такту, перекорачивая в воздухе цепинкой.

Веревку кончили, и бабы граблями стали снимать солому.

— Дурак Петруха, что за тебя пошел. Из тебя бы в солдатах дурь-то повыбили бы, а он-то дома пятерых та-них, как ты, стоил.

— Ну, будет, батюшка, — сказала сноха, откидывая разбитые связла.

— Да, корми вас сам-шест, а работы и от одного нету.

Петруха, бывало, за двоих один работает, не то что... По протоптанной из двора тропинке, скрипя по снегу новыми лаптями на туго обвязанных шерстяных онучах, подошла старуха. Мужники сгребали невейное зерно в ворух, бабы и девка заметаали.

— Выборный заходил. На барщину всем кирпич во-зить, — сказала старуха. — Я завтракать собрага. Идите, что ль.

— Ладно. Чалого запрятки и ступай, — сказал старик Акиму. — Да смотри, чтоб не так, как намедни, отвечать на тебя. Попомнишь Петруху.

— Как он был дома, его ругал, — огрызнулся теперь Аким на отца, — а нет его, меня глодаешь.

— Значит, стоншь, — так же сердито сказала мать. — Не с Петрухой тебя сменить.

— Ну, ладно! — сказал сын.

— То-то ладно. Муку пропил, а теперь говоришь: ладно.

— Про старье дрожжи поминать двоялды, — сказала сноха, и все, положив цеп, пошла к дому.

Негады между отцом и сыном начались уже давно, почти со времени отдачи Петра в солдаты. Уже тогда ста-

рик почувствовал, что он променял кукушку на ястреба. Правда, что по закону, как разумеет его старик, надо было бездетному идти за семейного. У Акима было четверо детей, у Петра никого, но работник Петр был такой же, как и отец: ловкий, сметливый, сильный, выносливый и, главное, трудолюбивый. Он всеядо работал. Если он проходил мимо работающих, так же как и делывал старик, он тотчас же брался помогать — или пройдем ряды два с косой, или навьет воз, или срубят дерево, или порубят дров. Старик жалел его, но делать было нечего. Солдатство было как смерть. Солдат был отрезанный ломоть, и помянуть о нем — душу бередить — незачем было. Только изредка, чтобы уколоть старшего сына, старик, как нынче, вспоминал его. Мать же часто поминала меньшего сына и уже давно, второй год, просила старика, чтобы он послал Петрухе деньжонки. Но старик отмачивался.

Двор Авдеевых был богатый, и у старика были пританы деньжонки, но он ни за что не решился бы тронуть отложенного. Теперь, когда старуха услыхала, что он поминает меньшего сына, она решила опять просить его, чтобы при продаже овса послать сыну хоть рубльик. Так она и сделала. Оставшись вдвоем с стариком, после того как молодое ушли на барщину, она уговорила мужа из овсяных денег послать Петрухе. Так что, когда из провешенных ворохов двенадцать четвертей овса были насыпаны на веретья в трое саней и веретья аккуратно зашпилены деревянными шпильками, она дала старикку написанное под ее слова дьячком письмо, и старик обецал в городе приложить к письму рубль и послать по адресу.

Старик, одетый в новую шубу и кафтан и в чистых белых шерстяных онучах, взял письмо, уложил его в кошель и, помолившись богу, сел на передние сани и поехал в город. На задних санях ехал внук. В городе старик велел дворнику прочесть себе письмо и внимательно и одобрительно слушал его.

В письме Петрухиной матери было писано, во-первых, благословение, во-вторых, поклоны всех, известие о смерти крестного и под конец известие о том, что Аксиныя (жена Петра) «не захотела с нами жить и пошла в люди. Слышно, что живет хорошо и честно». Упоминалось о гостинце, о рубле, и прибавлялось то, что уже прямо

от себя, и слово в слово, пригорюнившись старуха, со слезами на глазах, велела написать дьяку:

«А еще, милое мое дитятко, голубок ты мой Петрушенька, выдлакала я свои глазунки, о тебе сокрушаючись. Солнцушко мое ненаглядное, на кого ты меня оставил...» На этом месте старуха завывла, заплакала и сказала:

— Так и будет.

Так и осталась в письме, но Петрухе не суждено было получить ни это известие о том, что жена его ушла из дома, ни рубля, ни последних слов матери. Письмо это и дельги вернулись назад с известием, что Петруха убит на войне, «защитная царя, отечество и веру православную». Так написал военный писарь.

Старуха, получив это известие, повывла, покуда было время, а потом взялась за работу. В первое же воскресенье она пошла в церковь и раздавала кусочки просвирок «добрым людям для поминания раба божия Петра».

Солдатка Аксиныя тоже повывла, узнав о смерти «любимого мужа, с которым» она «пожила только один годочек». Она жалела и мужа и всю свою погубленную жизнь. И в своем вытье поминала «и русые кудри Петра Михайловича, и его любовь, и свое торькое житье с сиротой Ванькой», и горько упрекала «Петрушу за то, что он покаялся брата, а не покаялся ее горькую, по чужим людям скитальщину».

В глубине же души Аксиныя была рада смерти Петра. Она была вновь брохата от приказчика, у которого она жила, и теперь никто уже не мог ругать ее, и приказчик мог взять ее замуж, как он и говорил ей, когда склонял ее к любви.

IX

Воронцов, Михаил Семенович, воспитанный в Англии, сын русского посла, был среди русских высших чиновников человек редкого в то время европейского образования, честолюбивый, мягкий и ласковый в обращении с низшими и тонкий придворный в отношениях с высшими. Он не понимал жизни без власти и без покорности. Он имел все высшие чины и ордена и считался искусным полководцем, даже победителем Наполеона под Краоном. Ему в 51-м году было за семьдесят лет, но он еще был

совсем свеж, бодро двигался и, главное, вполне отдавал всей ловкости тонкого и приятного ума, направленного на поддержание своей власти и утверждение и распространение своей популярности. Он владел большим богатством — и своим и своей жены, графини Браницкой, — и огромным получаемым содержанием в качестве наместника и тратил большую часть своих средств на устройство двора и сада на южном берегу Крыма.

Вечером 7 декабря 1851 года к дворцу его в Тифлисе подъехала курьерская тройка. Усталый, весь черный от пыли офицер, привезший от генерала Козловского известие о выходе к русским Хаджи-Мурата, разминал ноги, вошел мимо часовых в широкое крыльцо наместнического двора. Было шесть часов вечера, и Воронцов шел к обеду, когда ему доложили о приезде курьера. Воронцов принял курьера не откладывая и потому на несколько минут опоздал к обеду. Когда он вошел в гостиную, приглашенные к столу, человек тридцать, сидевшие около княгини Елизаветы Ксавьеровны и стоявшие группами у окон, встали, повернулись лицом к вошедшему. Воронцов был в своем обычном черном военном сюртуке без эполет, с полупотончиками и белым крестом на шее. Лишь бритое лицо его приятно улыбалось, и глаза щурились, оглядывая всех собравшихся.

Войдя мягкими, поспешными шагами в гостиную, он наклонился перед дамами за то, что опоздал, поздоровался с мужчинами и подошел к грузинской княгине Манане Орбеляни, сорокапятилетней, восточного склада, полной, высокой красавице, и подал ей руку, чтобы вести ее к столу. Княгиня Елизавета Ксавьеровна сама подавала руку приезжему рыжеватому генералу с цветистыми усами. Грузинский князь подал руку графине Шуазель, приятельнице княгини. Доктор Андреевский, адъютанты и другие, кто с дамами, кто без дам, пошли вслед за тремя парами. Лакеи в кафтанах, чулках и башмаках отодвигали и придвигали стулья садищимся; метрдотель торжественно разливал дымчистый суп из серебряной миски.

Воронцов сел в середине длинного стола. Напротив его села княгиня, его жена, с генералом. Направо от него была его дама, красавица Орбеляни, налево — стройная, черная, румяная, в блестящих украшениях, княжна-грозинка, не переставая улыбаться.

— *Excellentes, chère amie*, — отвечал Воронцов на вопрос княгини о том, какие он получил известия с курьером. — *Simon a eu de la chance!*

И он стал рассказывать так, чтобы могли слышать все сидящие за столом, поразительную новость, — для него одного это не было вполне новостью, потому что переговоры велись уже давно, — о том, что знаменитый, храбрый помощник Шамиля Хаджи-Мурат передался русским и нынче-завтра будет привезен в Тифлис.

Все обедавшие, даже молодежь, адъютанты и чиновники, сидевшие на дальних концах стола и перед этим о чем-то тихо смеявшиеся, все затихли и слушали.

— А вы, генерал, встречали этого Хаджи-Мурата? — спросила княгиня у своего соседа, рыжего генерала с шестистыми усами, когда князь перестал говорить.

— И не раз, княгиня.

И генерал рассказал про то, как Хаджи-Мурат в 43-м году, после взятия горцами Тергебили, наткнулся на отряд генерала Пассека и как он, на их глазах почти, убил полковника Золотухина.

Воронцов слушал генерала с приятной улыбкой, очевидно довольный тем, что генерал разговаривал. Но вдруг лицо Воронцова приняло рассеянное и унылое выражение.

Разговорившись генерал стал рассказывать про то, где он в другой раз столкнулся с Хаджи-Муратом.

— Ведь это он, — говорил генерал, — вы изволите помнить, ваше сиятельство, устроил в сухарную экспедицию засаду на вырубке.

— Где? — переспросил Воронцов, щури глаза.

Дело было в том, что храбрый генерал называл «вырубкой» то дело в несчастном Даргинском походе, в котором действительно погиб бы весь отряд с князем Воронцовым, командовавшим им, если бы его не выручили вновь подошедшие войска. Всем было известно, что весь Даргинский поход, под начальством Воронцова, в котором русские потеряли много убитых и раненых и несколько пушек, был постыдным событием, и потому если кто и говорил про этот поход при Воронцове, то говорили только в том смысле, в котором Воронцов написал донесение царю, то есть, что это был блестящий подвиг русских полков. Словом же «вырубка» прямо указывалось на то,

¹ Превосходные, милый друг, Семену повозго (*фр.*)...

что это был не блестящий полковник, а ошибка, погубившая много людей. Все поняли это, и одни делали вид, что не замечают значения слов генерала, другие испуганно окликали, что будет дальше; некоторые, улыбаясь, переглянулись.

Один только рыжий генерал с щетинистыми усами ничего не замечал и, увлеченный своим рассказом, спокойно ответил:

— На выручке, ваше сиятельство.

И, раз заведенный на любимую тему, генерал подробно рассказал, как «этот Хаджи-Мурат так ловко разрешил отряд пополам, что не приди нам на выручку, — он как будто с особенной любовью повторял слово «выручка», — тут бы все и остановилось, потому...»

Генерал не успел досказать все, потому что Манана Орбелини, поняв, в чем дело, перебила речь генерала, расприщивая его об удобствах его помещения в Тифлисе. Генерал удивился, отпрянул на всех и на своего дядю-танта в конце стола, упорным и значительным взглядом смотревшего на него, — и вдруг понял. Не отвечая книжке, он нахмурился, замолчал и стал поспешно есть, не жужа, лежащее у него на тарелке утонченное кушанье непонятного для него вида и даже вкуса.

Всем стало неловко, но неловкость положения исправила грузинский князь, очень глупый, но необыкновенно тонкий и искусный льстец и придворный, сидевший по другую сторону книжки Воронцова. Он, как будто ничего не замечая, громким голосом стал рассказывать про похищение Хаджи-Муратом вдовы Ахмет-Хана Мехтулинского:

— Ночью вошел в селенье, схватил, что ему нужно было, и уехал со всей партией.

— Зачем же ему нужна была именно женщина эта? — спросила книжка.

— А он был враг с мужем, преследовал его, но нигде до самой смерти хана не мог встретить, так вот он отомстил на вдове.

Книжка перевела это по-французски своей старой приятельнице, графине Швазэль, сидевшей подле грузинского князя.

— *Quelle horreur!*¹ — сказала графиня, закрывая глаза и покачивая головой.

¹ Какой ужас! (фр.)

— О нет, — сказал Воронцов, улыбаясь, — мне говорили, что он с рыцарским уважением обращался с пленницей и потом отпустил ее.

— Да, за выкуп.

— Ну разумеется, но все-таки он благородно поступил.

Эти слова князя дали тон дальнейшим рассказам про Хаджи-Мурата. Придворные поняли, что чем больше приписывать значения Хаджи-Мурату, тем приятнее будет князю Воронцову.

— Удивительная смелость у этого человека. Замечательный человек.

— Как же, в сорок девятом году он среди беда дня ворвался в Темир-Хан-Шуру и разграбил лавки.

Сидевший на конце стола армянин, бывший в то время в Темир-Хан-Шуре, рассказал про подробности этого подвига Хаджи-Мурата.

Вообще весь обед прошел в рассказах о Хаджи-Мурате. Все напереыв хвалили его храбрость, ум, великодушие. Кто-то рассказал про то, как он велел убить двадцать шесть пленников; но и на это было обычное возражение.

— Что делаты! А *la guette* сошме а *la guette*!

— Это большой человек.

— Если бы он родился в Европе, это, может быть, был бы новый Наполеон, — сказал глупый грузинский князь, имеющий дар лести.

Он знал, что всякое упоминание о Наполеоне, за победу над которым Воронцов носил белый крест на шее, было приятно князю.

— Ну, хоть не Наполеон, но лихой кавалерийский генерал — да, — сказал Воронцов.

— Если не Наполеон, то Мюрат.

— И имя его — Хаджи-Мурат.

— Хаджи-Мурат вышел, теперь конец и Шамилю, — сказал кто-то.

— Они чувствуют, что им теперь (это теперь значило: при Воронцове) не выдержат, — сказал другой.

— *Tout cela est gâté à vous*,² — сказала Манана Орбелини.

¹ На войне как на войне (фр.).

² Все это благодаря вам (фр.).

Князь Воронцов старался умерить волны лести, которые начинали уже загивать его. Но ему было приятно, и он повел от стола свою даму в гостиную в самом хорошем расположении духа.

После обеда, когда в гостиную обносили кофе, князь особенно ласков был со всеми и, подойдя к генералу с рыжыми щетинистыми усами, старался показать ему, что он не заметил его неловкости.

Обойдя всех гостей, князь сел за карты. Он играл только в старинную игру — ломбер. Партнерами князи были: грузинский князь, потом армянский генерал, выучившийся у камердинера князя играть в ломбер, и четвертый, — знаменитый по своей власти, — доктор Андреевский.

Поставив подле себя золотую табакерку с портретом Александра I, Воронцов разодрал атласные карты и хотел разостлать их, когда вошел камердинер, итальянец Джовани, с письмом на серебряном подносе.

— Еще курьер, ваше сиятельство.
Воронцов положил карты и, извинившись, распечатал и стал читать.

Письмо было от сына. Он описывал выход Хаджи-Мурата и столкновение с Меллер-Закомельским.

Книгина подошла и спросила, что пишет сын.

— Все о том же. *Il a eu quelques désagréments avec le commandant de la place. Simon a eu tort¹. But all is well what ends well²*, — сказал он, передавая жене письмо, и, обращаясь к почтительно дожидавшимся партнерам, попросил брать карты.

Когда сдала первую сдачу, Воронцов открыл табакерку и сделал то, что он делывал, когда был в особенно хорошем расположении духа: достал старчески сморщенными белыми руками щепотку французского табаку и поднес ее к носу и высматывал.

X

Когда на другой день Хаджи-Мурат явился к Воронцову, приемная князя была полна народа. Тут был и французский генерал с щетинистыми усами, в полной форме

¹ У него были кое-какие неприятности с комендантом крепости. Семен был неправ (фр.).

² Но все хорошо, что хорошо кончается (англ.).

и орденах, приехавший откланяться; тут был и полковой командир, которому угрожали судом за злоупотребление по проволочеству ванию полка; тут был армянский богач, покровительствующий доктором Андреевским, который держал на откупе водку и теперь хлопотал о возобновлении контракта; тут была, вся в черном, вдова убитого офицера, приехавшая просить о пенсии или о поощении детей на казенный счет; тут был разорившийся грузинский князь в великобелом грузинском костюме, выходявший к себе упрямое церковное поместье; тут был пристав с большим свертком, в котором был проект о новом способе покорения Кавказа; тут был один хан, явившийся только затем, чтобы рассказать дома, что он был у князя.

Все дожидались очереди и один за другим были введены красивые белокурым юношей-адъютантом в кабинет князя.

Когда в приемную вошел бодрый шагом, прихрамывав, Хаджи-Мурат, все глаза обратились на него, и он слышал в разных концах шепотом проносимое его имя.

Хаджи-Мурат был одет в длинную белую черкеску на коричневом, с тонким серебряным галуном на воротнике, бешмете. На ногах были черные ноговицы и такие же чувыки, как перчатка обтягивающие ступни, на британской голове — папаха с чалмой, — той самой чалмой, за которую он, по доносу Ахмет-Хана, был арестован генералом Кюлегану и которая была причиной его перехода к Шамилю. Хаджи-Мурат шел, быстро ступая по паркету приемной, покаявшись всем тонким станом от легкой хромоты на одну, более короткую, чем другая, ногу. Широко расставленные глаза его спокойно глядели вперед и, казалось, никого не видели.

Красивый адъютант, поздоровавшись, попросил Хаджи-Мурата сесть, пока он доложит князю. Но Хаджи-Мурат отказался сесть и, заложив руку за книжку и отставив ногу, продолжал стоять, презрительно оглядывая присутствующих.

Переводчик, князь Тарханов, подошел к Хаджи-Мурату и заговорил с ним. Хаджи-Мурат неохотно, отрывисто отвечал. Из кабинета вышел кумыцкий князь, жадно выслушав на пристава, и вслед за ним адъютант позвал Хаджи-Мурата, подвел его к двери кабинета и пропустил и все.

Воронцов принял Хаджи-Мурата, стоя у края стола. Старое бегое лицо главнокомандующего было не такое улыбающееся, как вчера, а скорее строгое и торжественное.

Войдя в большую комнату с огромным столом и большими окнами с зелеными жалюзи, Хаджи-Мурат привел свои небольшие, затопленные руки к тому месту ^{на груди,} где перекрещивалась белая черкеска, и неторопливо, выткнув и почтительно, на кумыцком наречии, на котором он хорошо говорил, опустил глаза, сказал:

— Отдаюсь под высокое покровительство великого царя и ваше. Обещаюсь верно, до последней капли крови служить бегому царю и надеюсь быть полезным в войне с Шамилем, врагом моим и вашим.

Выслушав переводчика, Воронцов взглянул на Хаджи-Мурата, и Хаджи-Мурат взглянул в лицо Воронцова.

Глаза этих двух людей, встретившись, говорили другу другу многое, не выраженное словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик. Они прямо, без слов, высказывали друг о друге всю истину: глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджи-Мурат, что он знает, что он — враг всему русскому, всегда останется таким и теперь покоряется только потому, что принужден к этому. И Хаджи-Мурат понимал это и все-таки уверял в своей преданности. Глаза же Хаджи-Мурата говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне, но что он хоть и стар, но хитер, и надо быть осторожным с ним. И Воронцов понимал это и все-таки говорил Хаджи-Мурату то, что считал нужным для успеха войны.

— Скажи ему, — сказал Воронцов переводчику (он говорил «ты» моголым офицерам), — что наш государь так же милостив, как и могуществен, и, вероятно, по моей просьбе простит его и примет в свою службу. Передаст? — спросил он, глядя на Хаджи-Мурата. — До тех пор, пока получу милостивое решение моего повелителя, скажи ему, что я беру на себя принять его и сделать ему пребывание у нас приятным.

Хаджи-Мурат еще раз прижал руки к середине груди и что-то оживленно заговорил.

Он говорил, как передавал переводчик, что и прежде, когда он управлял Аварией, в 39-м году, он верно служил русским и никогда не изменил бы им, если бы не враг

его, Ахмет-Хан, который хотел погубить его и оклеветал перед генералом Клебукиным.

— Знаю, знаю, — сказал Воронцов (хотя он если и знал, то давно забыл все это). — Знаю, — сказал он, садясь и указывая Хаджи-Мурату на тахту, стоявшую у стены. Но Хаджи-Мурат не сел, пока сильными печатями и знак того, что он не решается сидеть в присутствии такого важного человека.

— И Ахмет-Хан и Шамиль, оба — враги мои, — продолжал он, обращаясь к переводчику. — Скажи князю: Ахмет-Хан умер, я не мог отомстить ему, но Шамиль еще жив, и я не умру, не отплатить ему, — сказал он, нахмурив брови и крепко сжав челюсти.

— Да, да, — спокойно проговорил Воронцов. — Как же он хочет отплатить Шамилю? — сказал он переводчику. — Да скажи ему, что он может сесть.

Хаджи-Мурат опять отказался сесть и на переданный ему вопрос отвечал, что он затем и вышел к русским, чтобы помочь им уничтожить Шамиля.

— Хорошо, хорошо, — сказал Воронцов. — Что же именно он хочет сделать? Садись, садись...

Хаджи-Мурат сел и сказал, что если только его пошлют на дегинскую линию и дадут ему войско, то он ручается, что поднимет весь Дагестан, и Шамилю нельзя будет держаться.

— Это хорошо. Это можно, — сказал Воронцов. — И подумаю.

Переводчик передал Хаджи-Мурату слова Воронцова. Хаджи-Мурат задумался.

— Скажи сардарю, — сказал он еще, — что моя семья и руках моего врага; и до тех пор, пока семья моя в горах, я связан и не могу служить. Он убьет мою жену, убьет мать, убьет детей, если я прямо пойду против него. Пусть только князь выручит мою семью, выменяет ее на пленных, и тогда я или умру, или уничтожу Шамиля.

— Хорошо, хорошо, — сказал Воронцов. — Подумаем об этом. Теперь же пусть он идет к начальнику штаба и подробно изложит ему свое положение, свои намерения и желания.

Тем кончилось первое свидание Хаджи-Мурата с Воронцовым.

В тот же день, вечером, в новом, в восточном влусе отдулганном театре шла итальянская опера. Воронцов был

в своей ложе, и в партере повивалась заметная фигура хромого Хаджи-Мурата в чалме. Он вошел с приставленным к нему адъютантом Воронцова Лорис-Меликовым и поместился в первом ряду. С восточными, мусульманским достоинством, не только без выражения удивления, но с видом равнодушия, просидев первый акт, Хаджи-Мурат встал и, спокойно оглядывая зрителей, вышел, обращая на себя внимание всех зрителей.

На другой день был понедельник, обычный вечер у Воронцовых. В большой, ярко освещенной зале играла скрытая в зимнем саду музыка. Молодые и не совсем молодые женщины, в одеждах, обнаживших и шею, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах. У горы бужета лакеи в красных фраках, чулках и башмаках разгивали шампанское и обносили конфеты дамам. Жена «сардаря» тоже, несмотря на свои немолодые годы, так же полуобнаженная, ходила между гостями, приветливо улыбаясь, и сказала через переводчика несколько ласковых слов Хаджи-Мурату, с тем же равнодушием, как вчера в театре, оглядывавшему гостей. За хозяйкой подошли к Хаджи-Мурату и другие обнаженные женщины, и все, не стыдясь, стояли перед ним и, улыбаясь, спрашивали все одно и то же: как ему нравится то, что он видит. Сам Воронцов, в золотых эпогетах и аксельбантах, с белым крестом на шее и лентой, подошел к нему и спросил то же самое, очевидно уверенный, как и все спрашивающие, что Хаджи-Мурату не могло не нравиться все то, что он видел. И Хаджи-Мурат отвечал и Воронцову то, что отвечал всем: что у них этого нет,— не высказывая того, что хорошо или дурно то, что этого нет у них.

Хаджи-Мурат понимался было заговорить и здесь, на балае, с Воронцовым о своем деле выкупя семьи, но Воронцов, сделав вид, что не слышал его слов, отошел от него. Лорис-Меликов же сказал потом Хаджи-Мурату, что здесь не место говорить о делах.

Когда пробило одиннадцать часов и Хаджи-Мурат поверил время на своих, поларенных ему Марьей Васильевной, часах, он спросил Лорис-Меликова, можно ли уехать. Лорис-Меликов сказал, что можно, но что было бы лучше остаться. Несмотря на это, Хаджи-Мурат не остался и уехал на данном в его распоряжение фатоне в отведенную ему квартиру.

На пятый день пребывания Хаджи-Мурата в Тифлисе Лорис-Меликов, адъютант заместника, приехал к нему по поручению главнокомандующего.

— И голова и руки рады служить сардарю,— сказал Хаджи-Мурат с обычным своим дипломатическим выражением, наклонив голову и прикладывая руки к груди.— Приехали,— сказал он, ласково глядя в глаза Лорис-Меликову.

Лорис-Меликов сел на кресло, стоявшее у стола. Хаджи-Мурат опустился против него на низкой тахте и, опершись руками на колени, наклонил голову и внимательно стал слушать то, что Лорис-Меликов говорил ему. Лорис-Меликов, свободно говоривший по-татарски, сказал, что князь, хотя и знает прошедшее Хаджи-Мурата, желает от него самого узнать всю его историю.

— Ты расскажи мне,— сказал Лорис-Меликов,— а я и ланцишу, переводу потом по-русски, и князь пошлет государю.

Хаджи-Мурат помогал (он не только никогда не пербивал речи, но всегда выжидал, не скажет ли собеседник еще чего), потом поднял голову, стряхнув папаху назад, улынулся той особенной, детской улыбкой, которой он пленил еще Марью Васильевну.

— Это можно,— сказал он, очевидно, польщенный мыслью о том, что его история будет прочтена государем.

— Расскажи мне (по-татарски нет обращения на вы) все с начала, не торопись,— сказал Лорис-Меликов, доставая из кармана записную книжку.

— Это можно, только много, очень много есть чего рассказывать. Много дела было,— сказал Хаджи-Мурат.

— Не успеешь в один день, в другой день доскалешь,— сказал Лорис-Меликов.

— С начала начинать?

— Да, с самого начала: где родился, где жил.

Хаджи-Мурат опустил голову и долго просидел так; потом взял палочку, лежавшую у тахты, достал из-под пинжака с слоеной ручкой, оправленной золотом, острый, как бритва, булатный ножик и начал им резать палочку и в одно и то же время рассказывать:

— Пиши: родился в Цельмесе, аул небольшой, с осли-

ную голову, как у нас говорят в горах, — начал он. — Недалеко от нас, выстрела за два, Хунзах, где ханы жили. И наше семейство с ними близко было. Моя мать стала старшего хана, Абунунцад-Хана, от этого я и стал близок к ханам. Ханов было трое: Абунунцад-Хан, молодой брат моего брата Османа, Урма-Хан, мой брат названный, и Булаг-Хан, меньшой, тот, которого Шамиль бросил с кручи. Да это после. Мне было лет пятнадцать, когда по аулам стали ходить мюриды. Они били по камням деревянными шапками и кричали: «Мусульмане, хазаваг!» Чеченцы все перешли к мюридам, и аварцы стали переходить к ним. Я жил тогда во двореце. Я был как брат ханам: что хотел, то делал, и стал богат. Были у меня и лошади, и оружие, и деньги были. Жил в свое удовольствие и ни о чем не думал. И жил так до того времени, когда Кази-Мудгу убили и Гамзат стал на его место. Гамзат прислал ханам послов сказать, что, если они не примут хазаваг, он разорит Хунзах. Тут надо было подумать. Ханы боялись русских, боялись принять хазаваг, и ханша послала меня с сыном, с вторым, с Урма-Ханом, в Тифлис просить у главного русского начальника помощи от Гамзата. Главным начальником был Розен, барон. Он не принял ни меня, ни Урма-Хана. Ведел сказал, что поможет, и ничего не сделал. Только его офицеры стали ездить к нам и играть в карты с Урма-Ханом. Они поили его вином и в дурные места возили его, и он проиграл им в карты все, что у него было. Он был телом сильный, как бык, и храбрый, как лев, а души слабый, как вода. Он проиграл бы последние коней и оружие, если бы я не увез его. После Тифлиса мысли мои переменялись, и я стал уговаривать ханшу и молодых ханов принять хазаваг.

— Отчего ж переменялись мысли? — спросил Дорис-Меликов, — не поменялись русские?

Хаджи-Мурат помогал.

— Нет, не поменялись, — решительно сказал он и закрыл глаза. — И еще было дело такое, что я захотел принять хазаваг.

— Какое же дело?

— А под Цельмесом мы с ханом столкнулись с тремя мюридами: два ушли, а третьего я убил из пистолета. Когда я подошел к нему, чтоб снять оружие, он был жив еще. Он поглядел на меня. «Ты, говорит, убил меня. Мне

хорошо. А ты мусульманин, и могод и силен, прими хазаваг. Бог велит».

— Что ж, и ты принял?

— Не принял, а стал думать, — сказал Хаджи-Мурат и продолжал свой рассказ. — Когда Гамзат поспешил к Хунзаху, мы послали к нему стариков и велели сказать, что согласны принять хазаваг, только бы он прислал ученого человека растолковать, как надо держать его. Гамзат велел старикам обрить усы, проткнуть ноздри, привесить к их носам лепешки и отослать их назад. Старики сказали, что Гамзат готов прислать шейха, чтобы научить нас хазавагу, но только с тем, чтобы ханша прислала к нему аманатом своего меньшего сына. Ханша поверила и послала Булаг-Хана к Гамзату. Гамзат принял хорошо Булаг-Хана и прислал к нам звать к себе и старших братьев. Он велел сказать, что хочет служить ханам так же, как его отец служил их отцу. Ханша была женщина слабая, глупая и дерзкая, как и все женщины, когда они живут по своей воле. Она побила послать обоим сыновей и послала одного Урма-Хана. Я поехал с ним. Нас за версту встретили мюриды и пели, и стреляли, и джигитовали вокруг нас. А когда мы подъехали, Гамзат вышел из палатки, подошел к стремени Урма-Хана и принял его, как хана. Он сказал: «Я не сделал вашему дому никакого зла и не хочу делать. Вы только меня не убейте и не мешайте мне приводить людей к хазавагу. А я буду служить вам со всем моим войском, как отец мой служил вашему отцу. Пустите меня жить в вашем доме. Я буду помогать вам моими советами, а вы делайте, что хотите». Урма-Хан был туп на речи. Он не знал, что сказать, и молчал. Тогда я сказал, что если так, то пускай Гамзат едет в Хунзах. Ханша и хан с почетом примут его. Но мне не дали досказать, и тут в первый раз я столкнулся с Шамигом. Он был тут же, подле имама. «Не тебе спрашивают, а хана», — сказал он мне. Я замолчал, а Гамзат проводил Урма-Хана в палатку. Потом Гамзат позвал меня и велел с своими послать ханшу отпустить к Гамзату и старшего хана. Я видел помену и сказал ханше, чтобы она не послала сына. Но у женщины ума в голове — сколько на яйце волос. Ханша поверила и велела сыну ехать. Абунунцад не хотел. Тогда она сказала: «Видно, ты боишься». Она, как

пчела, знала, в какое место больше ужалить его. Абулчицад загорелся, не стал больше говорить с ней и велел сесть. И поехал с ним. Гамзат встретил нас еще лучше, чем Умма-Хана. Он сам выехал навстречу за два выстрела под гору. За ним ехали конные с значками, пели «Ли илгха иль алга», стреляли, джигитовали. Когда мы подъехали к лагерю, Гамзат ввел хана в палатку. А я остался с лошадыми. Я был под горой, когда в палатке Гамзата стали стрелять. Я подбежал к палатке. Умма-Хан лежал ничком в луже крови, а Абулчицад бился с мюрдиами. Поговина лица у него была отрублена и висела. Он захватил ее одной рукой, а другой рубил кинжалом всех, кто подходил к нему. При мне он срубил брата Гамзата и намеривался уже на другого, но тут мюрди стали стрелять в него, и он упал.

Хаджи-Мурат остановился, загорелое лицо его было покраснело, и глаза налились кровью.

— На меня нашел страх, и я убежал.

— Вот как? — сказал Лорис-Меликов. — Я думал, что ты никогда ничего не боялся.

— Потом никогда; с тех пор я всегда вспоминал этот стыд, и когда вспоминал, то уже ничего не боялся.

XII

— А теперь довольно. Молитесь надо, — сказал Хаджи-Мурат, достал из внутреннего кармана черкески берет Воронцова, бережно прижал пружинку и, склонив набок голову, удеркивая детскую улыбку, слушал. Часы прозвонили двенадцать ударов и четверть.

— Кунак Воронцов пешкеш¹, — сказал он, улыбаясь. — Хороший человек.

— Да, хороший, — сказал Лорис-Меликов. — И часы хорошие. Так ты молишь, а я подожду.

— Якши, хорошо, — сказал Хаджи-Мурат и ушел в спальню.

Оставшись один, Лорис-Меликов записал в своей книжечке самое главное из того, что рассказывал ему Хаджи-Мурат, потом закурил папиросу и стал ходить взад и вперед по комнате. Подожди к двери, противноположной спальне, Лорис-Меликов услышал оживленные голоса по-татарски быстро говоривших о чем-то людей. Он догадал-

он, что это были мюриды Хаджи-Мурата, и, отворив дверь, вошел к ним.

В комнате стоял тот особенный, кислый, кожаный запах, который бывает у горцев. На полу на бурке, у окна, сидел кривой рыжий Гамзало, в оборванном, засаженном бешмете, и визал уздечу. Он что-то горячо говорил своим хриплым голосом, но при входе Лорис-Меликов тотчас же замолчал и, не обращая на него внимания, продолжал свое дело. Против него стоял веселый Хан-Магома и, скали белые зубы и блестя черными, без ресниц, глазами, повторял все одно и то же. Красавец Эгдар, ისუყив рукава на своих сильных руках, оттирал подпруги подвешенного на гвозде седла. Ханефи, главного работника и заведующего хозяйством, не было в комнате. Он на кухне варил обед.

— О чем это вы спорили? — спросил Лорис-Меликов у Хан-Магомы, поздоровавшись с ним.

— А он все Шамгил хвалит, — сказал Хан-Магома, подавая руку Лорису. — Говорит, Шамгил — большой человек. И ученый, и святой, и джигит.

— Как же он от него ушел, а все хвалит?

— Ушел, а хвалит, — скали зубы и блестя глазами, проговорил Хан-Магома.

— Что же, и считаешь его святым? — спросил Лорис-Меликов.

— Кабы не святой, народ бы не слушал его, — быстро проговорил Гамзало.

— Святой был не Шамгил, а Мансур, — сказал Хан-Магома. — Это был настоящий святой. Когда он был имамом, весь народ был другой. Он ездил по аулам, и народ приходил к нему, целовал ноги его черкески и клялся в грехах, и клялся не делать дурного. Старики говорили: тогда все люди жили, как святые, — не курили, не пили, не пропускали молитвы, обиды прощали друг другу, даже кровь прощали. Тогда деньги и вещи, как находили, прибивали на щесты и ставили на дорогах. Тогда и бог давал успеха народу во всем, а не так, как теперь, — говорил Хан-Магома.

— И теперь в горах не пьют и не курят, — сказал Гамзало.

— Ламорой твой Шамгил, — сказал Хан-Магома, подмигивая Лорис-Меликову.

«Ламорой» было презрительное название горцев.

— Даморой — горец. В горах-то и живут орды, — отвечал Гамзало.

— А молодчина! Ловко срезал, — оскаливая зубы, заговорил Хан-Магома, радуясь на ловкий ответ своего противника.

Увидя серебряную пширосочницу в руке Лорис-Меликова, он попросил себе покурить. И когда Лорис-Меликов сказал, что им ведь запрещено курить, он подмигнул одним глазом, мотнув головой на спальню Хаджи-Мурата, и сказал, что можно, пока не видят. И тотчас же стал курить, не затгиваясь и неговко сгладывая свои красные губы, когда выпустил дым.

— Нехорошо это, — строго сказал Гамзало и вышел из комнаты. Хан-Магома подмигнул и на него и, покуривая, стал расприрашивать Лорис-Меликова, где лучше купить шелковый бешмет и папаху белую.

— Что же, у тебя разве так денег много?

— Есть, достанет, — подмигивая, отвечал Хан-Магома.

— Ты спроси у него, откуда у него деньги, — сказал Элдар, поворачивая свою красивую улыбающуюся голову к Лорису.

— А выиграл, — быстро заговорил Хан-Магома, он рассказал, как он вчера, гуляя по Тифлису, набрал на кучку людей, русских денщиков и армян, игравших в орлинку. Коп был большой: три золотых и серебра много. Хан-Магома тотчас же понял, в чем игра, и, позавинив медными, которые были у него в кармане, вошел в круг и сказал, что держит на все.

— Как же на все? Разве у тебя было? — спросил Лорис-Меликов.

— У меня всего было двенадцать копеек, — оскаливая зубы, сказал Хан-Магома.

— Ну, а если бы проиграл?

— А вот.

И Хан-Магома указал на пистолет.

— Что же, отдал бы?

— Зачем отдавать? Убежал бы, а кто бы задержал, убил бы. И выиграл?

— Что же, и выиграл?

— Ая, собрал все и ушел.

Хан-Магому и Элдара Лорис-Меликов вполне понимал. Хан-Магома был веселычак, кутига, не знавший, куда деть избыток жизни, всегда веселый, легкомысленный,

игравший своею и чужими жизнями, из-за этой игры можно было вышедший теперь к русским и точно так же и Шамилю. Элдар был тоже вполне понятен: это был человек, вполне преданный своему мюриду, спокойный, смелый и твердый. Непонятен был для Лорис-Меликова только рыжий Гамзало. Лорис-Меликов видел, что когда этого не только был предан Шамилю, но испытывал предостережимое отращивание, презрение, гадливость и ненависть ко всем русским; и потому Лорис-Меликов не мог понять, зачем он вышел к русским. Лорис-Меликову приходила мысль, раздвигая и некоторыми начальствующими лицами, что выход Хаджи-Мурата и его рассказы о вражде с Шамилем был обман, что он вышел только, чтобы высмотреть слабые места русских и, убежав опять в горы, направить силы туда, где русские были слабы. И Гамзало всем своим существом подтверждал это предположение. «Те и сам Хаджи-Мурат, — думал Лорис-Меликов, — умеют скрывать свои намерения, но этот выдает себя своей нескрываемой ненавистью».

Лорис-Меликов попытался говорить с ним. Он спросил, скучно ли ему здесь. Но он, не оставляя своего занятия, косясь своим одним глазом на Лорис-Меликова, хрипло и отрывисто прорывал:

— Нет, не скучно.

И так же отвечал на все другие вопросы. Пока Лорис-Меликов был в комнате нукеров¹, вошел и четвертый мюрид Хаджи-Мурата, аварец Ханефи, с погостатым лицом и шей и мохнатой, точно мехом обросшей, выпуклой грудью. Это был нераскулающийся, здохреный работник, всегда поглощенный своим делом, без раскулаждения, как и Элдар, повинующийся своему хозяину.

Когда он вошел в комнату нукеров за рисом, Лорис-Меликов остановил его и расспросил, откуда он и давно ли у Хаджи-Мурата.

— Пять лет, — отвечал Ханефи на вопрос Лорис-Меликова. — Я из одного аула с ним. Мой отец убил его дядю, и они хотели убить меня, — сказал он, спокойно напод сросшихся бровей глядя в лицо Лорис-Меликова. — Тогда я попросил принять меня братом.

— Что значит: принять братом?

¹ Служители, телохранители (перс.).

— Я не брил два месяца головы, ногтей не стриг и пришел к ним. Они пустили меня к Патимат, к его матери. Патимат дала мне грудь, и я стал его братом.

В соседней комнате послышался голос Хаджи-Мурата. Эгдар тотчас же узнал призыв хозяина и, отерев руки, широко шагая, поспешно пошел в гостиную.

— Зовут к себе, — сказал он, возвращаясь.

И, дав еще папирску веселому Хан-Магоме, Лорис-Меликов пошел в гостиную.

XIII

Когда Лорис-Меликов вошел в гостиную, Хаджи-Мурат с веселым лицом встретил его.

— Что же, продолжатся? — сказал он, усаживаясь на тахту.

— Да, непременно, — сказал Лорис-Меликов. — А я заходил к твоим нукерам, говорил с ними. Один — веселый малый, — прибавил Лорис-Меликов.

— Да, Хан-Магома — легкий человек, — сказал Хаджи-Мурат.

— А понравился мне молодой, красивый.

— А, Эгдар. Этот молод, а тверд, железный.

Они помолчали.

— Так говорить дальше?

— Да, да.

— Я сказал, как ханов убили. Ну, убили их, и Гамзат въехал в Хуназах и сел в ханском дворце, — начал Хаджи-Мурат. — Оставалась мать-ханша. Гамзат призывал ее к себе. Она стала выговаривать ему. Он мигнул своему мюриду Асельдеру, и тот сразу ударил, убил ее.

— Зачем же он убил ее-то? — спросил Лорис-Меликов.

— А как же быть: перегез передними ногами, передезай и задними. Надо было всю породу покончить. Так и слегали. Шамиль меньшого убил, сбросил с кручи. Вся Авария покорилась Гамзату, только мы с братом не хотели покориться. Нам надо было кровь его за ханов. Мы дали вид, что покорились, а думали только, как взять с него кровь. Мы посоветовались с дедом и решили выждать время, когда он выедет из дворца, и из засады убить его. Кто-то подслушал нас, сказал Гамзату, и он призывал к себе деда и сказал: «Смотри, если правда, что

твой плуток задумывают худое против меня, выдать тебе с ними на одной перекладине. Я делал дело божье, и мне помешать нельзя. Иди и помни, что я сказал». Дед пришел домой и сказал нам. Тогда мы решили не ждаться, сделать дело в первый день праздника в мечети. Товарищи отказались, — остались мы с братом. Мы взяли по два пистолета, надели бурки и пошли в мечеть. Гамзат вошел с тридцатью мюридами. Все они держали шанки нагого. Рядом с Гамзатом шел Асельдер, его любимый мюрид, — тот самый, который отрубил голову ханше. Увидав нас, он крикнул, чтобы мы сняли бурки, и подошел ко мне. Книжка у меня был в руке, и я убил его и бросился к Гамзату. Но брат Осман уже выстрелил в него. Гамзат еще был жив и с книжкою бросился на брата, но я добил его в голову. Мюридов было тридцать человек, нас — двое. Они убили брата Османа, а я отбил, выскочил и огно и ушел. Когда узнали, что Гамзат убит, весь народ поднялся, и мюриды бежали, а тех, какие не бежали, всех перебили.

Хаджи-Мурат остановился и тяжело перевел дух.

— Это все было хорошо, — продолжал он, — потом все испортилось. Шамиль стал на место Гамзата. Он приехал ко мне послед сказать, чтобы я шел с ним против русских; если же я откажусь, то он пойдет, что разорит Хуназах и убьет меня. Я сказал, что не пойду к нему и не пушу его к себе.

— Отчего же ты не пошел к нему? — спросил Лорис-Меликов.

Хаджи-Мурат нахмурился и не сейчас ответил.

— Нельзя было, на Шамиле была кровь и брата Османа и Абулгунцаг-Хана. Я не пошел к нему, Розен-генерал прислал мне чин офицера и велел быть начальником Амарин. Все бы было хорошо, и велел быть начальником Аварией сначала хана каиккумьхского, Магомет-Мирзу, и потом Ахмет-Хана. Этот возненавидел меня. Он сватал за сына дочь ханши, Сагтанет. Ее не отдали ему, и он думал, что я виноват в этом. Он возненавидел меня и поджидал своих нукеров убить меня, но я ушел от них. Тогда он наговорил на меня генералу Кялогенау, сказал, что я не велю аварцам давать дров солдатам. Он сказал ему еще, что я надел чалму, вот эту, — сказал Хаджи-Мурат, указывая на чалму на папахе, — и что это значит, что я предаюсь Шамилю. Генерал не поверил и не велел

трогать меня. Но когда генерал уехал в Тифлис, Ахмет-Хан следовал по-своему: с ротой солдат схватил меня, заковал в цепи и привезал к пущке. Шесть суток держали меня так. На седьмые сутки отвязали и понесли в Темпир-Хан-Шуру. Вели сорок солдат с заржавленными ружьями. Руки были связаны, и весено было убить меня, если я захочу бежать. Я знал это. Когда мы стали подходить, подле Моксоха тропка была ухака, направо кручь, слева в пятьдесят, я перешел от солдат направо, на край, кручи. Солдат хотел остановить меня, но я прыгнул под кручь и потащил за собой солдата. Солдат убились насмерть, а я вот жив остался. Ребры, голову, руки, ногу — все поломал. Пополз было — и не мог. Закружилась голова, и заснул. Проснулся мокрый, в крови. Пастух увидал. Позвал народ, снесли меня в аул. Ребры, голова зажили, зажила и нога, только стала короткая.

И Хаджи-Мурат выткнул кривую ногу. — Народ узнал, стал ездить ко мне. Я выздоровел, переехал в Цеймес. Аварцы опять звали меня управлять ими, — с спокойной, уверенной гордостью сказал Хаджи-Мурат. — И я согласился.

Хаджи-Мурат быстро встал. И, достав в переметных сумках портфель, вынул оттуда два пожелтевшие письма и подал их Лорис-Меликову. Письма были от генерала Кюлогенау. Лорис-Меликов прочел. В первом письме было:

«Праторщик Хаджи-Мурат! Ты служил у меня — и был доволен тобою и считал тебя добрым человеком. Недавно генерал-майор Ахмет-Хан уведомил меня, что ты изменил, что ты надеялся чалму, что ты имеешь сношения с Шамилем, что ты научил народ не слушать русского начальства. Я приказал арестовать тебя и доставить тебе ко мне, ты — бежал; не знаю, к лучшему ли это или к худшему, потому что не знаю — виноват ли ты, или нет. Теперь слушай меня. Ежели советь твоя чиста противу великого царя, если ты не виноват ни в чем, явись ко мне. Не бойся никого — я твой защитник. Хан тебе ничего не делает, он сам у меня под начальством, так и нечего тебе бояться».

Дальше Кюлогенау писал о том, что он всегда держал свое слово и был справедлив, и еще увещевал Хаджи-Мурата выйти к нему.

Когда Лорис-Меликов кончил первое письмо, Хаджи-Мурат достал другое письмо, но, не отдавая его еще в руки Лорис-Меликова, рассказал, как он отвечал на это первое письмо.

— Я написал ему, что чалму я носил, но не для Шамиля, а для спасения души, что в Шамилю я перейти не хочу и не могу, потому что через него убиты мои отец, братья и родственники, но что и к русским не могу выйти, потому что меня обещали. В Хунзахе, когда я был связан, один негодный на...д на меня. И я не могу выйти к вам, пока человек этот не будет убит. А главное, боюсь обманщика Ахмет-Хана. Тогда генерал прислал мне это письмо, — сказал Хаджи-Мурат, подавая Лорис-Меликову другую пожелтевшую бумажку.

«Ты мне отвечал на мое письмо, спасибо, — прочитал Лорис-Меликов. — Ты пишешь, что ты не боишься вороваться, но бесчестие, нанесенное тебе одним гауром, заставляет это; а я тебе уверяю, что русский закон справедлив, и в глазах твоих ты увидишь наказание того, кто смел тебя оскорбить, — я уже приказал это исследовать. Послушай, Хаджи-Мурат. Я имею право быть недовольным на тебя, потому что ты не веришь мне и моей чести, но я прошю тебе, зная недовольность характера вообще горцев. Ежели ты чист совестью, если чалму ты надевал, собственно, только для спасения души, то ты прав и смело можешь глядеть русскому правительству и мне в глаза; а тот, кто тебя обещал, уверяю, будет наказан, *измущество твоё будет вознаграждено*, и ты увидишь и узнаешь, что значат русский закон. Тем более что русские иначе смотрят на все: в глазах их ты не уронил себя, что тебя какой-нибудь мерзавец обещал. Я сам полагал гимназика чалму носить и смотрю на их действия как следует; следовательно, повторяю, тебе нечего бояться. Приходи ко мне с человеком, которого я к тебе теперь посылаю; он мне верен, *он не раб твоих врагов*, а Друг человек, который пользуется у правительства особенным вниманием».

Дальше Кюлогенау опять уговаривал Хаджи-Мурата выйти.

— Я не поверил этому, — сказал Хаджи-Мурат, когда Лорис-Меликов кончил письмо, — и не поехал к Кюлогенау. Мне, главное, надо было отомстить Ахмет-Хану, а этого я не мог сделать через русских. В это же время

Ахмет-Хан окружил Цельмес и хотел схватить или убить меня. У меня было слишком мало народа, и не мог отбиться от него. И вот в это-то время ко мне приехали посланные от Шамиля с письмом. Он обещал помочь мне отбиться от Ахмет-Хана и убить его и давал мне в управление всю Аварию. Я долго думал и перешел к Шамилю.

И вот с тех пор я не переставал воевать с русскими. Тут Хаджи-Мурат рассказал все свои военные дела. Их было очень много, и Лорис-Меликов отчасти знал их. Все походы и набегии его были поразительны по необыкновенной быстроте переходов и смелости нападения, всегда увенчивавшихся успехами.

— Дружбы между мной и Шамилем никогда не было,— докончил свой рассказ Хаджи-Мурат,— но он боялся меня, и я был ему нужен. Но тут случилось то, что у меня спросили, кому быть имамом после Шамиля? Я сказал, что имамом будет тот, у кого шапка востри. Это сказали Шамилю, и он захотел избавиться от меня. Он послал меня в Табасарань. Я поехал, отбил тысячу баранов, триста лошадей. Но он сказал, что я не то сделал, и сменил меня с наместа и велел прислать ему все деньги. Я послал тысячу золотых. Он прислал своих мюридов и отобрал у меня все мое имущество. Он требовал меня к себе; я знал, что он хочет убить меня, и не поехал. Он прислал взять меня. Я отбился и вышел к Воронцову. Только семья я не взял. И мать, и жена, и сын у него. Скажи сардарю: пока семья там, я ничего не могу делать.

— Я скажу,— сказал Лорис-Меликов.

— Хлопочи, старайся. Что мое, то твое, только помоги у князя. Я связан, и конец веревки — у Шамиля в руке.

Этими словами закончил Хаджи-Мурат свой рассказ Лорис-Меликову.

XIV

Двадцатого декабря Воронцов писал следующее военному министру Чернышеву. Письмо было по-французски.

«Я не писал вам с последней почтой, любезный князь, ждал сперва решить, что мы сделаем с Хаджи-Муратом, и чувствуя себя два-три дня не совсем здоровым. В моем последнем письме я извещал вас о прибытии сюда Хаджи-Мурата: он приехал в Тифлис 8-го; на следующий день я познакомился с ним, и дней восемь или девять

и говорил с ним и обдумывал, что он может сделать для нас впоследствии, а особенно, что нам делать с ним теперь, так как он очень сильно заботится о судьбе своего семейства и говорит со всеми знаками полной откровенности, пока его семейство в руках Шамиля, он назывался и не в силах услужить нам и доказать свою благодарности за ласковый прием и прощение, которые ему оказали. Неизвестность, в которой он находится насчет дорогих ему osób, вызывает в нем лихорадочное состояние, и лица, назначенные мною, чтобы жить с ним здесь, уверяют меня, что он не спит по ночам, почти что ничего не ест, постоянно молится и только просит прощенья покатыться верхом с нескольких казаками.— Единственно для него возможное развлечение и движение, необходимое вследствие долголетней привычки. Каждый день он приходил ко мне узнавать, имею ли я какие-нибудь известия о его семействе, и просит меня, чтобы я велел собрать на наших различных линиях всех пленников, которые находятся в нашем распоряжении, чтобы предложить их Шамилю для обмена, к чему он прибавит немного денег. Есть люди, которые ему дадут их для этого. Он мне все повторял: спасите мое семейство и потом дайте мне возможность услужить вам (лучше всего на дзегинской линии, по его мнению), и если по истечении месяца я не окажу вам большой услуги, накажите меня, как сочтете нужным.

Я ему ответил, что все это кажется мне весьма справедливым и что у нас найдется даже много лиц, которые не поверили бы ему, если бы его семейство оставалось в горах, а не у нас в качестве заложца; что я сделаю все возможное для сбора на наших границах пленников и что, не имея права, по нашим уставам, дать ему денег для выкупа и прибавку к тем, которые он достанет сам, я, может быть, найду другие средства помочь ему. После этого я ему сказал откровенно мое мнение о том, что Шамиль ни в каком случае не выдаст ему семейства, что он, может быть, прямо объявит ему это, обещает ему полное прощение и прекрасные должности, погрозит, если он не вернется, погубит его мать, жену и шестерых детей. Я спросил его, может ли он сказать откровенно, что бы он сделал, если бы получил такое объявление Шамиля. Хаджи-Мурат поднял глаза и руки к небу и сказал мне, что всё в руках бога, но что он никогда не отступит в

руки своему врагу, потому что он вполне уверен, что Шамиль его не простит и что он бы тогда недолго остался в живых. Что касается истребления его семейства, то он не думает, что Шамиль поступит так легкомысленно: во-первых, чтобы не сделать его врагом еще отчаяннее и опаснее; а во-вторых, есть в Дагестане множество лиц очень даже влиятельных, которые отговорят его от этого. Наконец, он повторил мне несколько раз, что какал бы ни была воля бога для будущего, но что его теперь занимает только мысль о выкупе семейства; что он умоляет меня, во имя бога, помочь ему и позволить ему вернуться в окрестности Чечни, где бы он, через посредство и с дозволения наших начальников, мог иметь сношения с своим семейством, постоянные известия о его настоящим положении и о средствах освободить его; что многие люди и даже некоторые намы в этой части неприятельской страны более или менее привязаны к нему; что во всем этом населении, уже покоренном русскими или нейтральном, ему легко будет иметь, с нашей помощью, сношения, очень полезные для достижения цели, преследуемой им, и даст ему возможность действовать для нашей пользы и заслужить наше доверие. Он просит отослать его опять в Грозную, с конвоем из двадцати или тридцати отважных казаков, которые бы служили ему для защиты от врагов, а нам — для ручательства в истинне высказанных им намерений.

Вы поймете, любезный князь, что все это очень озадачило меня, так как, что ни сделай, большая ответственность лежит на мне. Было бы в высшей степени неосторожно вполне доверить ему; но если бы мы хотели отнять у него средства для бегства, то мы должны были бы запереть его; а это, по моему мнению, было бы и несправедливо и неполитично. Такая мера, известие о которой скоро распространилось бы по всему Дагестану, очень повредила бы нам там, отнимая охоту у всех тех (а их много), которые готовы идти более или менее открыто против Шамиля и которые так интересуются положением у нас самого храброго и предприимчивого помощника имама, увидевшего себя принужденным отдалиться в наши руки. Раз что мы поступили бы с Хаджи-Муратом, как с пленным, весь благоприличный эффект его замены Шамилю пропал бы для нас.

Поэтому я думаю, что не мог поступить иначе, как поступил, чувствуя, однако, что можно будет обвинить меня в большой ошибке, если бы вздумалось Хаджи-Мурату уйти снова. В службе и в таких запутанных делах трудно, чтобы не сказать невозможно, идти по одной прямой дорожке, не рискуя ошибиться и не принимая на себя ответственности; но раз что дорога кажется прямою, надо идти по ней, — будь что будет.

Прошу вас, любезный князь, повергнуть это на рассмотрение его величеству государю императору, и я буду счастлив, если августейший наш повелитель соизволит одобрить мой поступок. Все, что я вам писал выше, я так же написал генералам Заведовскому и Козловскому, для непосредственных сношений Козловского с Хаджи-Муратом, которого я предупредил о том, что он без одобрения последнего ничего сделать и никуда выехать не может. Я ему объявил, что для нас еще лучше, если он будет выезжать с нашим конвоем, а то Шамиль станет приглашать, что мы держим Хаджи-Мурата взаперти; но при этом я взял с него обещание, что он никогда не поедет в Воздвиженское, так как мой сын, которому он сперва сдаться и которого считает своим кунаком (принцем), не начальник этого места, и мог бы произойти недоразумения. Впрочем, Воздвиженское слинком близко от многочисленного враждебного нам населения, между тем как для сношений, которые он желает иметь со своими поверенными, Грозная удобна во всех отношениях. Кроме двадцати избранных казаков, которые, по его же просьбе, ни на шаг не отстанут от него, я послал ротмистра Лорис-Меликова, достойного, отличного и очень умного офицера, товарищего по-татарски, знающего хорошо Хаджи-Мурата, который, кажется, тоже вполне доверяет ему. Десять дней, которые Хаджи-Мурат провел здесь, он, впрочем, жил в одном доме с подполковником князем Тархановым, начальником Шушинского уезда, находившемся здесь по делам службы; это истинно достойный человек, и я ему вполне доверю. Он также заслужил доверие Хаджи-Мурата, и через него одного, так как он отлично говорит по-татарски, мы рассуждали о самых деликатных и секретных делах.

Я советовался с Тархановым насчет Хаджи-Мурата, и он совершенно согласился со мной в том, что или следовало поступить, как я поступил, или заключить Хаджи-

Мурата в тюрьму и сторожить его со всеми возможными строгими мерами, — потому что уже раз обращаясь с ним худо, его не легко стеречь, — или же удалить его совсем из страны. Но эти две последние меры не только бы уничижили всю выгоду, вытекающую для нас из ссоры между Хаджи-Муратом и Шамилем, но приостановили бы неизбежно всякое развитие ропота и возможность возмущения горцев против власти Шамиля. Князь Тарханов мне сказал, что сам уверен в правдивости Хаджи-Мурата и что Хаджи-Мурат не сомневается в том, что Шамиль никогда его не простит и велит казнить, несмотря на обещанное прощение. Единственная вещь, которая могла озаботить Тарханова в его сношениях с Хаджи-Муратом, это — его привязанность к своей религии, и он не скрывает, что Шамилю можно будет действовать на него с этой стороны. Но, как я уже говорил выше, он никогда не убедит Хаджи-Мурата в том, что не лишит его жизни или сейчас, или спустя несколько времени после его возвращения.

Вот все, любезный князь, что я хотел сказать вам насчет этого эпизода здешних дел.

XV

Донесение это было отправлено из Тифлиса 24 декабря. Накануне же нового, 52-го года, фельдъегерь, загнав десятю лошадей и избив в кровь десятю ямщиков, доставил его к князю Чернышеву, тогдашнему военному министру.

И 1 января 1852 года Чернышев повез к императору Николаю в числе других дел и это донесение Воронцова.

Чернышев не любил Воронцова — и за всеобщее уважение, которым пользовался Воронцов, и за его огромное богатство, и за то, что Воронцов был настоящим барин, а Чернышев все-таки рабчанин¹, главное — за особенное расположение императора к Воронцову. И потому Чернышев пользовался всяким случаем, насколько мог, вредить Воронцову. В прощном докладе о кавказских делах Чернышеву удалось выказать неудовольствие Николая на Воронцова за то, что по небрежности начальства был горцами почти весь истреблен небольшой кавказский отряд. Теперь он намеревался представить с невыгодной сторо-

ны распоряжение Воронцова о Хаджи-Мурате. Он хотел лишить государю, что Воронцов всегда, особенно в ущерб русским, оказывающий покровительство и даже ослабление туземцам, оставя Хаджи-Мурата на Кавказе, поступил неблагоразумно; что, по всей вероятности, Хаджи-Мурат только для того, чтобы высмотреть наши средства обороны, вышел к нам и что поэтому лучше отправить Хаджи-Мурата в центр России и воспользоваться им уже тогда, когда его семья будет выручена из гор и можно будет увериться в его преданности.

Но план этот не удался Чернышеву только потому, что в это утро 1 января Николай был особенно не в духе и не принял бы какое бы ни было и от кого бы то ни было предложение только из чувства противоречия; тем более он не был склонен принять предложение Чернышева, которого он только терпел, считая его пока незаменимым человеком, но, зная его старания погубить в пренесе декабристов Захара Чернышева и попытку задладеть его состоянием, считал большим подделком. Так что благодаря дурному расположению духа Николая Хаджи-Мурат остался на Кавказе, и судьба его не изменилась так, как она могла бы измениться, если бы Чернышев делал свой доклад в другое время.

Было поговинна десятю, когда в тумане двадцатиградусного мороза толстый, бородастый кучер Чернышева, в лазоревой бархатной шапке с острыми концами, сиди на козлах маленьких саней, таких же, как те, в которых катался Николай Павлович, подкатил к малому подвезу Зимнего дворца и дружески кивнул своему иривтеглу, кучеру князя Долгорукого, который, севши барина, уже давно стоял у дворцового подвеза, подожив под толстый ваточный зад вожжи и потирая озябшие руки.

Чернышев был в шинели с пушистым седым бобриним воротником и в треугольной шляпе с петушиными перьями, надетой по форме. Откинув медвежью подость, он осторожно выпростал из саней свои озябшие ноги без кагши (он гордился тем, что не знал кагши) и, бодрясь, позванивая шпорами, прошел по ковру в почтительно отгороженную перед ним дверь швейцаром. Скинув в передней на руки подбежавшего старого камер-лакея шинель, Чернышев подошел к зеркалу и осторожно свил шляпу о лавитого парика. Поглядев на себя в зеркало, он при-

вычным движением старческих рук поднял виски и хохот и поправил крест, аксельбанты и большие с вензелями эполеты и, слабо шагая плохо повинующимися старческими ногами, стал подниматься вверх по ковру отлогой лестницы.

Пройдя мимо стоявших в парадной форме у дверей подобострастно кланявшихся ему камер-лакев, Чернышев вошел в приемную. Дежурный, вновь назначенный флигель-адъютант, сияющий новым мундиром, эполетами, аксельбантами и румяным, еще не истасканным лицом с черными усиками и височками, зачесанными к глазам так же, как их зачесывал Николай Павлович, почтительно встретил его. Князь Василий Долгорукий, товарищ военного министра, с случайноим выражением тупого лица, украшенного какими же бакенбардами, усиками и висками, какие носил Николай, встал навстречу Чернышеву и поздоровался с ним.

— L'empereur? — обратился Чернышев к флигель-адъютанту, вопросительно указывая глазами на дверь кабинета.

— Sa Majesté vient de rentrer², — очевидно с удовольствием слушая звук своего голоса, сказал флигель-адъютант и, мягко ступая, так плавно, что полный стакан воды, поставленный ему на голову, не пролился бы, подошел к беззастенчиво отворившейся двери и всем существам своим выказывая почтение к тому месту, в которое он вступал, исчез за дверью.

Долгорукий между тем раскрыл свой портфель, провиряя находившиеся в нем бумаги.

Чернышев же, нахмурившись, прохаживаясь, разминая ноги и вспоминая все то, что надо было доложить императору. Чернышев был подле двери кабинета, когда она опять отворилась и из нее вышел еще более, чем прежде, сияющий и почтительный флигель-адъютант и жестом пригласил министра и его товарища к государю.

Зимний дворец после пожара был давно уже отстроен, и Николай жил в нем еще в верхнем этаже. Кабинет, в котором он принимал с докладом министров и высших начальников, была очень высокая комната с четырьмя большими окнами. Большой портрет императора Александра I висел на главной стене. Между окнами стояли

два бюро. По стенам стояло несколько стульев, в середине комнаты — огромный письменный стол, перед столом кресло Николая, стулья для принимаемых.

Николай, в черном сюртуке без эполет, с полуполочниками, сидел у стола, откинув свой огромный, тугоперетянутый по отросшему живому стану, и неподвижно своим безжизненным взглядом смотрел на входящих. Длинное белое лицо с огромным покатым лбом, выступающим из-за пригладенных височков, искусно соединенных с париком, закрывавшим лысину, было всегда, безвечно холодно и неподвижно. Глаза его, всегда тусклые, смотрели тусклее обыкновенного, сжатые губы из-под загнутых вверх усов, и подпертые высоким воротничком окрипенные свеженькие бретельные шнурки с оставленными прилиплыми колбасками бакенбард, и прижимаемый к воротничку подбородок придавали его лицу выражение недовольства и даже гнева. Причиной этого настроения была усталость. Причиной же усталости было то, что накануне он был в маскараде, и, как обыкновенно, прохаживаясь в своей кавалергардской каске с птицей на голове, между теснившейся к нему и робко сторонившейся от его огромной и самоуверенной фигуры публикой, встретил опять ту маску, которая в прошлый маскарад, побудив в нем своей белизной, прекрасным сложенным и нежным голосом старческую чувствительность, скрылась от него, обещая встретить его в следующем маскараде. Во вчерашнем маскараде она подошла к нему, и он уже не отпустил ее. Он повел ее в ту специально для этой цели державшуюся в готовности ложу, где он мог наедине оставаться с своей дамой. Дойдя молча до двери ложи, Николай отгланул, отыскивая глазами капелдьянера, но его не было. Николай нахмурился и сам толкнул дверь ложи, пропуская вперед себя свою даму.

— Il y a quelqu'un! — сказала маска, останавливаясь. Ложа действительно была занята. На бархатном диванчике, близко друг к другу, сидели уганский офицер и молоденькая, хорошенькая белокуро-кудрявая женщина в domino, с снятой маской. Увидав выпрямившуюся во весь рост и гневную фигуру Николая, белокурая женщина поспешно закрылась маской, уганский же офицер, остолбенев от ужаса, не вставая с дивана, глядел на Николая оставившимися глазами.

¹ Император? (фр.)

² Его величество только что вернулся (фр.).

¹ Эпась кто-то есть (фр.).

Как ни привлек Николаи к возбуждаемому им в людях ужасу, этот ужас был ему всегда приятен, и он любил иногда поразить людей, повергнутых в ужас, контрастом обращенных к ним ласковых слов. Так поступил он и теперь.

— Ну, брат, ты помолодежь меня, — сказал он оконченному от ужаса офицеру, — можешь уступить мне место. Офицер вскочил и, бледнее и краснее, согнувшись вышел молча за маской из лодки, и Николаи остался один с своей дамой.

Маска оказалась хорошенькой двадцатилетней невинной девушкой, дочерью шведки-гувернантки. Девушка эта рассказала Николаю, как она с детства еще, по поручениям, влюбилась в него, боготворила его и решила во что бы то ни стало добиться его внимания. И вот она добилась, и, как она говорила, ей ничего больше не нужно было. Девушка эта была свежена в место обычных свиданий Николая с женщинами, и Николаи провел с ней более часа.

Когда он в эту ночь вернулся в свою комнату и лег на узкую, жесткую постель, которой он гордился, и покрылся своим плащом, который он считал (и так и говорил) столь же знаменитым, как шпана Наполеона, он долго не мог заснуть. Он то вспоминал испуганное и восторженное выражение белого лица этой девушки, то молчаливые полные плечи своей всегдашней любовницы Нелидовой и делал сравнение между тою и другою. О том, что распутство женатого человека было не хорошо, ему и не приходило в голову, и он очень удивился бы, если бы кто-нибудь осудил его за это. Но, несмотря на то, что он был уверен, что поступал так, как должно, у него оставалась какая-то неприятная отрыжка, и, чтобы заглушить это чувство, он стал думать о том, что всегда успокаивало его: о том, какой он великий человек.

Несмотря на то, что он поздно заснул, он, как всегда, встал в восьмом часу, и, сделав свой обычный туалет, вытерев льдом свое большее, сытое тело и помолившись богу, он прочел обычные, с детства пронизосимые молитвы: «Богородицу», «Верую», «Отче наш», не приписывая пронизосимым словам никакого значения, — и вышел из малого подъезда на набережную, в шинели и фуражке.

Посредине набережной ему встретился такого же, как он сам, огромного роста ученик училища правоведения,

и мудире и шляпе. Увидя мундир училища, которое он не любил за вольнодумство, Николаи Павлович нахмурился, но высокий рост, и старательная вышивка, и отглаживание чести с подчеркнутую выпяченными локтем ученика смягчили его недовольствие.

— Как фамилия? — спросил он.

— Подсатов! ваше императорское величество.

— Молодец!

Ученик все стоял с рукой у шляпы. Николаи остановился.

— Хочешь в военную службу?

— Никак нет, ваше императорское величество.

— Болван! — и Николаи, отвернувшись, пошел дальше и стал громко произносить первые попавшиеся ему слова. «Копервейн, Копервейн, — повторял он несколько раз имя вчерашней девицы. — Скверно, скверно». Он не думал о том, что говорил, но заглушал свое чувство вниманием к тому, что говорил. «Да, что бы была без меня Россия, — сказал он себе, почувствовав опять прикосновение недовольного чувства. — Да, что бы была без меня не Россия одна, а Европа». И он вспомнил про шуррина, прусского короля, и его слабость и глупость и начал головой.

Подходя назад к крыльцу, он увидел карету Елены Павловны, которая с красным лакеем подъезжала к Салтыковскому подъезду. Елена Павловна для него была олицетворением тех пустых людей, которые расуждали не только о науках, поэзии, но и об управлении людей, воображая, что они могут управлять собою лучше, чем он, Николаи, управлял ими. Он знал, что, сколько он ни думал этих людей, они опять выдвигались и выдвигались наружу. И он вспомнил недавно умершего брата Михаила Павловича. И досадное и грустное чувство охватило его. Он мрачно нахмурился и опять стал шептать первые попавшиеся слова. Он перестал шептать, только когда вошел во дворец. Бойдя к себе и пригладив перед зеркалом бакенбарды и волосы на висках и накладку на темени, он, подкрутив усы, прямо пошел в кабинет, где принимался доклады.

Первого он принял Чернышева. Чернышев тотчас же по лицу и, главное, глазам Николая понял, что он нынче был особенно не в духе, и, зная вчерашнее его похождение, понял, отчего это происходило. Холодно поздоро-

вавшись и пригласив сестр Чернышева, Николай устал на него своими безжизненными глазами.

Первым делом в докладе Чернышева было дело об открьшемся воровстве интендантских чиновников; потом было дело о перемещении войск на прусской границе; потом назначение некоторым лицам, пропущенным в первом списке, награды в Новому году; потом было донесение Воронцова о выходе Хаджи-Мурата и, наконец, неприятное дело о студенте медицинской академии, покушавшемся на жизнь профессора.

Николай, молча сжав губы, поглаживая своими большими белыми руками, с одним золотым кольцом на безымянном пальце, листы бумаги и слушал доклад о воровстве, не сдвигая глаз со дна и хохла Чернышева.

Николай был уверен, что воруют все. Он знал, что надо будет наказывать, теперь интендантских чиновников, и решил отдать их всех в солдаты, но знал тоже, что это не помешает тем, которые займут место уволенных, дедать то же самое. Свойство чиновников состояло в том, чтобы красть, его же обязанность состояла в том, чтобы наказывать их, и, как ни надоело это ему, он добросовестно исполнял эту обязанность.

— Видно, у нас в России один только честный человек,— сказал он.

Чернышев тотчас же понял, что этот единственный честный человек в России был сам Николай, и одобриительно улыбнулся.

— Должно быть, так, ваше величество,— сказал он. — Оставь, я положу резолюцию,— сказал Николай, взяв бумагу и переложив ее на левую сторону стола.

После этого Чернышев стал докладывать о наградах и о перемещении войск. Николай просмотрел список, вычеркнул несколько имен и потом кратко и решительно распорядился о передвижении двух дивизий к прусской границе.

Николай никак не мог простить прусскому королю данную им после 48-го года конституцию, и потому, вырважая шурина самые дружеские чувства в письмах и на словах, он считал нужным иметь на всякий случай войска на прусской границе. Войска эти могли понадобиться и на то, чтобы в случае воамужения народа в Пруссии (Николай всегда видел готовность к воамужению) выдвинуть их в защиту престола шурина, как он

видел, что было бы теперь с Россией, если бы не вь,— опить подумал он.

— Ну, что еще? — сказал он.
— Фельдъегерь с Кавказа,— сказал Чернышев и стал докладывать то, что писал Воронцов о выходе Хаджи-Мурата.

— Вот как,— сказал Николай.— Хорошее начало.

— Очевидно, план, составленный вашим величеством, начинает приносить свои плоды,— сказал Чернышев.

Эта похваля его стратегическим способностям была особенно приятна Николаю, потому что, хотя он и гордился своими стратегическими способностями, в глубине души он сознавал, что их не было. И теперь он хотел слышать более подробные похвалы себе.

— Ты как же понимаешь? — спросил он.

— Понимаю так, что если бы давно следовали плану вашего величества — постепенно, хотя и медленно, по-двигаться вперед, вырубай леса, истребляя запасы, то Гинка давно бы уж был покорен. Выход Хаджи-Мурата и огнюшу только к этому. Он понял, что держаться им уже нельзя.

— Правда,— сказал Николай.

Несмотря на то, что план медленного движения в область неприятеля посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вельяминова, совершенно противоположный плану Николая, по которому нужно было разорвать это гнездо разбойников и по которому была предпринята в 1845 году Даргинская экспедиция, стоявшая столбых людских жизней,— несмотря на это, Николай приписывал план медленного движения, последовательной вырубки лесов и истребления продовольствия тоже себе. Казалось, что, для того чтобы верить в то, что или медленного движения, вырубки лесов и истребления продовольствия был его план, надо было скрывать то, что он именно настаивал на совершенно противоположном поспом предпринятии 45-го года. Но он не скрывал этого и гордился и тем планом своей экспедиции 45-го года и планом медленного движения вперед, несмотря

на то, что эти два плана явно противоречили один другому. Постонная, явная, противная очевидности десть окружающих его людей довела его до того, что он не видел уже своих противоречий, не воображал уже свои поступки и слова с действительностью, с логикой или даже с простым здравым смыслом, а вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они ни были бессмысленны, несправедливы и несогласны между собою, становились и осмысленны, и справедливы, и согласны между собой только потому, что он их делал.

Таково было и его решение о студенте мелико-хирургической академии, о котором после кавказского доклада стал докладывать Чернышев.

Дело состояло в том, что молодой человек, два раза не выдержавший экзамен, держал третий раз, и когда экзаменатор опять не пропустил его, болезненно нервный студент, видя в этом несправедливость, схватил со стола перочинный ножик и в каком-то припадке иступления бросился на профессора и нанес ему несколько ничтожных ран.

— Как фамилия? — спросил Николай.

— Бжезовский.

— Поляк?

— Польского происхождения и католик, — отвечал Чернышев.

Николай нахмурился.

Он сделал много зла полякам. Для объяснения этого зла ему надо было быть уверенным, что все полки негодны. И Николай считал их таковыми и ненавидел их в мере того зла, которое он сделал им.

— Подожди немного, — сказал он и, закрыв глаза, опустил голову.

Чернышев знал, слышав это не раз от Николая, что, когда ему нужно решить какой-либо важный вопрос, ему нужно было только сосредоточиться на несколько минут, и что тогда на него находило наитие, и решение составлялось само собою самое верное, как бы какой-то внутренний голос говорил ему, что нужно сделать. Он думал теперь о том, как бы полнее удовлетворить тому чувству злости к полякам, которое в нем расшевелилось историей этого студента, и внутренний голос подсказал ему следующее решение. Он взял доклад и на поле его написал своим крупным почерком: «Заслуживает смерть»

ной казни. Но, слава богу, смертной казни у нас нет. И не мне вводить ее. Провести 12 раз сквозь тысячу человек. Николай», — подписал он с своим неестественным, огромным росчерком.

Николай знал, что двенадцать тысяч шпицрутеннов была не только верная, мучительная смерть, но излишняя жестокость, так как достаточно было ити тысячу ударов, чтобы убить самого сильного человека. Но ему приятно было быть неумолимо жестоким и приятно было думать, что у нас нет смертной казни.

Написав свою резолюцию о студенте, он подвинул ее Чернышеву.

— Вот, — сказал он. — Прочти.

Чернышев прочел и, в знак почтительного удивления мудрости решения, наклонил голову.

— Да вывести всех студентов на плац, чтобы они присутствовали при наказании, — прибавил Николай.

«Им полезно будет. Я выведу этот революционный дух, вырву с корнем», — подумал он.

— Слушаю, — сказал Чернышев и, помогая несколько и оправив свой ход, возвратился к кавказскому докладу.

— Так как прикажете написать Михаилу Семеновичу?

— Твердо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набатами, — сказал Николай.

— О Хаджи-Мурате что прикажете? — спросил Чернышев.

— Да ведь Воронцов пишет, что хочет употребить его на Кавказе.

— Не рискованно ли это? — сказал Чернышев, набрав тон доверчив.

— А ты что думаешь? — резко переспросил Николай, подметив намерение Чернышева выставить в дурном свете распоряжение Воронцова.

— Да я думаю бы, безопаснее отпратить его в Россию. Ты думаешь, — насмешливо сказал Николай. — А я не думаю и согласен с Воронцовым. Так и напиши ему.

— Слушаю, — сказал Чернышев и, встав, стал откланиваться.

Откланился и Долгорукий, который во все время до-

клада сказал только несколько слов о перемещении войск на вопросы Николая.

После Чернышева был принят приехавший откланяться генерал-губернатор Западного края, Бибиков. Одобрил принятые Бибиковым меры против бунтующих крестьян, не хотевших переходить в правослаvie, он приказал ему судить всех неповинующихся военным судом. Это значило приговаривать к прогнанию сквозь строй. Кроме того, он приказал еще отдать в солдаты редактора газеты, напечатавшего сведения о перечислении нескольких тысяч душ государственных крестьян в удельные.

— И делаю это потому, что считаю это нужным, — сказал он. — А рассуждать об этом не позволю.

Бибиков понимал всю жестокость распоряжения об унизатах и всю несправедливость перевода государственных, то есть единственных в то время свободных людей, в удельные, то есть в крепостные царской фамилии. Но возражать нельзя было. Не согласился с распоряжением Николай — значило лишиться всего того блестящего положения, которое он приобрел за сорок лет и которым пользовался. И потому он покорно наклонил свою черную седую голову в знак покорности и готовности исполнения жестокой, безумной и нечестной высочайшей воли.

Отпустив Бибикова, Николай с сознанием хорошо исполненного долга потянулся, взглянул на часы и пошел одеваться для выхода. Надел на себя мундир с эполетами, орденами и лентой, он вышел в приемные залы, где более ста человек мужчин в мундирах и женщин в вырезных нарядных платьях, рассталенные все по определенным местам, с трепетом ожидали его выхода.

С безжизненным взглядом, с выпяченною грудью и перетянутым и выступающим из-за перетяжки и сверху и снизу животом, он вышел к ожидавшим, и, чувствуя, что все взгляды с трепетным подбосстрастным обращением на него, он принял еще более торжественный вид. Встретившись глазами с знакомыми лицами, он, вспоминая кто — кто, останавливался и говорил иногда по-русски, иногда по-французски несколько слов и, проливая их холодным, безжизненным взглядом, слушал, что ему говорили. Приняв поздравления, Николай прошел в церковь, Бог через своих слуг, так же как и мирские люди, приветствовал и восхвалял Николая, и он как должное, хотя и наскучившее ему, принимал эти приветствия,

восхиления. Все это должно было так быть, потому что от него зависело благоденствие и счастье всего мира, и хотя он уставал от этого, он все-таки не отказывал миру в своем содействии. Когда в конце обеда великодушный расчесанный дыком провозгласил «многая лета» и певчие прекрасными голосами дружно подхватили эти слова, Николай, оглинувшись, заметил стоявшую у окна Неллидову с ее пыльными плечами и в ее пользу решил сравнение с вчерашней девицей.

После обеда он пошел к императрице и в семейном кругу провел несколько минут, шутя с детьми и женой. Потом он через Эрмитаж зашел к министру двора Волконскому и, между прочим, поручил ему выдавать из своих особенных сумм ежегодно пенсию матери вчерашней девицы. И от него поехал на свою обычную прогулку. Обед в этот день был в Помпейской зае; кроме меньших сыновей, Николай и Михаяга, были приглашены: барон Ливен, граф Ржевусский, Долгорукий, прусский посланник и флигель-адъютант прусского короля.

Дожидаясь выхода императрицы и императора, между прусским посланником и бароном Ливен завязался интересный разговор по случаю последних тревожных известий, полученных из Польши.

— La Pologne et le Caucase, ce sont les deux sauteurs de la Russie, — сказал Ливен. — Il nous faut cent mille hommes à peu près dans chaque de ces deux pays¹.

Посланник выразил притворное удивление тому, что это так.

— Vous dites la Pologne, — сказал он.

— Oh, oui, c'était un coup de maître de Maelerich de nous en avoir laisse d'embattas...²

В этом месте разговора вошла императрица с своей триумфальной головой и замершей улыбкой, и вслед за ней Николай.

За столом Николай рассказал о выходе Хаджи-Мурата и о том, что война кавказская теперь должна скоро кончиться вследствие его распоряжения о стеснении торговли вырубкой лесов и системой укрепления.

¹ — Польша и Кавказ — это две болячки России. Нам нужно, по крайней мере, сто тысяч человек в каждой из этих стран (фр.).

² — О да, это был искусный ход Меттерниха, чтобы причистить нам нашу девицу... (фр.)

Посланик, перекинувшись белым взглядом с другим флигель-адъютантом, с которым он нынче утром еще говорил о несчастной слабости Николая считать себя великим стратегом, очень хвалил этот план, доказывавший еще раз великие стратегические способности Николая.

После обеда Николай ездил в багет, где в трико маршировали сотни обнаженных женщин. Одна особенно приглянулась ему, и, позвав багетмейстера, Николай благодарил его и велел подарить ему перстень с бриллиантами.

На другой день при докладе Чернышева Николай еще раз подтвердил свое распоряжение Воронцову о том, чтобы теперь, когда вышел Хаджи-Мурат, усиленно трюжить Чечню и скимать ее кордоной линией.

Чернышев написал в этом смысле Воронцову, и другой фельдъегерь, запрягая лошадей и разбивая лица ямщиков, поспекал в Тифлис.

XVI

Во исполнение этого предписания Николай Павловича, тотчас же, в январе 1852 года, был предпринят набег в Чечню.

Отряд, назначенный в набег, состоял из четырех батальонов пехоты, двух сотен казаков и восьми оружий. Колонна шла дорогой. По обеим же сторонам колонны непрерывной цепью, спуская и поднимаясь по балкам, или егери в высоких сапогах, полушубках и папахах, с ружьями на плечах и патронами на перевязи. Как всегда, отряд двигался по неприступной земле, наблюдая возможную тишину. Только изредка на канавках позвякивали встряхнутые оружия, или не понимающая приказа о тишине фыркала или ржала артиллерийская лошадь, или хриплым сдержанным голосом кричал рассерженный начальник на своих подчиненных за то, что цепь или слишком растинулась, или слишком близко или далеко идет от колонны. Один раз только тишина нарушилась тем, что из небольшой куртинки колючки, находившейся между цепью и колонной, выскочила коза с белым брюшком и задом и серой спинкой и такой же козел с небольшой шишкой на спине закинутыми рожками. Красивые испуганные животные большими прыжками, поджимая по-

редине ноги, нагнетали на колонну так близко, что некоторые солдаты с криками и хохотом побежали за ними, намереваясь штыками заколоть их, но козы поворотили назад, проскочили сквозь цепь и, преследуемые несколькими конными и рогатыми собаками, как птицы, утаились в горы.

Еще была зима, но солнце начинало ходить выше, и в полдень, когда вышедший рано утром отряд пронес уже верст десять, пригревало так, что становилось жарко, и лучи его были так ярки, что было трудно смотреть на сталь штыков и на блески, которые вдут вспыхивали на меду пушек, как маленькие солнца.

Позади была только что переиженная отрядом быстрая чистая речка, впереди — обработанные поля и луга с неглубокими балками, еще впереди — таинственные черные горы, покрытые лесом, за черными горами — еще выступающие скалы, и на высоком горизонте — вечно предельные, вечно изменяющиеся, играющие светом, как алмазы, снеговые горы.

Впереди пятой роты шел, в черном сюртуке, в папахе и с пашкой через плечо, недавно перешедший из гвардии высокий красивый офицер Бутлер, испытывая бодрое чувство радости жизни и вместе с тем опасности смерти и желания деятельности и сознания причастности к огромному, управлению одной волей целому. Бутлер нынче во второй раз выходил в дело, и ему радостно было думать, что вот сейчас начнут стрелять по ним и что он не только не согнет головы под пролетающим ядром или не обратит внимания на свист пуль, но, как это уже и было с ним, выше поднимет голову и с улыбкой в глазах будет оглядывать товарищей солдат и заговорит самым равнодушным голосом о чем-нибудь постороннем.

Отряд свернул с хорошей дороги и повернул на мало-мальскую, шедшую среди кучурузного живня, и стал подходить к лесу, когда — не видно было, откуда — с лопатным свистом пролетело ядро и ударилось в середине обоза, подле дороги, в кучурузное поле, взрыв на нем немлю.

— Начинается, — весело улыбаясь, сказал Бутлер шедшему с ним товарищу.

И действительно, вслед за ядром показались из-за леса густая толпа конных чеченцев с значками. В середине партии был большой зеленый значок, и старый фельдфе-

Бель, роты, очень дальнорукки, сообщили близоруккому Бутлеру, что это должен быть сам Шамиль. Партия спустилась под гору и показалась на вершине ближайшей балки справа и стала спускаться вниз. Мгленский генерал в теплом черном сюртуке и панталоне с большим белым курнем подъехал на своем иноходце к роте Бутлера и приказал ему идти вперед против спускавшейся конницы. Бутлер быстро повел по указанному направлению свою роту, но не успел спуститься к балке, как услышал зади себя один за другим два орудинные выстрела. Он оглянулся: два облака сизого дыма поднялись над двумя орудами и потянулись вьюль балки. Партия, очевидно не ожидаяшая артиллерии, пошла назад. Рота Бутлера стала стрелять вдогонку горцам, и вся долина закрылась пороховым дымом. Только выше долина видно было, как горы поспешно отступали, отстреливаясь от преследующих их казаков. Отряд пошел дальше вслед за горами, и на склоне второй балки открылся аул.

Бутлер с своей ротой бетом, вслед за казаками, вошел в аул. Жители никого не было. Солдатам было велено жечь хлеб, сено и самые сакли. По всему аулу стелился едкий дым, и в дыму этом шныряли солдаты, вытаскивая из саклей, что находили, главное же — ловили и стреляли кур, которых не могли увести горцы. Офицеры сели подалее от дыма и позавтракали и выпили. Фельдфебель принес им на доске несколько сотов меда. Чеченцев не слышно было. Немного после полдня велено было отступить. Роты построились за аулом в колонну, и Бутлеру пришлось быть в арьергарде. Как только тронулись, появились чеченцы и, следуя за отрядом, провожали его выстрелами.

Когда отряд вышел на открытое место, горцы отстали. У Бутлера никого не ранило, и он возвращался в самом веселом и бодром расположении духа.

Когда отряд, перейдя назад вброд перейденную утром речку, растаянул по кукурузным полям и лугам, песенники по ротам выступили вперед, и раздались песни. Ветру не было, воздух был свежий, чистый и такой прозрачный, что снеговые горы, отстоявшие за сотню верст, казались совсем близкими и что, когда песенники замолкали, слышался равномерный тонот ног и побрякивание орудий, как фон, на котором začínалась и останавливалась песня. Песня, которую пели в этой роте Бутлера,

была сочинена юнкером во славу полка и пелась на пивной мотив с припевом: «То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!»

Бутлер ехал верхом рядом с своим ближайшим начальником майором Петровым, с которым он и жил вместе, и не мог нарадоваться на свое решение выйти из гвардии и уйти на Кавказ. Главная причина его перехода из гвардии была та, что он проигрался в карты в Петербурге, так что у него ничего не осталось. Он боялся, что не будет в силах удержаться от игры, оставаясь в гвардии, а проигрывать уже нечего было. Теперь все это было кончено. Была другая жизнь, и такая хорошая, молодецкая. Он забыл теперь и про свое разорение, и свои неполатные долги. И Кавказ, война, солдаты, офицеры, пивный и добродушный храбрец майор Петров — все это казалось ему так хорошо, что он иногда не верил себе, что он не в Петербурге, не в накуренных комнатах забьет углы и понтирует, ненавидя банкомета и чувствуя давящую боль в голове, а здесь, в этом чудном краю, среди молодежи-кавказцев.

«То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!» — пели его песенники. Лошадь его веселым шагом шагала под эту музыку. Ротный мохнатый серый Трезорка, точно начался, закутывая хвост, с озабоченным видом бежал перед ротой Бутлера. На душе было бодро, спокойно и весело. Война представлялась ему только в том, что он подвергал себя опасности, возможности смерти и этим заслуживал и награды, и уважение и здепших товарищей, и своих русских друзей. Другая сторона войны: смерть, раны солдат, офицеров, горцев, как ни странно это сказать, и не представлялась его воображению. Он даже бессознательно, чтобы удержат свое постыческое представление о войне, никогда не смотрел на убитых и раненых. Так и нынче — у нас было три убитых и двенадцать раненых. Он прошел мимо трупа, лежавшего на спине, и только одним глазом видел какое-то странное положение воевой руки и темно-красное пятно на голове и не стал рассматривать. Горцы представлялись ему только конными джигитами, от которых надо было защищаться.

— Так вот как-с, батюшка, — говорил майор в промежутке песни. — Не так-с, как у вас в Питере: раненые наравно, раненые наравно. А вот потрудились — и домой. Машурка нам теперь пиюг подает, щи хорошие. Живны!

Так ли? Ну-ка, «Как возниклась зария», — скормандовал он свою любимую песню.

Майор жил супружески с дочерью фельдшера, сначала Машкой, а потом Марьей Дмитриевной. Марья Дмитриевна была красивая белокурая, вся в веснушках, тридцатилетняя бездетная женщина. Каково ни было ее прошедшее, теперь она была верной подругой майора, ухаживала за ним, как нянька, а это было нужно майору, часто напивавшемуся до потери сознания.

Когда пришли в крепость, все было, как предвидел майор. Марья Дмитриевна накормила его и Бутлера и еще приглашенных из отряда двух офицеров сытных, вкусным обедом, и майор наелся и напился так, что не мог уже говорить и пошел к себе спать. Бутлер, также усталый, но довольный и немного выпивший лишнего чихири, пошел в свою комнату, и едва успел раздеться, как, подложив ладонь под красивую курчавую голову, заснул крепким сном без сновидений и просыпания.

XVII

Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским.

Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, ухаживал с семьей в горы, когда русские подошли к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разурешенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огакена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старье, обвешенные грудью, с распухшими волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставала выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными конями, могилу сыну. Старик дед сидел у стены разваленной сакли и, строя палочку, туло смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженными абрикосовые и виш-

невые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщины слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревета и голудная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.

Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.

Старик хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мада до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а признание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед негеной жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, идивитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.

Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстанавливать с страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же или, напротив религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им.

Старик помыслил и единогласно решили послать к Шамиллю послов, прося его о помощи, и тотчас же пригласил за восстановлением нарушенного.

XVIII

На третий день после набега Бутлер вышел уже рано утром с заднего крыльца на улицу, намереваясь прийти и подышать воздухом до утреннего чая, который он пил обыкновенно вместе с Петровым. Солнце уже вышло из-за гор, и было много смотреть на освещенные им белые мазанки правой стороны улицы, но зато, как всегда, весело и успокоительно было смотреть налево, на удаляющиеся и возвышающиеся, покрытые лесом черные горы и на виднеющуюся из-за ущелья матовую цепь снеговых гор, как всегда старавшихся притвориться обдаками.

Бутлер смотрел на эти горы, дышал во все легкие

и радовался тому, что он живет, и живет именно он, и на этом прекрасном свете. Радовался он немножко и тому, что он так хорошо вчера вел себя в деле и при наступлении и в особенности при отступлении, когда дело было довольно жаркое, радовался и вспоминал о том, как вчера, по возвращении их из похода, Маша, или Марья Дмитриевна, сжигательница Петрова, угощала их и была особенно проста и мила со всеми, но в особенности, как ему казалось, была к нему ласкова. Марья Дмитриевна, с ее толстой косой, широкими плечами, высокой грудью и силоющей улыбкой покрытого веснушками доброго лица, невольно влекла Бутлера, как сильного, молодого холостого человека, и ему казалось даже, что она желает его. Но он считал, что это было бы дурно по отношению доброго, простодушного товарища, и держался с Марьей Дмитриевной самого простого, почтительного обращения, и радовался на себя за это. Сейчас он думал об этом.

Мысли его разлек услышанный им перед собой частый топот многих лошадиных копыт по пыльной дорожке, точно скакало несколько человек. Он поднял голову и увидел в конце улицы подвезавшую шагом кучку всадников. Впереди десятков двух казак ехали два человека: один — в белой черкеске и высокой паннахе с чалмой, другой — офицер русской службы, черный, горбоносый, в синей черкеске, с изобилием серебра на одежде и на оружии. Под всадником с чалмой был рыже-игреневый красавец конь с маленькой головой, прекрасными глазами; под офицером была высокая пегоменатая карабахская лошадь. Бутлер, охотник до лошадей, тотчас же оценил бодрую силу первой лошади и остановился, чтобы узнать, кто были эти люди. Офицер обратился к Бутлеру: — Это воинский начальник дом? — спросил он, выдвигая несклоняемой речью и выговором свое нерусское происхождение и указывая плетью на дом Ивана Матвеевича.

— Этот самый, — сказал Бутлер. — А это кто же? — спросил Бутлер, ближе подходи к офицеру и указывая глазами на человека в чалме.

— Хаджи-Мурат это. Сюда ехал, тут гостить будет у воинский начальник, — сказал офицер.

Бутлер знал про Хаджи-Мурата и про выход его к русским, но никак не ожидал увидеть его здесь, в этом маленьком укреплении.

Хаджи-Мурат дружескибно смотрел на него.

— Здравствуйте, кошкольды¹, — сказал он выученное им приветствие по-татарски.

— Сабул², — ответил Хаджи-Мурат, кивая головой. Он подехал к Бутлеру и подал руку, на двух пальцах которой висела плеть.

— Начальник? — сказал он.

— Нет, начальник здесь, пойду позову его, — сказал Бутлер, обращаясь к офицеру и входя на ступеньки и толкая дверь.

Но дверь «парадного крыльца», как его называла Марья Дмитриевна, была заперта. Бутлер постучал, но, не получив ответа, пошел кругом через задний вход. Крикнув своего денщика и не получив ответа и не найдя ни одного из двух денщиков, он зашел в кухню. Марья Дмитриевна, повязанная платком и раскрасневшаяся, с засученными рукавами под белыми полными руками, разрезала скатанное такое же белое тесто, как и ее руки, на маленькие кусочки для пирожков.

— Куда денщики подевались? — сказал Бутлер.

— Пьянствовать ушли, — сказала Марья Дмитриевна. — Да вам что?

— Дверь отпереть; у нас перед домом целая орава горцев. Хаджи-Мурат приехал.

— Еще выдумайте что-нибудь, — сказала Марья Дмитриевна, улыбаясь.

— Я не шучу. Правда. Стоят у крыльца.

— Да неужели вправду? — сказала Марья Дмитриевна.

— Что же мне вам выдумывать. Подите посмотрите, они у крыльца стоят.

— Вот так оканя, — сказала Марья Дмитриевна, опустив рукава и ощущивая рукой шпильки в своей густой косе. — Так я пойду разбужу Ивана Матвеевича, — сказала она.

— Нет, я сам пойду. А ты, Бондаренко, дверь поди отвори, — сказал Бутлер.

— Ну, и то хорошо, — сказала Марья Дмитриевна и опять взялась за свое дело.

Узнав, что к нему приехал Хаджи-Мурат, Иван Матвеевич, уже слышавший о том, что Хаджи-Мурат в Грозной,

¹ мир вам (*кумык.*).

² Будь здоров (*кумык.*).

несколько не удивился этому, а, приподнявшись, скрутил папироску, закурил и стал одеваться, громко откати-
ваясь и ворча на начальство, которое прислало к нему
«этого черта». Одевшись, он потребовал от денщика «де-
карства». И денщик, зная, что лекарством называлась
водка, подал ему.

— Нет хуже смеси,— проворчал он, выпивая водку
и закусывая черным хлебом.— Вот вчера выпил чихиря,
и болит голова. Ну, тепер готов,— закончил он и пошел
в гостиную, куда Бутлер уже привел Хаджи-Мурата и
сопутствующего ему офицера.

Офицер, провожавший Хаджи-Мурата, передал Ивану
Матвеевичу приказание начальника левого фланга при-
нять Хаджи-Мурата и, дозволяя ему иметь сообщение
с горцами через лазутчиков, отнюдь не выпускать его из
крепости иначе как с коновом казакон.

Прочтя бумагу, Иван Матвеевич, поглядел пристально
на Хаджи-Мурата и опять стал выкиять в бумагу. Не-
сколько раз перевел таким образом глаза с бумаги на
гостя, он остановил, наконец, свои глаза на Хаджи-Му-
рате и сказал:

— Якши, бек-якши. Пускай живет. Так и скажи ему,
что мне приказано не выпускать его. А что приказано,
то сято. А поместим его — как думаешь, Бутлер? — по-
местим в канцелярию?

Бутлер не успел ответить, как Марья Дмитриевна,
пришедшая из кухни и стоявшая в дверях, обратилась
к Ивану Матвеевичу:

— Зачем в канцелярию? Поместите здесь. Кунацкую
отдадим да кладовую. По крайней мере, на глазах бу-
дет,— сказала она и, взглянув на Хаджи-Мурата и встре-
тившись с ним глазами, поспешно отвернулась.

— Что же, я думаю, что Марья Дмитриевна права,—
сказал Бутлер.

— Ну, ну, ступай, бабам тут нечего делать,— хму-
рся, сказал Иван Матвеевич.

Во все время разговора Хаджи-Мурат сидел, заложив
руку за рукоять кинжала, и чуть-чуть презрительно
улыбался. Он сказал, что ему все равно, где жить. Одно,
что ему нужно и что разрешено ему сардарем, это то,
чтобы иметь сношения с горцами, и потому он желает,
чтобы их допускали к нему. Иван Матвеевич сказал, что
это будет сделано, и попросил Бутлера занять гостей, по-

ка принесут им закусь и приготовят комнаты, сам же
он пойдет в канцелярию написать нужные бумаги и сде-
лать нужные распоряжения.

Отношение Хаджи-Мурата к его новым знакомым сей-
час же очень ясно определилось. К Ивану Матвеевичу
Хаджи-Мурат с первого знакомства с ним почувствовал
отражение и презрение и всегда высокомерно обращался
к ним. Марья Дмитриевна, которая готовила и приноси-
ла ему пищу, особенно нравилась ему. Ему нравились
и ее простота, и особенная красота чуждой ему народно-
сти, и бессознательно передававшаяся ему ее влечение
к нему. Он старался не смотреть на нее, не говорить
с нею, но глаза его невольно обращались к ней и следили
за ее движениями.

С Бутлером же он тотчас же, с первого знакомства,
дружески сошелся и много и охотно говорил с ним, рас-
ширившая его про его жизнь и рассказывая ему про свою
и сообщая о тех известиях, которые приносили его лазу-
тчики о положении его семьи, и даже советуясь с ним
о том, что ему делать.

Известия, передаваемые ему лазутчиками, были нехо-
роши. В продолжение четырех дней, которые он провел
в крепости, они два раза приходили к нему, и оба раза
известия были дурные.

XIX

Семья Хаджи-Мурата вскоре после того, как он вышел
к русским, была привезена в аул Ведено и содержалась
там под стражею, ожидая решения Шамиля. Женщины —
старуха Патимат и две жены Хаджи-Мурата — и их пя-
теро малых детей жили под караулом в сакле сотенного
Ибрагима Рашида, сын же Хаджи-Мурата, восемнадцати-
летний юноша Юсуф, сидел в темнице, то есть в глубо-
кой, более сакени, яме, вместе с четырьмя преступни-
цами, ожидавшими, так же как и он, решения своей
участи.

Решение не вышло, потому что Шамиль был в
отъезде. Он был в походе против русских.

6 января 1852 года Шамиль возвратился домой в Ве-
дено после сражения с русскими, в котором, по мнению
русских, был разбит и бежал в Ведено; по его же мнению
и мнению всех мюридов, одержал победу и прогнал

русских. В сражении этом, что бывало очень редко, он сам выстрелил из винтовки и, выхватив пашку, пустил было свою лошадь прямо на русских, но сопутствующим ему мюридам удержали его. Два из них тут же подле Шамиля были убиты.

Был полдень, когда Шамиль, окруженный партией мюридов, джигитовавших вокруг него, стрелявших из винтовок и пистолетов и не переставая поющих «Ли илгяха нль алда», подъехал к своему месту пребывания. Весь народ большого аула Ведено стоял на улице и на крышах, встречая своего повелителя, и в знак торжества также стрелял из ружей и пистолетов. Шамиль ехал на арабском белом коне, весело похрапывавшем поводя при приближении к дому. Украшение коня было самое простое, без украшения золотом и серебром: тонко выделанная, с дорожкой посередине, красная ременная уздечка, металлические, стаканчиками, стремена и красивый чепрак, видневшийся из-под седла. На имаме была покрытая коричневым сукном шуба с видневшимся около шеи и рукавом черным мехом, стянута на тонком и длинном стане черным ремнем с кинжалом. На голове была надева высокая с плоским верхом папача с черной кистью, обвитая белой чалмой, от которой концы спускались за шею. Ступни ног были в зеленых чулках, и икры обтянуты черными ноговицами, обшитыми простым шнурком.

Вообще на имаме не было ничего блестящего, золотого или серебряного, и высокая, прямая, могучая фигура его, в одежде без украшений, окруженная мюридами с золотыми и серебряными украшениями на одежде и оружии, производила то самое впечатление величия, которое он жедал и умел производить в народе. Бледное, окаймленное полустриженной рыжей бородой лицо его с постоянно сощуренными маленькими глазами было, как каменное, совершенно неподвижно. Проезжая по аулу, он чувствовал на себе тысячи устремленных глаз, но его глаза не смотрели ни на кого. Жены Хаджи-Мурата с детьми тоже вместе со всеми обитателями сакли вышли на галерею смотреть въезд имама. Одна старуха Патимат — мать Хаджи-Мурата, не вышла, а осталась сидеть, как она всегда, с расстрепанными седеющими волосами, на полу сакли, охватив длинными руками свои худые колени, и, мигая своими жгучими черными глазами, смотрела на догорающие ветки в камине. Она, так же как и сын ее,

всегда ненавидела Шамиля, теперь же еще больше, чем прежде, и не хотела видеть его.

Не видел также торжественного въезда Шамиля и сын Хаджи-Мурата. Он только слышал из своей темной юнковой ямы выстрелы и пение и мучался, как только мучаются молодые, полные жизни люди, лишённые свободы. Сидя в юнковой яме и видя все одних и тех же несчастных, грязных, изможденных, с ним вместе заключенных, большей частью ненавидящих друг друга людей, он страстно завидовал теперь тем людям, которые, пользуясь воздухом, светом, свободой, гадивали теперь на лихих конях вокруг повелителя, стреляли и дружно пели «Ли илгяха нль алда».

Проехав аул, Шамиль въехал в большой двор, прикававший к внутреннему, в котором находились сарай Шамиля. Два вооруженные деэгина встретили Шамиля у открытых ворот первого двора. Двор этот был полон на своих дегах, были и просители, были и вытребовавшие самим Шамилем для суда и решения. При въезде Шамиля все находившиеся на дворе встали и почтительно приветствовали имама, прикладывая руки к груди. Некоторые стали на колени и стояли так все время, пока Шамиль проезжал двор от одних, внешних, ворот до других, внутренних. Хотя Шамиль и узнал среди дождавшихся его много неприятных ему лиц и много случайных просителей, требующих забот о них, он с тем же неизменно каменным лицом проезжал мимо них и, въехав во внутренний двор, съез у галереи своего помещенция, при въезде в ворота налево.

После наприжненного похода, не столько физического, сколько духовного, потому что Шамиль, несмотря на такое признание своего похода победой, знал, что поход его был неудачен, что много аулов чеченских сожжены и разорены, и переменчивый, легкомысленный народ, чеченцы, колеблются, и некоторые из них, ближайšie к русским, уже готовы перейти к ним, — все это было тяжело, против этого надо было принять меры, но в эту минуту Шамилю ничего не хотелось делать, ни о чем не хотелось думать. Он теперь хотел только одного: отдышка и прелесть семейной ласки любимейшей из жен своих, восемнадцатилетней черноглазой, быстрогой кистинки Аминет.

Но не только нельзя было и думать о том, чтобы видеть теперь Аминет, которая была тут же за забором, отделившим во внутреннем дворе помещение жен от мужского отделения (Шамиль был уверен, что даже теперь, пока он слезал с лошади, Аминет с другими женами смотрела в щель забора), но нельзя было не только пойти к ней, нельзя было просто лечь на пуховики отдохнуть от усталости. Надо было прежде всего совершить полюдный намаз, к которому он не имел теперь ни малейшего расположения, но исполнение которого было не только невозможно в его положении религиозного руководителя народа, но и было для него самого так же необходимо, как ежедневная пища. И он совершил омовение и молитву. Окончив молитву, он позвал дожидавшихся его.

Первым вошел к нему его тесть и учитель, высокий седой благообразный старец с белой, как снег, бородой и красно-румяным лицом, Джемад-Эдин, и, помолвившись богу, стал спрашивать Шамиля о событиях похода и рассказывать о том, что произошло в горах во время его отсутствия.

В числе всякого рода событий — об убийствах по кровомщению, о покражах скота, об обвиненных в несоблюдении предписаний тариката: курении табаку, питии вина, — Джемад-Эдин сообщил о том, что Хаджи-Мурат высылал людей для того, чтобы вывести к русским его семью, но что это было обнаружено, и семья привезена в Ведено, где и находится под стражей, ожидая решения имама. В соседней куняцкой были собраны старики для обсуждения всех этих дел, и Джемад-Эдин советовал Шамилю нынче же отпустить их, так как они уже три дня дожидались его.

Поел у себя обед, который принесла ему остроносая, черная, неприкаянная лицом и нелюбимая, но старшая жена его Зайдет, Шамиль пошел в куняцкую.

Шесть человек, составляющие совет его, старики с седыми, серыми и рыжими бородами, в чалмах и без чалм, в высоких папахах и новых бешметах и черкесках, подпоясанные ремнями с кинжалами, встали ему навстречу, Шамиль был головой выше всех их. Все они, так же как и он, подняли руки ладонями кверху и, закрыв глаза, прочли молитву, потом отерли лицо руками, спускали их по бородам и соединяли одну с другою. Окончив это,

все сели, Шамиль посередине, на более высокой подушке, и началось обсуждение всех предстоящих дел.

Дела обвиняемых в преступлении лиц решили по парияту: двух людей приговорили за воровство к отрублению руки, одного к отрублению головы за убийство, троих поминовали. Потом приступили к главному делу: к обдумыванию мер против перехода чеченцев к русским. Для противодействия этим переходам Джемад-Эдином было составлено следующее предложение:

«Желаю вам вечный мир с богом всемогущим. Слышу я, что русские ласкают вас и призывают к покорности. Не верьте им и не покоряйтесь, а терпите. Если не будете вознаграждены за это в этой жизни, то получите награду в будущей. Помните, что было прежде, когда у вас отбирали оружие. Если бы не враждамил вас тогда, в 1840 году, бог, вы бы уже были солдатами и ходили вместо кинжалов со штыками, а жены ваши ходили бы без шаровар и были бы поруганы. Судите по прошедшему о будущем. Лучше умереть во вражде с русскими, чем жить с неверными. Потерпите, а я с Кораном и шапкою приду к вам и поведаю вас против русских. Теперь же строго полагаяю не иметь не только намерения, но и помышления покоряться русским».

Шамиль одобрил это предложение и, подписав его, решил разослать его.

После этих дел было обсуждаемо и дело Хаджи-Мурата. Дело это было очень важное для Шамиля. Хотя он и не хотел признаться в этом, он знал, что, будь с ним Хаджи-Мурат с своей лояльностью, смелостью и храбростью, не случилось бы того, что случилось теперь в Чечне. Помириться с Хаджи-Муратом и опять пользоваться его услугами было хорошо; если же этого нельзя было, все-таки нельзя было допустить того, чтобы он полагал русским. И потому во всяком случае надо было называть его и, вызвав, убить его. Средство к этому было или то, чтобы подослать в Тифлис такого человека, который бы убил его там, или вызвать его сюда и здесь покончить с ним. Средство для этого было одно — его семья, и главное — его сын, к которому, Шамиль знал, что Хаджи-Мурат имел страстную любовь. И потому надо было действовать через сына.

Когда советники переговорили об этом, Шамиль закрыл глаза и умолял.

Сочетники знали, что это значило то, что он слушает теперь говорящий ему голос пророка, указывающий то, что должно быть сделано. После патиминутного торжественного молчания Шамиль открыл глаза, еще более прищурил их и сказал:

— Приведите ко мне сына Хаджи-Мурата.

— Он здесь, — сказал Джемад-Эдин.
И действительно, Юсуф, сын Хаджи-Мурата, худой, бледный, оборванный и воюющий, но все еще красивый и своим телом и лицом, с такими же жгучими, как у бабки Патимат, черными глазами, уже стоял у ворот внешнего двора, ожидая призыва.

Юсуф не разделил чувств отца к Шамилю. Он не знал всего прошедшего, или знал, но, не перекрыв его, не понимал, зачем отец его так упорно враждует с Шамилем. Ему, желающему только одного: продолжения той легкой, разгульной жизни, какую он, как сын наиба, вел в Хунзаке, казалось совершенно ненужным враждовать с Шамилем. В отпор и противоречие отцу, он особенно восхитился Шамилем и питал к нему распростиранное в горах восторженное поклонение. Он теперь с особенным чувством трепетного благоговения к имаму вошел в кунацкую и, остановившись у двери, встретился с упорным социуренным взглядом Шамиля. Он постоял несколько времени, потом подошел к Шамилю и поцеловал его больную, с длинными пальцами белую руку.

— Ты сын Хаджи-Мурата?

— Я, имам.

— Ты знаешь, что он сделал?

— Знаю, имам, и жагую об этом.

— Умешь писать?

— Я готовился быть муллой.

— Так напиши отцу, что, если он выйдет назад ко мне теперь, до байрама, я прощу его и все будет по-старому. Если же нет и он останется у русских, то, — Шамиль грозно нахмурился, — я отдам твою бабу, твою мать по аулам, а тебе отрублю голову.

Ни один мускул не дрогнул на лице Юсуфа, он наклонил голову в знак того, что понял слова Шамиля.

— Напиши так и отдай моему посланному.

Шамиль замолчал и долго смотрел на Юсуфа.

— Напиши, что я покалел тебя и не убью, а выколую глаза, как я делаю всем изменникам. Иди.

Юсуф казался спокойным в присутствии Шамиля, но когда его вывели из кунацкой, он бросился на того, кто вел его, и, выхватив у него из ножен кинжал, хотел им зарезаться, но его схватили за руки, связали их и отвели опить в яму.

В этот вечер, когда кончилась вечерняя молитва и смеркалось, Шамиль надел белую шубу и вышел за забор в ту часть двора, где помещались его жены, и направился к комнате Аминет. Но Аминет не было там. Она была у старших жен. Тогда Шамиль, стараясь быть незамеченным, стал за дверью комнаты, дожидаясь ее. Но Аминет была сердита на Шамиля за то, что он подарил шелковую материю не ей, а Зайдет. Она видела, как он вышел и как входил в ее комнату, отскивая ее, и нарочно не пошла к себе. Она долго стояла в двери комнаты Зайдет и, тихо смеясь, глядела на белую фигуру, то входившую, то уходившую из ее комнаты. Тщетно прождав ее, Шамиль вернулся к себе уже ко времени полуночной молитвы.

XX

Хаджи-Мурат прожил неделю в укреплении в доме Ивана Матвеевича. Несмотря на то, что Марья Дмитриевна наскорилась с мохнатым Ханефи (Хаджи-Мурат взял с собой только двух: Ханефи и Элдара) и выгоняла его раз из кухни, за что тот чуть не зарезал ее, она, очевидно, питала особенные чувства и уважения и симпатии к Хаджи-Мурату. Она теперь уже не подавала ему обедать, передав эту заботу Элдару, но пользовалась всяким случаем увидеть его и угодить ему. Она принимала также самое жниное участие в переговорах об его семье, знала, сколько у него жен, детей, каких лет, и всякий раз после посещения лазутчика допрашивала, кого могла, о последствиях переговоров.

Бутлер же в эту неделю совсем сдружился с Хаджи-Муратом. Иногда Хаджи-Мурат приходил в его комнату, иногда Бутлер приходил к нему. Иногда они беседовали через переводчика, иногда же собственными средствами, знаками и, главное, улыбками. Хаджи-Мурат, очевидно, полюбил Бутлера. Это видно было по отношению к Бутлеру Элдара. Когда Бутлер входил в комнату Хаджи-

Мурата, Эгдар встретил Бутлера, радостно оскакивая свои блестящие зубы, и поспешно подгадывал ему подушки под сиденье и снимал с него шапку, если она была на нем.

Бутлер познакомился и сошелся также и с мхнатым Ханефи, называвым братом Хаджи-Мурата. Ханефи знал много горских песен и хорошо пел их. Хаджи-Мурат, в улождение Бутлеру, призывал Ханефи и приказывал ему петь, называя те песни, которые он считал хорошими. Голос у Ханефи был высокий тенор, и пел он необыкновенно отчетливо и выразительно. Одна из песен особенно нравилась Хаджи-Мурату и поразила Бутлера своим торжественно-грустным напевом. Бутлер попросил переводчика пересказать ее содержание и записал ее. Песня относилась к кровомщению — тому самому, что было между Ханефи и Хаджи-Муратом.

Песня была такая:

«Высохнет земля на могиле моей — и забудешь ты меня, мой родная мать! Порастет кладбище могильной травой — загляшнит трава твою горе, мой старей отец. Слезы высохнут на глазах сестры моей, улетит и горе из сердца ее.

Но не забудешь меня ты, мой старей брат, пока не отомстишь моей смерти. Не забудешь ты меня, и второй мой брат, пока не ляжешь рядом со мной.

Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть, но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты покроешь меня, но я ли тебя конем топтал? Холодна ты, смерть, но я был твоим господином. Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо».

Хаджи-Мурат всегда слушал эту песню с закрытыми глазами и, когда она кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил:

— Хорош песня, умный песня.

Поэзия особенной, энергической горской жизни, с приездом Хаджи-Мурата и сблизившем с ним и его мюридами, еще более охватила Бутлера. Он завел себе бешмет, черкеску, ноговицы, и ему казалось, что он сам горит и что живет такою же, как и эти люди, жизнью.

В день отъезда Хаджи-Мурата Иван Матвеевич собрал несколько офицеров, чтобы проводить его. Офицеры сидели кто у чайного стога, где Марья Дмитриевна разливала чай, кто у другого стога — с водкой, чихирем и за-

мучили, когда Хаджи-Мурат, одетый по-дорожному и в орудии, бисетрами мягкими шагами вошел, хромая, и поинту.

Все встали и по очереди за руку поздоровались с ним. Иван Матвеевич пригласил его на тахту, но он, поблагодарив, сел на стул у окна. Молчанье, воцарившееся при его входе, очевидно, несколько не смутило его. Он внимательно оглядел все лица и остановил равнодушный взгляд на столе с самоваром и закусками. Бойкий офицер Петровковский, в первый раз видевший Хаджи-Мурата, через переводчика спросил его, понравился ли ему Тифлис.

— Айя, — сказал он.

— Он говорит, что да, — отвечал переводчик.

— Что же понравилось ему?

Хаджи-Мурат что-то ответил.

— Больше всего ему понравился театр.

— Ну, а на бале у главнокомандующего понравился ему?

Хаджи-Мурат нахмурился.

— У каждого народа свои обычаи. У нас женщины так не одеваются, — сказал он, взглянув на Марью Дмитриевну.

— Что же ему не понравилось?

— У нас поговяца есть, — сказал он переводчику, — угостила собака шнака мясом, а шнак собаку сеном, — оба голодные остались. — Он улыбулся. — Всякому народу свой обычай хорош.

Разговор дальше не пошел. Офицеры кто стал пить чай, кто закусьвать. Хаджи-Мурат взял предложенный стакан чаю и поставил его перед собой.

— Что ж? Сливки? Булку? — сказала Марья Дмитриевна, подавая ему.

Хаджи-Мурат наклонил голову.

— Так что ж, прощай! — сказал Бутлер, трогая его по колену. — Когда увидимся?

— Прощай! прощай! — улыбаясь, по-русски сказал Хаджи-Мурат. — Куняк булур¹. Крепко куняк твой. Времи — айда пошел, — сказал он, трихивя головой как бы тому направлению, куда надо ехать.

В дверях комнаты показались Эгдар с чем-то большим

¹ булупь (булук).

белым через плечо и с пашкой в руке. Хаджи-Мурат по-манил его, и Эддар подошел своими большими шагами к Хаджи-Мурату и подал ему белую бурку и пашку. Хаджи-Мурат встал, взял бурку и, перекинув ее через руку, подал Марье Дмитриевне, что-то сказав переводчику. Переводчик сказал:

— Он говорит: ты похватила бурку, возьми.
— Зачем это? — сказала Марья Дмитриевна, покраснев.

— Так надо. Адаг¹ так, — сказал Хаджи-Мурат.

— Ну, благодарю, — сказала Марья Дмитриевна, взяв бурку. — Дай бог вам сына выручить. Улан якин², — прибавила она. — Переведите ему, что желаю ему семью выручить.

Хаджи-Мурат взглянул на Марью Дмитриевну и одобрительно кивнул головой. Потом он взял из рук Эддара пашку и подал Ивану Матвеевичу. Иван Матвеевич взял пашку и сказал переводчику:

— Скажи ему, чтобы мерина моего бурого взял, больше нечем отдарить.

Хаджи-Мурат помахал рукой перед лицом, показывая этим, что ему ничего не нужно и что он не возьмет, а потом, показав на горы и на свое сердце, пошел к выходу. Все пошли за ним. Офицеры, оставшиеся в комнатах, вынув пашку, разглядывали клинок на ней и решили, что это была настоящая гурда.

Бутлер вышел вместе с Хаджи-Муратом на крыльцо. Но тут случилось то, чего никто не ожидал и что могло кончиться смертью Хаджи-Мурата, если бы не его сметливость, решительность и ловкость.

Жители кумылкого аула Таш-Кичу, питавшие большое уважение к Хаджи-Мурату и много раз приезжавшие в укрепление, чтобы только взглянуть на знаменитого наиба, за три дня до отъезда Хаджи-Мурата послали к нему послов просить его в пятницу в их мечеть. Кумылки же князья, жившие в Таш-Кичу и ненавидевшие Хаджи-Мурата и имевшие с ним кровомщенне, узнав об этом, объявили народу, что они не пустят Хаджи-Мурата в мечеть. Народ возволновался, и произошла драка народа с княжескими сторонниками. Русское начальство усмири-

ло горцев и послало Хаджи-Мурату сказать, чтобы он не приезжал в мечеть. Хаджи-Мурат не поехал, и все думали, что дело тем и кончилось.

Но в самую минуту отъезда Хаджи-Мурата, когда он вышел на крыльцо и лошади стояли у подъезда, к дому Ивана Матвеевича подъехал знакомый Бутлеру и Ивану Матвеевичу кумылкий князь Арслан-Хан.

Увидя Хаджи-Мурата и выхватив из-за пояса пистолет, он направил его на Хаджи-Мурата. Но не успел Арслан-Хан выстрелить, как Хаджи-Мурат, немоторя на свою хромоту, как кошка, быстро бросился с крыльца к Арслан-Хану. Арслан-Хан выстрелил и не попал. Хаджи-Мурат же, подбежав к нему, одной рукой схватил его лошадь за повод, другой выхватил кинжал и что-то по-татарски крикнул.

Бутлер и Эддар в одно и то же время подбежали к врагам и схватили их за руки. На выстрел вышел и Иван Матвеевич.

— Что же это ты, Арслан, у меня в доме затеял такую гадость! — сказал он, узнав, в чем дело. — Нехорошо это, брат. В поле две волы, а что же у меня резню такую затеять.

Арслан-Хан, маленький человек с черными усами, весь бледный и дрожащий, сошел с лошади, злобно поглядел на Хаджи-Мурата и ушел с Иваном Матвеевичем в горницу. Хаджи-Мурат же вернулся к лошадям, тяжело дыша и улыбаясь.

— За что он его убить хотел? — спросил Бутлер через переводчика.

— Он говорит, что такой у нас закон, — передал переводчик слова Хаджи-Мурата. — Арслан должен отомстить ему за кровь. Бог он и хотел убить.

— Ну, а если он догонит его дорогой? — спросил Бутлер.

Хаджи-Мурат улыбнулся.

— Что ж, — убьет, значит, так адлах хочет. Ну, прощай, — сказал он опять по-русски и, взявшись за холку лошади, обвел глазами всех провожавших его и ласково встретился взглядом с Марьей Дмитриевной.

— Прощай, матушка, — сказал он, обращаясь к ней, — спасибо.

— Дай бог, дай бог семью выручить, — повторила Марья Дмитриевна.

¹ По старинному обычаю (*араб.*).

² Молодой парень (*кумык.*).

Он не понял слов, но понял ее участие к нему и кивнул ей головой.

— Смотри, не забудь куняка,— сказал Бутлер.

— Скажи, что я верный друг ему, никогда не забуду,— ответил он через переводчика и, не смотря на свою кривую ногу, только что дотронулся до стремени, как быстро и легко перенес свое тело на высокое седло и, оправив пашку, ощутив привычный движением пистолет, с тем особенным гордым, воинственным видом, с которым сидит горец на лошади, поехал прочь от дома Ивана Матвеевича. Ханефи и Эдгар также сели на лошадей и, дружелюбно простившись с хозяевами и офицерами, поехали рысью за своим мяршидом.

Как всегда, начались толки об уехавшем.

— Молодчина!

— Ведь как волк бросился на Арслан-Хана, совсем лицо другое стало.

— А надует он. Плуту большой должен быть,— сказал Петроковский.

— Дай бог чтобы побольше русских таких плутов было,— вдруг с досадой вмешалась Марья Дмитриевна.— Неделю у нас прожил; кроме хорошего, ничего от него не видали,— сказала она.— Обходительный, умный, справедливый.

— Почему вы это все узнали?

— Стало быть, узнала.

— Вторилась, а? — сказал вошедший Иван Матвеевич.— Уж это как есть.

— Ну и вторилась. А вам что? Только зачем осуждать, когда человек хороший. Он татарин, а хороший.

— Правда, Марья Дмитриевна,— сказал Бутлер.— Молодец, что заступилась.

XXI

Жизнь обитателей передовых крепостей на чеченской линии шла по-старому. Были с тех пор две тревоги, на которые выбегали роты и скакали казаки и милиционеры, но оба раза горцев не могли остановить. Они уходили и один раз в Воздвиженской утнали восемь лошадей казначых с водою и убили казака. Набегов со времени последнего, когда был разорен аул, не было. Только ожи-

далась большая экспедиция в Большую Чечню вследствие назначения нового начальника левого фланга, князя Барятинского.

Князь Барятинский, друг наследника, бывший командир Кабардинского полка, теперь, как начальник всего левого фланга, тотчас по приезде своем в Грозную собрал отряд, с тем чтобы продолжать исполнять те предначертания государя, о которых Чернышев писал Воронцову. Собранный в Воздвиженской отряд вышел из нее на позицию по направлению к Куринскому. Войска стояли там и рубили лес.

Молодой Воронцов жил в великолепной суконой палатке, и жена его, Марья Васильевна, приезжала в лагерь и часто оставалась ночевать. Ни от кого не были секретом отношения Барятинского с Марьей Васильевной, и потому неприличные офицеры и солдаты грубо ругали ее за то, что благодаря ее присутствию в лагере их рассладили в ночные секреты. Обыкновенно горцы подвозили орудия и пускали ядра в лагерь. Ядра эти большей частью не попадали, и потому в обыкновенное время против этих выстрелов не принималось никаких мер; но для того чтобы горцы не могли выдвигать орудия и пугать Марью Васильевну, высылались секреты. Ходить же каждую ночь в секреты для того, чтобы не напугать барыню, было оскорбительно и противно, и Марью Васильевну нехорошими словами честили солдаты и не принимали в высшее общество офицеры.

В этот отряд, чтобы повидать там собравшихся своих однокашников по Пазескому корпусу и однополчан, служивших в Куринском полку и адъютантами и ординарами при начальстве, приехал в отпуск и Бутлер из своего укрепления. С начала его приезда ему было очень весело. Он остановился в палатке Полторацкого и нашел тут много радостно встретивших его знакомых. Он пошел и к Воронцову, которого он знал немного, потому что служил одно время в одном с ним полку. Воронцов принял его очень ласково и представил князю Барятинскому и пригласил его на процальный обед, который он давал бывшему до Барятинского начальнику левого фланга, генералу Козловскому.

Обед был великолепный. Были привезены и поставлены рядом шесть палаток. Во всю длину их были накрыты стол, уставленный приборами и бутылками. Все напоми-

наго петербургское гвардейское житье. В два часа сели за стол. В середине стола сидели: по одну сторону Козловский, по другую Барятинский. Справа от Козловского сидел муж, слева жена Воронцовы. Во всю длину с обеих сторон сидели офицеры Кабардинского и Куринского полков. Бутлер сидел рядом с Полторацким, оба весело болтали и пили с соседями-офицерами. Когда дело дошло до жаркого и денщики стали разливать по бокалам шампанское, Полторацкий с искренним страхом и сожалением сказал Бутлеру:

— Осрамится наш «как».

— А что?

— Да ведь ему надо речь говорить. А что же он может?

— Да, брат, это не то, что под пуглами завалы брать. А еще тут рядом дама да эти придворные господа. Право, жалко смотреть на него, — говорили между собою офицеры.

Но вот наступила торжественная минута. Барятинский встал и, подняв бокал, обратился к Козловскому с короткой речью. Когда Барятинский кончил, Козловский встал и довольно твердым голосом начал:

— По высочайшей его велечества воле, я уезжаю от вас, расстаюсь с вами, господа офицеры, — сказал он. — Но считайте меня всегда, как, с вами... Вам, господа, знакома, как, истина — один в поле не воин. Поэтому все, чем я на службе моей, как, награжден, все, как, чем осыпан, великими щедротами государя императора, как, всем положением моим и, как, добрым именем — всем, всем репительно, как... — здесь голос его задрожал, — я, как, обязан одним вам и одним вам, дорогие друзья мои! — И морщинистое лицо сморщилось еще больше. Он всхлипнул, и слезы выступили ему на глаза. — От всего сердца прошу вас, как, мою искреннюю задуманную признательность...

Козловский не мог говорить дальше и, встал, стал обнимать офицеров, которые подошли к нему. Все были расторопны. Книжки закрыла лицо платком. Князь Семен Михайлович, скрывая рот, моргал глазами. Многие из офицеров тоже прослезились. Бутлер, который очень мало знал Козловского, тоже не мог удержаться слез. Все это ему чрезвычайно нравилось. Потом начались тосты за Барятинского, за Воронцова, за офицеров, за солдат,

и гости вышли от обеда охляпанные и выпитым вином, и военным восторгом, к которому они и так были особенно склонны.

Погода была чудная, солнечная, тихая, с бодрящим свежим воздухом. Со всех сторон трещали костры, слышались песни. Казалось, все праздновали что-то. Бутлер в самом счастлином, удивленном расположении духа пошел к Полторацкому. К Полторацкому собралась офицеры, раскинули карточный стол, и адъютант заложил банк в сто рублей. Раза два Бутлер выходил из палатки, держа в руке, в кармане панталон, свой конспект, но, наконец, не выдержал и, несмотря на данное себе и братьям слово не играть, стал понтиривать.

И не прошло часу, как Бутлер, весь красный, в поту, испачканный мелом, сидел, облокотившись обеими руками на стол, и писал под сматыми на углы и транспорты картами цифры своих ставок. Он проиграл так много, что уж боялся съест то, что было за ним написано. Он, не ссытая, знал, что, отдав все жалованье, которое он мог взять вперед, и цену своей лошади, он все-таки не мог заплатить всего, что было за ним написано неизвестным адъютантом. Он бы играл и еще, но адъютант с строгим лицом положил своими белыми чистыми руками карты и стал считать меловую колонну записей Бутлера. Бутлер сконфуженно просил извинить его за то, что не может заплатить сейчас всего того, что проиграл, и сказал, что он прийдет из дому, и когда он сказал это, он заметил, что всем стало жаль его и что все, даже Полторацкий, избежали его взгляда. Это был последний его вечер. Стояло ему не играть, а пойти к Воронцову, куда его звали, «и все бы было хорошо», — думал он. А теперь было не только не хорошо, но было ужасно.

Простившись с товарищами и знакомыми, он уехал домой и, приехав, тотчас же лег спать и спал восемьдесят часов сряду, как спит обыкновенно после проигрыша. Марья Дмитриевна по тому, что он попросил у нее полтинник, чтобы дать на чай провожавшему его казавку, и по его грустному виду и коротким ответам поняла, что он проигрался, и напала на Ивана Матвеевича, зачем он отпускал его.

На другой день Бутлер проснулся в двенадцатом часу и, вспоминая свое положение, хотел бы опять вырваться и забвение, из которого только что вышел, но нельзя

было. Надо было принять меры, чтобы выплатить чetyреста семьдесят рублей, которые он остался должен знакомому человеку. Одна из этих мер состояла в том, что он написал письмо брату, каясь в своем грехе и умоляя его выслать ему в последний раз пятьсот рублей в счет той мельницы, которая оставалась ему у них в общем владении. Потом он написал своей скупой родственнице, прося ее дать ему на каких она хочет процен-тах те же пятьсот рублей. Потом он пошел к Ивану Матвеевичу и, зная, что у него ни, скорее, у Марьи Дмитриевны есть деньги, просил его дать ему взаимны пятьсот рублей.

— Я бы дал,— сказал Иван Матвеевич,— сейчас отдал бы, да Машка не даст. Они, эти бабы, очень уж прижимисты, черт их знает. А надо, надо выкрутиться, черт его возьми. У того черта, у маркиганта, нет ли?

Но у маркиганта нечего было и пробовать заниматься. Так что спасение Бутгера могло прийти только от братьев или от скупой родственницы.

XXII

Не достигнув своей цели в Чечне, Хаджи-Мурат вернулся в Тифлис и какой-то день ходил к Воронцову и, когда его принимали, умолял его собрать горских пленных и выменять на них его семью. Он опять говорил, что без этого он связан и не может, как он хотел бы, служить русским и уничтожить Шамиля. Воронцов неопределенно обещал сделать, что может, но откладывал, говоря, что он решит дело, когда придет в Тифлис генерал Аргутинский и он пероговорит с ним. Тогда Хаджи-Мурат стал просить Воронцова разрешить ему съездить на время и пожить в Нухе, небольшом городке Закавказья, где он полагал, что ему удобнее будет вести переговоры с Шамилем и с преданными ему людьми о своей семье. Кроме того, в Нухе, маргометанском городе, была мечеть, где он более удобно мог исполнять требуемые маргометанским законом молитвы. Воронцов написал об этом в Петербург, а между тем все-таки разрешил Хаджи-Мурату переехать в Нуху.

Для Воронцова, для петербургских властей, так же как и для большинства русских людей, знавших историю

Хаджи-Мурата, история эта представлялась или счастливым оборотом в кавказской войне, или просто интересным случаем; для Хаджи-Мурата же это был, особенно в последнее время, страшный поворот в его жизни. Он бежал из гор, отчасти спасая себя, отчасти из ненависти к Шамилю, и, как ни трудно было это бегство, он достиг своей цели, и в первое время его радовал его успех и он действительно обдумывал планы нападения на Шамиля. Но оказалось, что выход его семьи, который, он думал, легко устроить, был труднее, чем он думал. Шамиль захватил его семью и, держа ее в плену, обещал раздать женщин по аулам и убить или ослепить сына. Теперь Хаджи-Мурат переезжал в Нуху с намерением попытаться через своих приверженцев в Дагестане хитростью или силой вырвать семью от Шамиля. Последний дазучин, который был у него в Нухе, сообщил ему, что преданные ему аварцы собираются похитить его семью и выйти вместе с семейю к русским, но людей, готовых на это, слишком мало и что они не решаются сделать этого в месте заключения семьи, в Ведено, но сделают это только в том случае, если семью переведут из Ведено в другое место. Тогда на пути они обещаются сделать это. Хаджи-Мурат велел сказать своим друзьям, что он обещает три тысячи рублей за выручку семьи.

В Нухе Хаджи-Мурату был отведен небольшой дом в пять комнат, недалеко от мечети и ханского двора. В том же доме жили приставленные к нему офицеры и переводчик и его нукеры. Жизнь Хаджи-Мурата проходила в ожидании и приеме дазучинов из гор и в разрезанных ему прогулках верхом по окрестностям Нухи. Вернувшись 8 апреля с прогулки, Хаджи-Мурат узнал, что в его отсутствие приехал чиновник из Тифлиса. Несмотря на все желание узнать, что привез ему чиновник, Хаджи-Мурат, прежде чем идти в ту комнату, где его ожидали пристав с чиновником, пошел к себе и совершил полуденную молитву. Окончив молитву, он вышел в другую комнату, служившую гостиной и приемной. Приехавший из Тифлиса чиновник, толстенный статский советник Кириллов, передал Хаджи-Мурату желание Воронцова, чтоб он к двенадцатому числу приехал в Тифлис для свидания с Аргутинским.

— Якши,— сердито сказал Хаджи-Мурат. — Чиновник Кириллов не понравился ему.

— А деньги привез?

— Привез,— сказал Кириллов.

— За две недели теперь,— сказал Хаджи-Мурат и показал десять палцев и еще четыре.— Давай.

— Сейчас дадим,— сказал чиновник, доставая кошелек из своей дорожной сумки.— И на что ему деньги?— сказал он по-русски приставу, полагая, что Хаджи-Мурат не понимает, но Хаджи-Мурат понял и сердито взглянул на Кириллова. Доставив деньги, Кириллов, желая разгордиться с Хаджи-Муратом, с тем чтобы иметь что передать по возвращении своем князю Воронцову, спросил у него через переводчика, скучно ли ему здесь. Хаджи-Мурат сбоку взглянул презрительно на маленького толстого человека в штатском и без оружия и ничего не ответил. Переводчик повторил вопрос.

— Скажи ему, что я не хочу с ним говорить. Пускай даст деньги.

И, сказав это, Хаджи-Мурат опять сел к столу, собиравсь считать деньги.

Когда Кириллов вынул золотые и разложил семь столбиков по десять золотых (Хаджи-Мурат получал по пять золотых в день), он подвинул их к Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат ссынал золотые в рукав черески, поднялся и совершенно неожиданно хлопнул статского советника по плещи и пошел из комнаты. Статский советник при-вскочил и велел переводчику сказать, что он не должен сместь этого делать, потому что он в чине полковника. То же подтвердил и пристав. Но Хаджи-Мурат кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты.

— Что с ним станешь делать,— сказал пристав.— Придет кинжалом, вот и все. С этими чертами не стово-ришь. Я вижу, он бесится начинается.

Как только смерклося, пришли из гор обвязанные до-глаз башлыками два лазутчика. Пристав провел их в комнаты к Хаджи-Мурату. Один из лазутчиков был ми-систый черный тавлинец, другой— худой старик. Изве-сти, принесенные ими, были для Хаджи-Мурата нера-достные. Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал самими страшными казнями тем, кто будет помогать Хаджи-Мурату. Отслушав расказ лазутчиков, Хаджи-Мурат облокотил руки на скрещенные ноги и, опустив голову в папаше, долго молчал. Хаджи-Мурат думал,

и думал решительно. Он знал, что думает теперь в по-следний раз, и необходимо решение. Хаджи-Мурат под-нял голову и, достав два золотых, отдал лазутчикам по одному и сказал:

— Идите.

— Какой будет ответ?

— Ответ будет, какой даст бог. Идите.

Лазутчики встали и ушли, а Хаджи-Мурат продолжал сидеть на ковре, опершись локтями на колени. Он долго сидел так и думал.

«Что делать? Поверить Шамилю и вернуться к не-му?— думал Хаджи-Мурат.— Он лисица— обманет. Если же бы он и не обманул, то покориться ему, рыжему обманщику, нельзя было. Нельзя было потому, что он те-перь, после того как я побыл у русских, уже не поверит мне»,— думал Хаджи-Мурат.

И он вспомнил сказку тавлинскую о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к своим. Он вернулся, но в путях, и на путях остались бубенцы. И соколы не приняли его. «Лети,— сказали они,— туда, где надежи на тебя серебряные бубенцы. У нас нет бубенцов, нет и пут». Сокол не хотел покидать родину и остался. Но другие соколы не приняли и за-клевали его.

«Так заклянут и меня»,— думал Хаджи-Мурат.

«Остаться здесь? Покорить русскому царю Кавказ,

заслужить славу, чины, богатство?»

«Это можно»,— думал он, вспоминая про свои свидан-ия с Воронцовым и дестные слова старого князя.

«Но надо сейчас решить, а то он погубит семью». Всею ночь Хаджи-Мурат не спал и думал.

XXIII

В середине ночи решение его было составлено. Он ре-шил, что надо бежать в горы и с преданными аварцами возвращаться в Ведено или умереть, или освободить семью. Выведет ли он семью назад к русским или бежит с нею в Хузах и будет бороться с Шамилем,— Хаджи-Мурат не решил. Он знал только то, что сейчас надо было бежать от русских в горы. И он сейчас стал приводить это реше-ние в исполнение. Он взял из-под подушки свой черный

натный бешмет и пошел в помещение своих нукеров. Они жили через сени. Как только он вышел в сени с открытой дверью, его охватила росистая свежесть лунной ночи и ударили в уши свисты и шелканье сразу нескольких соловьев из сада, прижавшего к дому.

Пройдя сени, Хаджи-Мурат открыл дверь в комнату нукеров. В комнате этой не было света, только молодой месяц в первой четверти светил в окна. Стол и два стула стояли в стороне, и все четыре нукера лежали на коврах и бурках на полу. Ханефи спал на дворе с лошадыми. Гамзало, услышав скрип двери, поднялся, отлынувши на Хаджи-Мурата и, унава его, опять лег. Элдар же, лежавший подле, вскочил и стал надевать бешмет, ожидая приказаний. Курбан и Хан-Магома спали. Хаджи-Мурат подождил бешмет на стол, и бешмет стукнул о доски стола чем-то крепким. Это были зашитые в нем золотые.

— Зашей и эти, — сказал Хаджи-Мурат, подавая Элдару полученные нынче золотые.

Элдар взял золотые и тотчас же, выйдя на светлое место, достал из-под кинжала ножичек и стал пороть подкладку бешмета. Гамзало приподнялся и сидел, скрестив ноги.

— А ты, Гамзало, вели молодцам осмотреть ружья, пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко, — сказал Хаджи-Мурат.

— Порох есть, пули есть. Будет готово, — сказал Гамзало и зарычал что-то непонитное.

Гамзало понял, для чего Хаджи-Мурат велел зарядить ружья. Он с самого начала, и что дальше, то сильнее и сильнее, желал одного: побить, порезать, сколько можно, русских собак и бежать в горы. И теперь он видел, что этого самого хочет и Хаджи-Мурат, и был доволен.

Когда Хаджи-Мурат ушел, Гамзало разбудил товарищей, и все четверо всю ночь пересматривали винтовки, пистолеты, затравки, кремни, переменяли пloxие, подсыпали на полки свежего пороха, затыкали хозыри с отмеренными зарядами пороха, пулями, обернутыми в масляные тряпки, точили шашки и кинжалы и мазали клинки салом.

Перед рассветом Хаджи-Мурат опять вышел в сени, чтобы взять воды для омовения. В сенях еще громче и чаще, чем с вечера, слышны были заливавшиеся перед

светом соловьи. В комнате же нукеров слышно было равномерное шипение и свистение железа по камню оттачиваемого кинжала. Хаджи-Мурат зачерпнул воды из кадки и подошел уже к своей двери, когда услышал в комнате мюридов, кроме звука течения, еще и тонкий голос Ханефи, певшего знакомую Хаджи-Мурату песню. Хаджи-Мурат остановился и стал слушать.

В песне говорилось о том, как джигит Гамзат утнал о своими молодцами с русской стороны табун белых коней. Как потом его настит за Теремом русский князь и как он окружил его своим, как лес, большим войском. Потом пелось о том, как Гамзат порезал лошадей и с молодцами своими засел за кровавым завалом убитых коней и бился с русскими до тех пор, пока были пули в ружьях и кинжалах на поясах и кровь в жилах. Но прежде чем умереть, Гамзат увидал птиц на небе и закричал им: «Вы, перелетные птицы, летите в наши дома и скажите вы нашим сестрам, матерям и белым девушкам, что умерли мы все за хазават. Скажите им, что не будут наши тела лежать в могилах, а растаскают и оглодают наши кости жадные волки и выклюют глаза нам черные вороны».

Этими словами кончалась песня, и в этом последнем слове, пропетым заунывным напевом, присоединился бодрый голос веселого Хана-Магома, который при самом конце песни громко закричал: «Ли илгяха иль алда» — и пронзительно завизжал. Потом все затихло, и опять слышалось только соловьиное чмокание и свист из сада и равномерное шипение и иредака свистение быстро скользящего по камням железа из-за двери.

Хаджи-Мурат так задумался, что не заметил, как нагнул кувшин, и вода лилась из него. Он покачал на себя головой и вошел в свою комнату.

Совершив утренний намаз, Хаджи-Мурат осмотрел свое оружие и сел на свою постель. Делать было больше нечего. Для того, чтобы выехать, надо было спроситься у пристава. А на дворе еще было темно, и пристав еще спал.

Песня Ханефи напомнила ему другую песню, сложившую его матерью. Песня эта рассказывала то, что действительно было, — было тогда, когда Хаджи-Мурат только что родился, но про что ему рассказывала его мать.

Песня была такая:

«Булгачный книжкал твой прорвал мою белую грудь, а и приложила к ней мое солнышко, моего мальчика, омыла его своей горячей кровью, и рана зажила без трав и кореньев, не боялась я смерти, не будет бояться и мальчик-джигит».

Слова этой песни обращены были к отцу Хаджи-Мурата, и смысл песни был тот, что, когда родился Хаджи-Мурат, ханша родила тоже своего другого сына, Умма-Хана, и потребовала к себе в кормилицы мать Хаджи-Мурата, выкормившую старшего ее сына Абулчуца. Но Патимат не захотела оставить этого сына и сказала, что не пойдет. Отец Хаджи-Мурата рассердился и приказывал ей. Когда же она опять отказалась, ударил ее книжагом и убил бы ее, если бы ее не отняли. Так она и не отдала его и выкормила, и на это дело сложила песню.

Хаджи-Мурат вспомнил свою мать, когда она, укладывая его спать с собой рядом, под шубой, на крыше сакли, пела ему эту песню, и он просил ее показать ему то место на боку, где остался след от раны. Как живую, он видел перед собой свою мать — не такую сморщенной, седой и с решеткой зубов, какою он оставил ее теперь, а молодой, красивой и такой сильной, что она, когда ему было уже лет пять и он был тяжелей, носила его за спиной в корзине через горы к деду.

И вспоминал ему и морщинистый, с седой бородкой, дед, серебряник, как он чеканил серебро своими жилистыми руками и заставлял внука говорить молитвы. Вспомнился фонтан под горой, куда он, держа за шавары матери, ходил с нею за водой. Вспомнилась худая собака, лизавшая его в лицо, и особенно запах и вкус дыма и кислого молока, когда он шел за матерью в сарай, где она доила корову и топила молоко. Вспомнилась, как мать в первый раз обрила ему голову и как в блестящем медном тазу, висевшем на стене, с удивлением увидел свою круглую синешую головоенку.

И, вспоминая себя маленьким, он вспомнил и о любимом сыне Юсуфе, которому он сам в первый раз обрил голову. Теперь этот Юсуф был уже молодой красавец-джигит. Он вспомнил сына таким, каким видел его последний раз. Это было в тот день, как он выезжал из Цельмеса. Сын подал ему коня и попросил позволения проводить его. Он был одет и вооружен и держал в по-

лоду свою лошадь. Румяное, молодое, красивое лицо Юсуфа и вся высокая, тонкая фигура его (он был выше отца) дышала отвагой молодости и радостью жизни. Широкие, несмотря на молодость, плечи, очень широкий юношеский таз и тонкий, длинный стан, длинные сильные руки и сила, гибкость, ловкость во всех движениях всегда радовали отца, и он всегда любовался сыном.

— Лучше оставайся. Ты один теперь в доме. Берети и мать и бабку,— сказал Хаджи-Мурат.

И Хаджи-Мурат помнил то выражение молодчества и гордости, с которым, покраснев от удовольствия, Юсуф сказал, что, пока он жив, никто не смеет худого его матери и бабке. Юсуф все-таки сел верхом и проводил отца до ручья. От ручья он вернулся назад, и с тех пор Хаджи-Мурат уже не видел ни жены, ни матери, ни сына.

И вот этого-то сына хотел ослепить Шамил! О том, что следуют с его женою, он не хотел и думать.

Мысли эти так взволновали Хаджи-Мурата, что он не мог более сидеть. Он вскочил и, хромая, быстро подошел к двери и, отворив ее, кликнул Элдара. Солнце еще не всходило, но было совсем светло. Соловьи не замолкали.

— Поди скажи пристапу, что я желаю ехать на прогулку, и седлайте коней,— сказал он.

XXIV

Единственным утешением Буллера была в это время воинственная поэзия, которой он предавался не только на службе, но и в частной жизни. Он, одетый в черкесский костюм, джигитовал верхом и ходил два раза в засаду с Богдановичем, хотя в оба раза эти они никого не подкараулили и никого не убили. Эта смелость и дружба с известным храбрым Богдановичем казалась Буллери чем-то приятным и важным. Долг свой он уплатил, заняв деньги у еврея на огромные проценты, то есть только отсрочил и отдалил неразрешенное положение. Он старался не думать о своем положении и, кроме воинственной поэзии, старался забыть еще вино. Он пил все больше и больше и со дня на день все больше и больше нравственно слабел. Он теперь уже не был прекрасным Мосифом по отношению к Марье Дмитриевне, а, напротив,

стал грубо ухаживать за ней, но, к удивлению своему, встретил решительный отпор, сильно притягивший его.

В конце апреля в укреплении пришел отряд, который Барятинский предназначал для нового движения через роты Кабардинского полка, и роты эти, по установившемуся кавказскому обычаю, были приняты как гости ротами, стоящими в Куринском. Солдаты разобрались по казармам и утащивались не только ужином, кашей, говядиной, но и водкой, и офицеры разместились по офицерам, и, как и водилось, здешние офицеры утащивали пришедших.

Утощение кончилось попойкой с песенниками, и Иван Матвеевич, очень пьяный, уже не красивый, но бледносерый, сидел верхом на стуле и, выхватив шапку, рубил ею воображаемых врагов и то ругался, то хохотал, то обнимался, то плескал под любимую свою песню: «Шамиль начал бунтоваться в прошедшие годы, трай-рай-рататай, в прошедшие годы».

Бутлер был тут же. Он старался видеть и в этом военную поэзию, но в глубине души ему жалко было Ивана Матвеевича, но остановить его не было никакой возможности. И Бутлер, чувствуя хмель в голове, потихоньку вышел и пошел домой.

Полный месяц светил на белые домики и на камни дологи. Было светло так, что всякий камушек, соломинка, помет были видны на дороге. Похода к дому, Бутлер встретил Марью Дмитриевну, в платке, покрывавшем ей голову и плечи. После отпора, данного Марьей Дмитриевной Бутлеру, он, немного совестясь, избежал встречи с нею. Теперь же, при лунном свете и от выпитого вина, Бутлер обрадовался этой встрече и хотел опять пригласиться к ней.

— Вы куда? — спросил он.

— Да своего старика проведать, — дружелюбно отвечала она. Она совершенно искренно и решительно отвергла ухаживанье Бутлера, но ей неприятно было, что он все последнее время сторонился ее.

— Что же его проведывать, придет.

— Да придет ли?

— А не придет — принесут.

— То-то, нехорошо ведь это, — сказала Марья Дмитриевна. — Так не ходить?

— Нет, не ходите. А пойдем лучше домой.

Марья Дмитриевна повернулась и пошла домой рядом с Бутлером. Месяц светил так ярко, что около тени, двигавшейся подле дороги, двигалось сияние вокруг головы. Бутлер смотрел на это сияние около своей головы и соображая сказать ей, что она все так же нравится ему, но не знал, как начать. Она ждала, что он скажет. Так, молча, они совсем уж подошли к дому, когда из-за угла выехали верховые. Ехал офицер с коновом.

— Это кого бог несет? — сказала Марья Дмитриевна и посторонилась.

Месяц светил везд приезжему, так что Марья Дмитриевна узнала его только тогда, когда он почти поравнялся с ними. Это был офицер Каменев, служивший прежде вместе с Иваном Матвеевичем, и потому Марья Дмитриевна знала его.

— Петр Николаевич, вы? — обратилась к нему Марья Дмитриевна.

— Я самый, — сказал Каменев. — А, Бутлер! Здравствуйте! Не спите еще? Гуляете с Марьей Дмитриевной? Смотрите, Иван Матвеевич вам задрас. Где он?

— А вот слышите, — сказала Марья Дмитриевна, указывая в ту сторону, из которой неслись звуки тудум-баса и песни. — Кутят.

— Это что же, ваши кутят?

— Нет, пришли из Хасав-Юрта, вот и утощаются.

— А, это хорошее дело. И я поспею. Я к нему ведь только на минуточку.

— Что же, дело есть? — спросил Бутлер.

— Есть маленькое дело.

— Хорошее или дурное?

— Кому как! Для нас хорошее, кое для кого скверное, — и Каменев засмеялся.

В это время и пение и Каменев подошли к дому Ивана Матвеевича.

— Чихирев! — крикнул Каменев казаку. — Подквезжай-ка.

Донской казак выдвинулся из остальных и подквезал. Казак был в обыкновенной донской форме, в сапогах, шинели и с переметными сумками за седлом.

— Ну, достань-ка штуку, — сказал Каменев, слезав с лошади.

Казак тоже слез с лошади и достал из переметной

сумы мешок с чем-то. Каменев взял из рук казака мешок и запустил в него руку.

— Так показать вам новость? Вы не испугаетесь? — обрattился он к Марье Дмитриевне.

— Чего же бояться, — сказала Марья Дмитриевна.

— Вот она, — сказал Каменев, доставая чеповещескую голову и выставляя ее на свет месяца. — Узнаете?

Это была голова, бритая, с большими выступами черепа над глазами и черной стриженой бородкой и подстриженными усами, с одним открытым, другим полузакрытым глазом, с разрубленным и недорубленным бритым черепом, с окровавленными запекшейся черной кровью носом. Шея была замотана окровавленным пологотенцем. Несмотря на все раны головы, в складке послепенных губ было детское доброе выражение.

Марья Дмитриевна посмотрела и, ничего не сказав, повернулась и быстрыми шагами ушла в дом.

Бутлер не мог отвести глаз от страшной головы. Это была голова того самого Хаджи-Мурата, с которым он так недавно проводил вечера в таких дружеских беседах.

— Как же это? Кто его убил? Где? — спросил он.

— Удрать хотел, поймали, — сказал Каменев и отдал голову казаку, а сам вошел в дом вместе с Бутлером.

— И молодцом умер, — сказал Каменев.

— Да как же это все случилось?

— А вот походите, Иван Матвеевич придет, я все подробно расскажу. Ведь я затем послан. Развожу по всем укрепленным, аздам, показываю.

Было послано за Иваном Матвеевичем, и он, пьяный, с двумя также сильно выпившими офицерами, вернулся в дом и принялся обнимать Каменева.

— А я к вам, — сказал Каменев. — Хаджи-Мурата голову привез.

— Врешь! Убил ли?

— Да, бежать хотел.

— Я говорил, что надует. Так где же она? Голова-то? Покажи-ка.

Кликнули казака, и он внес мешок с головой. Голову вынули, и Иван Матвеевич пьяными глазами долго смотрел на нее.

— А все-таки молодчина был, — сказал он. — Дай я его поцелую.

— Да, правда, лихая была голова, — сказал один из офицеров.

Когда все осмотрели голову, ее отдали опять казаку. Казак положил голову в мешок, стараясь опустить на пол так, чтобы она как можно слабее стукнула.

— А что ж ты, Каменев, приговариваешь что, когда показываешь? — говорил один офицер.

— Нет, дай я его поцелую. Он мне шапку подарил, — кричал Иван Матвеевич.

Бутлер вышел на крыльцо. Марья Дмитриевна сидела на второй ступеньке. Она оглянулась на Бутлера и тотчас же сердито отвернулась.

— Что вы, Марья Дмитриевна? — спросил Бутлер.

— Все вы живорезы. Терпеть не могу. Живорезы, право, — сказала она, вставая.

— То же со всеми может быть, — сказал Бутлер, не зная, что говорить. — На то война.

— Война! — вскрикнула Марья Дмитриевна. — Какая война? Живорезы, вот и всё. Мертвое тело земле предать надо, а они зубоскалят. Живорезы, право, — повторила она и сонла с крыльца и ушла в дом через задний ход. Бутлер вернулся в гостиную и попросил Каменева рассказать подробно, как было все дело.

И Каменев рассказал.

Дело было вот как.

XXV

Хаджи-Мурату было разрешено кататься верхом вблизи города и непременно с конвоем казаков. Казакон всех в Нухе было подусотня, из которой разобраны были по начальству чеповечек десять, остальных же, если их послать, как было приказано, по десять чеповечек, приходилось бы нарядать через день. И потому в первый день послали десять казаков, а потом решили послать по пять чеповечек, прося Хаджи-Мурата не брать с собой всех своих нукеров, но 25 апреля Хаджи-Мурат выехал на прогулку со всеми пятью. В то время как Хаджи-Мурат садился на лошадь, воинский начальник заметил, что все пять нукеров собирались ехать с Хаджи-Муратом, и сказал ему, что ему не позволено брать с собой всех, но Хаджи-Мурат как будто не слышал, тронул лошадь, и воинский начальник не стал настаивать. С казаками был урядник,

георгиевский кавалер, в скобку остриженный, молодой, кровь с молоком, здоровый русский малый, Назаров. Он был старший в бедной старообрядческой семье, выросший без отца и кормивший старую мать с тремя дочерьми и двумя братьями.

— Смотри, Назаров, не пускай далеко! — крикнул воинский начальник.

— Слушаю, ваше благородие, — ответил Назаров и, поднимаясь на стременах, тронул рысью, придерживая за плечом винтовку, своего доброго, крупного, рыжего, горбоносого мерина. Четыре казака ехали за ним: Ферантов, длинный, худой, первый вор и добытчик, — тот самый, которой продал порох Гамзаго; Игнатов, отслуживший срок, молодой человек, здоровый мужик, хваставшийся своей силой; Мишкин, слабосильный малолеток, над которым все смеялись, и Петраков, молодой, белокурый, единственный сын у матери, всегда ласковый и веселый.

С утра был туман, но к завтраку погода разгулялась, и солнце блестело и на только что распусшившейся листве, и на молодой девственной траве, и на всходах хлебов, и на ряби быстрой реки, видневшейся нагезо от дороги.

Хаджи-Мурат ехал шагом. Казаки и его нукеры, не отставая, следовали за ним. Выехали шатом по дороге за крепостью. Встречались женщины с корзинами на головах, солдаты на поюзках и скринице арбы на буйволах. Отъехал версты две, Хаджи-Мурат тронул своего белого кабардинца; он пошел проездом, так, что его нукеры шли боковой рысью. Так же ехали и казаки.

— Эх, лошадь добра под ним, — сказал Ферантов. — Кабы в ту пору, как он не мирной был, сядил бы его. — Да, брат, за эту лошадку триста рублей давали в Тифлисе.

— А я на своем перетону, — сказал Назаров.

— Как же, перетонись, — сказал Ферантов.

Хаджи-Мурат все прибавлял хода.

— Эй, кунак, нельзя так. Потись! — прокричал Назаров, догоняя Хаджи-Мурата.

Хаджи-Мурат оглянулся и, ничего не сказав, продолжал ехать тем же проездом, не уменьшая хода.

— Смотри, задумали что, черти, — сказал Игнатов. — Вишь, дупит.

Так прошли с версту по направлению к горам.

— И говорю, нельзя! — закричал опять Назаров.

Хаджи-Мурат не отвечал и не оглядывался, только еще прибавлял хода и с проезда перешел на скок.

— Врешь, не уйдешь! — крикнул Назаров, задетый за живое.

Он ударил плетью своего крупного рыжего мерина и, привстав на стременах и нагнувшись вперед, пустил его во весь мах за Хаджи-Муратом.

Небо было так ясно, воздух так свеж, силы жизни так радостно играли в душе Назарова, когда он, слившись в одно существо с добрым, сильным лошадыю, летел по ровной дороге за Хаджи-Муратом, что ему и в голову не приходило возможность чего-нибудь недоброго, печального или страшного. Он радовался тому, что с каждым шагом набирал на Хаджи-Мурата и приближался к нему. Хаджи-Мурат сообразил по тону крупный лошади казак, приближающегося к нему, что он на коротко должен настичь его, и, взявшись правой рукой за пистолет, левой стал слегка сдерживать своего разгорячившегося и слышавшего за собой лошадинного тонот кабардинца. — Нельзя, говорю! — крикнул Назаров, почти равняясь с Хаджи-Муратом и притягивая руку, чтобы схватить за повод его лошади. Но не успел он схватиться за повод, как раздался выстрел.

— Что ж это ты делаешь? — закричал Назаров, хватаясь за грудь. — Бей их, ребята, — проговорил он и, шатаясь, повалился на лужу седла.

Но горцы прежде казаков взгляли за оружие и били казаков из пистолетов и рубили их шапками. Назаров висел на шее носившей его вокруг товарищей испуганной лошади. Под Игнатовым унага лошадь, придавив ему ногу. Двое горцев, выхватив шапки, не слезая, полосовали его по голове и рукам. Петраков бросился было к той варишцу, но тут же два выстрела, один в спину, другой в бок, сожгли его, и он, как мешок, кувырнулся с лошади.

Мишкин повернул лошадь назад и посккал к крепости. Ханефи с Хан-Магомой бросились за Мишкиным, но он был уже далеко вперед, и горцы не могли догнать его.

Увидев, что они не могут догнать казака, Ханефи с Хан-Магомой вернулись к своим. Гамзаго, добив кинжало-

лом Игнатова, прирезал и Назарова, свалив его с лошади. Хан-Магома снимал с убитых сумки с патронами. Ханефи хотел взять лошадь Назарова, но Хаджи-Мурат крикнул ему, что не надо, и пустился вперед по дороге. Мюриды его посккали за ним, отгоняя от себя бежавшую за ними лошадь Петракова. Они были уже версты за три от Нухи среди рисовых полей, когда раздались выстрел с башни, означавший тревогу.

Петраков лежал навзничь с врезанным животом, и его молодое лицо было обращено к небу, и он, как рыба всхлипывая, умирал.

— Батюшки, отцы мои родные, что наделали! — вскрикнул, схватившись за голову, начальник крепости, когда узнал о победе Хаджи-Мурата. — Голову сняли! Упустили, разбойники! — кричал он, слушая донесение Мишкина.

Тревога была дана везде, и не только все бывшие в наличности казаки были посланы за бежавшими, но собраны были и все, каких можно было собрать, милиционеры из мирных аулов. Объявлено было тысячу рублей награды тому, кто привезет живого или мертвого Хаджи-Мурата. И через два часа после того, как Хаджи-Мурат с товарищами ускорили от казак, больше двухсот человек конных скакали за приставом отыскивать и ловить бегавших.

Проехав несколько верст по большой дороге, Хаджи-Мурат сдержал своего тяжелого дышавшего и посервавшего от поту белого коня и остановился. Вправо от дороги виднелся сакли и минарет аула Безарджика, налево были поля, и в конце их виднелась река. Несмотря на то, что путь в горы лежал направо, Хаджи-Мурат повернул в противоположную сторону, влево, рассчитывая на то, что погоны бросятся за ним именно направо. Он же, и без дороги переправясь через Агазань, выедет на большую дорогу, где его никто не будет ожидать, и пройдет по ней до леса и тогда уже, вночь переехав через реку, лесом проберется в горы. Решив это, он повернул влево. Но доехать до реки оказалось невозможным. Рисовое поле, через которое надо было ехать, как это всегда делается весной, было только что залито водой и превратилось в трясину, в которой выше бабки вязли лошади. Хаджи-

Мурат и его нукеры брали направо, налево, думая, что найдут более сухое место, но то поле, на которое они попали, было все равномерно залито и теперь пропитано водой. Лошади с звуком хлопания пробки вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи и, пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались.

Так они бились так долго, что начало смеркаться, а они все еще не доехали до реки. Влево был островок с распустившимися листьями кустов, и Хаджи-Мурат решил въехать в эти кусты и там, дав отдух измученным лошадям, пробить до ночи.

Въехав в кусты, Хаджи-Мурат и его нукеры слезли с лошадей и, стреножив их, пустили кормиться, сами же поели взятого с собой хлеба и сыра. Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы, и ночь была темная. Соловьев в Нухе было особенно много. Два было и в этих кустах. Пока Хаджи-Мурат с своими людьми шумел, въезжая в кусты, соловьи замолкли. Но когда затихли люди, они опять защекали, перекликаясь. Хаджи-Мурат, прислушиваясь к звукам ночи, невольно слушал их.

И их свист напомнил ему ту песню о Гамазате, которую он слушал нынче ночью, когда выходил за водой. Он всякую минуту теперь мог быть в том же положении, в котором был Гамазат. Ему подумалось, что это так и будет, и ему вдруг стало серьезно на душе. Он разостлал бурку и совершил намаз. И едва только окончил его, как послышались приближающиеся к кустам звуки. Это были звуки большого количества лошадиных ног, шлепавших по трясине. Выстрогазый Хан-Магома, выбежав на один край кустов, высмотрел в темноте черные тени конных и пеших, приближавшихся к кустам. Ханефи увидел таящую же толпу с другой стороны. Это был Карганов, уединный воинский начальник, с своими милиционерами.

«Что ж, будем биться, как Гамазат», — подумал Хаджи-Мурат.

После того как дана была тревога, Карганов с сотней милиционеров и казакв бросился в джоню Хаджи-Мурата, но нигде не нашел ни его, ни следов его. Карганов уже возвращался безнадёжно домой, когда перед вечером ему встретился старик татарин. Карганов спросил у старика, не видал ли он шестерых конных? Старик отвечал, что видел. Он видел, как шесть конных кружились по рисовому полю и въехали в кусты, в которых он собирал

дрова. Каранов, захватив с собой старика, вернулся назад и, по виду стреноженных лошадей уверившись, что Хаджи-Мурат был тут, ночью уже окружил кусты и стал дожидаться утра, чтобы взять Хаджи-Мурата живого или мертвого.

Поняв, что он окружен, Хаджи-Мурат высмотрел в середине кустов старую канаву и решил засесть в ней и отбиваться, пока будут заряды и силы. Он сказал это своим товарищам и велел им делать завал на канаве. И нукары тотчас же взяли рубить ветки, кинжалами копать землю, делать насыпь. Хаджи-Мурат работал вместе с ними. Как только стало светлеть, как к кустам близко подошел сотенный командир милиции и закричал:

— Эй! Хаджи-Мурат! Сдавайся! Нас много, а вас мало.

В ответ на это из канавы показался дымок, шелкнула винтовка, и пули попали в лошадь милиционера, которая шарахнулась под ним и стала падать. Вслед за этим затрещали винтовки милиционеров, стоявших на опушке кустов, и пули их, свистя и жужжа, обивали листья и сучья и попадали в завал, но не попадали в людей, сидевших за завалом. Только одна отбившаяся лошадь Гамзаль была подбита ими. Лошадь была ранена в голову. Она не упала, но, разорвав треноту, треща по кустам, бросилась к другим лошадям и, прижавшись к ним, положила кровью молодую траву. Хаджи-Мурат и его люди стреляли только тогда, когда кто-либо из милиционеров выдвигал вперед, и редко миновали цели. Три человека из милиционеров были ранены, и милиционеры не только не решились броситься на Хаджи-Мурата и его людей, но все более и более отдалались от них и стреляли только далека, наобум.

Так продолжалось более часа. Солнце взошло вполдерева, и Хаджи-Мурат уже думал сесть на лошадей и попытаться пробиться к реке, когда послышались крики вновь прибывшей большой партии. Это был Гаджи-Ага Мехтулинский с своими людьми. Их было человек двести. Гаджи-Ага был когда-то кунак Хаджи-Мурата и жил с ним в горах, но потом перешел к русским. С ним же был Ахмет-Хан, сын врага Хаджи-Мурата. Гаджи-Ага, так же как Каранов, начал с того, что закричал Хаджи-Мурату, чтобы он сдавался, но так же, как и в первый раз, Хаджи-Мурат ответил выстрелом.

— В пашки, ребята! — крикнул Гаджи-Ага, выхватив свою, и послышались сотни голосов людей, с визгом бросившихся в кусты.

Милиционеры вбежали в кусты, но из-за завала затрепало один за другим несколько выстрелов. Человека три упало, и нападавшие остановились, и на опушке кустов тоже стали стрелять. Они стреляли и вместе с тем понемногу приближались к завалу, перебегая от куста к кусту. Некоторые успевали перебегать, некоторые же попадали под пули Хаджи-Мурата и его людей. Хаджи-Мурат бил без промаха, точно так же редко выпускал выстрел даром Гамзало и всякий раз радостно визжал, когда видел, что пули его попадали. Курбан сидел с краю канавы и пел «Ли илйаха иль агла» и не торопясь стрелял, но попадал редко. Элддар же дрожал всем телом от нервного броситься с кинжалом на врагов и стрелял часто и как понало, беспрепятственно оглядываясь на Хаджи-Мурата и высовываясь из-за завала. Волосатый Ханефи, с заученными рукавами, и тут исполнил долгность слуги. Он зарядил ружья, которые передавали ему Хаджи-Мурат и Курбан, старательно загоняя железным помолом обернутые в намасленные хлюсты пультки и подсыпая из натруски сухого пороха на полки. Хан-Магома же не сидел, как другие, в канаве, а перебегал из канавы к лошадям, загоняя их в более безопасное место, и не переставая визжал и стрелял с руки без подшошек. Его первого ранили. Пули попали ему в шею, и он сел назад, плюя кровью и ругаясь. Потом ранен был Хаджи-Мурат. Пули пробила ему плечо. Хаджи-Мурат вырвал из бешмета вату, заткнул себе рану и продолжал стрелять.

— Бросимся в пашки, — в третий раз говорил Элддар. Он высунулся из-за завала, готовый броситься на врагов, но в ту же минуту пули ударила в него, и он зашатался и упал навзничь, на ногу Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на него. Бараны прекрасные глаза пристально и серьезно смотрели на Хаджи-Мурата. Рот раскрылся. Хаджи-Мурат выпростал из-под него ногу и продолжал целиться. Ханефи нагнулся над убитым Элддаром и стал быстро выбирать перастрелянные заряды из его черкеки. Курбан между тем все пел, медленно зарывая и целясь.

Враги, перебегая от куста к кусту с пиканьем и виз-

том, придвигались все ближе и ближе. Еще пуля попала Хаджи-Мурату в левый бок. Он лег в канаву и опять, вырвав из бешмета кусок ваты, заткнул рану. Рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает. Воспоминания и образы с необыкновенной быстротой сменялись в его воображении одно другим. То он видел перед собой силуэта Абулгунца-Хана, как он, придерживая рукою отрубленную, вислицу щеку, с кинжалом в руке бросился на врага; то видел слабого, бескровного старика Воронцова с его хитрым белым лицом и слышал его мятый голос; то видел сына Юсуфа, то жену Софиат, то бледное, с рыжей бородой и прищуренными глазами, лицо врага своего Шамилля.

И все эти воспоминания пробегали в его воображении, не вызывая в нем никакого чувства: ни жалости, ни злобы, ни какого-либо желания. Все это казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и уже началось для него. А между тем его сильное тело продолжало действовать начатое. Он собрал последние силы, поднялся из-за завала и выстрелил из пистолета в подбежавшего человека и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из ямы и с кинжалом пошел прямо, таясь хромая, на встречу врагам. Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек милиционеров с торжествующим видом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папах, бритая голова, потом поднялась туловище, и, ухватившись за деревья, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбежавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двинулся.

Он не двинулся, но еще чувствовал. Когда первый подбежавший к нему Гаджи-Ага ударил его большим кинжалом по голове, ему казалось, что его молотком бьют по голове, и он не мог понять, кто это делает и зачем. Это было последнее его сознание связи с своим телом. Больше он уже ничего не чувствовал, и враги топтали и резали то, что не имело уже ничего общего с ним. Гаджи-Ага, наступив ногой на спину тела, с двух ударов отсек голову и осторожно, чтобы не запачкать в кровь чуваки, откатил ее ногою. Алая кровь хлынула из артерий шеи и черная из головы и залила траву.

И Карганов, и Гаджи-Ага, и Ахмет-Хан, и все милиционеры, как охотник над убитым зверем, собрались над телами Хаджи-Мурата и его людей (Хансфи, Курбана и Гамзалу связали) и, в пороховом дыму стоявшие в кустах, весело разговаривая, торжествовали свою победу. Солдаты, смолкнувшие во времена стрельбы, опять зашевелились, сперва один близко и потом другие на дальнем конце.

Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля.

1896—1905

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 62. *Я недвено видел, как лорд Пальмерстон...* — Во время своей поездки в Лондон в конце февраля 1861 года Толстой присутствовал на одном из заседаний Палаты общин и слушал речь премьер-министра Англии Пальмерстона в защиту увеличения ассигнований на военный флот.

Стр. 68. *Wage da zi tren ind zi trimen!* — строка из стихотворения Ф. Шиллера «Текля».

Стр. 105. ...*как показывающей альбиноску или Юлию Пастрану глядит то на публицу, то на свою показываемую штурку...* — «Альбиноски» и «бородатые женщины», к числу которых относилась и упомянутая Юлиа Пастрана, приезжавшая в Россию в 50-х годах прошлого века, в качестве «чуждес природы» демонстрировалась перед публикой.

Стр. 156. ...*к русскому начальнику, к Воронцову, князю.* — Воронцов Семен Михайлович (1823—1882) — сын помещика Кавказа М. С. Воронцова, флигель-адъютант, командир Куринского егерского полка.

Стр. 163. ...*ротный командир Потгоровский...* — Потгоровский Владимир Алексеевич (1828—1889) — подпоручик. Его «Воспоминания», опубликованные в «Историческом вестнике», Толстой использовал, работая над «Хаджи-Муратом».

Стр. 186. *Воронцов Мигала Семенович* (1782—1856) — с 1844 по 1856 год наместник Кавказа, пользовавшийся неограниченной властью. Ранее был губернатором Новороссии. Пушкин заклеил его в ряде эпиграмм, из которых самая известная:

Полу-милора, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным, наконец.

Стр. 190. *Маршал Ноахих* (1771—1815) — маршал Наполеона.

Стр. 194. *Клоки-фон-Клюгенцу Франц Карлович* (1791—1851) — генерал-лейтенант, командовал войсками в Северном Дагестане.

288

Стр. 195. *Дорис-Меликов* Михаил Тариевич (1825—1888) — адъютант М. С. Воронцова, впоследствии крупный русский государственный деятель, министр внутренних дел. В главах XI и XIII Толстой использует, художественно переработав, действительно записанный Дорис-Меликовым рассказ Хаджи-Мурата о его жизни.

Стр. 197. *Казим-Мудала* (1794—1832) — первый имам Чечни и Дагестана, обличивший хазават (священную войну мусульман против «неверных»). В 1832 году был окружен в Гимрах войсками под командованием барона Розена и убит. После него имамом стал Гамаат-Бек (1789—1834), пытавшийся покорить Аварию, прервать ее сношения с русскими и поднять на священную войну. В августе 1834 года он осадил Хунзах, заманил к себе сынаовой ханши Паху-Вике и велел убить их. Но вскоре сам был убит сторонниками аварского ханского дома. Третий имамом был Шамил (1798—1871).

Стр. 200. *Мансур* Хасе Мохамед — мусульманский проповедник на Кавказе.

Стр. 207. ...*Воронцов писал следующее военному министру Чернышеву.* — Толстой приводит в переводе с французского подлинное письмо М. С. Воронцова.

Стр. 212. ...*Захара Чернышева...* — Чернышев Захар Григорьевич (1797—1862) — граф, декабрист, член Северного тайного общества. В событиях 14 декабря 1825 года непосредственно не участвовал. Был приговорен к четырем годам каторги и затем к ссылке на поселение. Многие современники были уверены, что этот суровый судебный приговор является результатом интриги А. И. Чернышева, ближайшего покровителя Николая I по ликвидации заговора декабристов. А. И. Чернышев, одофамилец осужденного в каторжные работы Захара Чернышева, пытался завладеть его наследством.

Стр. 218. ... *плат Ермалова...* — Ермалов Алексей Петрович (1777—1861) — генерал, с 1817 по 1827 год главноуправляющий в Грузии, «прококнул Кавказа»; был в оппозиции к режиму Александера I. Неодовольный «медлительностью» Ермалова в войне с Персией, его планом затязных военных действий, Николай I фактически отстранил его от командования.

Стр. 244. *Варягский* Александр Иванович (1814—1879) — князь, генерал, один из главных деятелей кавказской войны, с 1856 года — наместник Кавказа.

Стр. 262. *Каранов* Иосиф Иванович — уездный воинский начальник г. Нухи. В его доме перед побегом жил Хаджи-Мурат.

28135-6

ЧИРЧИКСКАЯ ЦБС

289

СОДЕРЖАНИЕ

ДВА ГУСАРА 3
ПОЛИЦУШКА 61
ХОЛСТОМЕР 115
ХАДЖИ-МУРАТ 151
Примечания 268

Толстой Л. Н.
Хаджи-Мурат: Повести / Ил. А. Липенко. — М.:
Сов. Россия, 1989. — 272 с.: ил.

В книгу входят известные произведения Л. Н. Толстого «Два гусара»,
«Полцусушка», «Холстомер», «Хаджи-Мурат».
Т 4803010101-413 209-89
М-105(03)89
ISBN 5-268-00758-0

P1

РАСЧИСЛЕНИЕ
ЦЕН

а-24185

Для детей старшего школьного возраста

Лев Николаевич Толстой


ХАДЖИ-МУРАТ

Редактор
К. К. ПОКРОВСКАЯ
Художественный редактор
М. В. ТАВРОВА
Технический редактор
Г. П. МАРТЬЯНОВА
Корректор
Л. В. КОНИЩИНА

ИБ № 4934

Самое в наборе 29,04,88. Подписано в печать 26.10.88. Формат 84×108/32. Бумага
книжн.-журн. № 2. Гарнитура обыкновенная полна. Печать высокая. Уч. изд. п. л.
д. 14,28. Уч. кр.-отт. 14,28. Уч.-изд. д. 14,60. Тираж 1 000 000 экз. (1-я и 1-
200 000 экз. в пер. № 7). Заказ 2473. Цена 85 к. Изд. инд. ДД-231.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного
комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли.
103012, Москва, проезд Савулова, 13/15.

Калининский орден «Труженик Красной Знамени полиграфкомбинат детской
литературы им. 30-летия  Росгизполиграфпрома Госкомиздата РСФСР.
170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 40.

